

ISSN 2225-5346
e-ISSN 2686-8989

БФУ БАЛТИЙСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА

IKVUFU IMMANUEL KANT
BAL TIC FEDERAL
UNIVERSITY

СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:
BAL TIC ACCENT

2026

Том 17
Vol.

№ 1

Издательство Immanuel Kant
Балтийского федерального Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта Press
2026

СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ
АКЦЕНТ
2026
Том 17
№ 1

Калининград :
Изд-во БФУ
им. И. Канта, 2026.
236 с.

Учредитель
Балтийский
федеральный
университет
им. Иммануила Канта

Редакция
Адрес: 236041, Россия,
Калининград,
ул. А. Невского, 14

Издатель
Адрес: 236041, Россия,
Калининград,
ул. А. Невского, 14

Типография
Адрес: 236001, Россия,
Калининград,
ул. Гайдара, 6

Издание
зарегистрировано
в Федеральной службе
по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
СМИ ПИ
№ ФС77-46308
от 26 августа 2011 г.

Редакционная коллегия

Михаил Васильевич Ильин, доктор политических наук, профессор, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия) — главный редактор; *Сурен Тигранович Золян*, доктор филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — главный научный редактор; *Алексей Николаевич Черняков*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — ответственный редактор; *Наталья Сергеевна Автономова*, доктор философских наук, Институт философии РАН (Россия); *Наталья Михайловна Азарова*, доктор филологических наук, Институт языкознания РАН (Россия); *Хенрик Баран*, Университет штата Нью-Йорк (Нью-Йорк, США); *Дмитрий Веселинов*, доктор филологических наук, профессор, Софийский университет им. Святого Климента Охридского (Болгария); *Ив Гамбье*, доктор лингвистики, профессор, Университет Турку (Финляндия); *Стефано Гардзонио*, Пизанский университет (Пиза, Италия); *Игорь Николаевич Данилевский*, доктор исторических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Валерий Закиевич Демьянков*, доктор филологических наук, профессор, Институт языкознания РАН (Москва, Россия); *Вера Ивановна Заботкина*, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (Россия); *Николай Николаевич Казанский*, академик РАН, доктор филологических наук, Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия); *Максим Анисимович Кронауз*, доктор филологических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Александр Васильевич Лавров*, академик РАН, доктор филологических наук, Институт русской литературы РАН (Россия); *Иван Борисович Микиртумов*, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия); *Владимир Александрович Плуигян*, доктор филологических наук, академик РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Россия); *Джеймс Расселл*, профессор, Гарвардский университет (США), Иерусалимский университет (Израиль); *Игорь Витальевич Силантьев*, доктор филологических наук, Институт филологии СО РАН (Россия); *Игорь Павлович Смирнов*, профессор, Констанцкий университет (Германия); *Су Кван Ким*, Университет иностранных языков Хангук (Сеул, Южная Корея); *Григорий Львович Тульчинский*, доктор философских наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Татьяна Валентиновна Цвигун*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия); *Цзиньлин Ван*, Чанчуньский университет КНР (Чанчунь, Китай); *Татьяна Владимировна Черниговская*, доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук, а также индексируется в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, Scopus, ядре РИНЦ.

Подписной индекс 36836
Тираж 300 экз.
Дата выхода в свет 04.03.2026 г.



© БФУ им. И. Канта, 2026

SLOVO.RU:
BALTIC ACCENT
2026
Vol. 17
№ 1

Kaliningrad :
I. Kant Baltic Federal
University Press, 2026.
236 p.

Founders

Immanuel Kant Baltic
Federal University

Editorial office

14 A. Nevskogo St.,
Kaliningrad, Russia,
236041

Address

14 A. Nevskogo St.,
Kaliningrad, Russia,
236041

Publishing house

6 Gaidara St.,
Kaliningrad, Russia,
236001

The opinions expressed
in the articles are private
opinions of the authors
and do not necessarily
reflect the views
of the founders
of the journal

Mass Media
Registration Certificate
PI № FS77-46308,
on 26 August, 2011

Editorial board

Prof. *Mikhail V. Ilyin*, National Research University Higher School of Economics (Russia) – Editor-in-Chief;
Prof. *Suren T. Zolyan*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Scientific Editor; Dr *Alexey N. Chernyakov*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Executive Editor-in-chief;
Prof. *Natalia S. Avtonomova*, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Nataliya M. Azarova*, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Henryk Baran*, State University of New York Albany (New York, United States); Prof. *Tatiana V. Chernigovskaya*, Saint-Petersburg State University (Russia); Prof. *Igor N. Danilevskii*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Valerii Z. Demyankov*, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); Prof. *Yves Gambier*, University of Turku (Finland); Prof. *Stefano Garzonio*, Università di Pisa (Pisa, Italy); Prof. *Nikolai N. Kazansky*, academician, the Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistic Research (Saint Petersburg, Russia); Prof. *Soo Hwan Kim*, Hankuk University of Foreign Studies (Seoul, South Korea); Prof. *Maxim A. Krongauz*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Alexander V. Lavrov*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Ivan B. Mikirtumov*, Saint-Petersburg State University (Russia); Prof. *Vladimir A. Plungyan*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, V. V. Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *James R. Russell*, Harvard University (USA), the Hebrew University of Jerusalem (Israel); Prof. *Igor V. Silant'yeo*, Institute of Philology, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Igor P. Smirnov*, University of Konstanz (Germany); Dr *Tatyana V. Tsvigun*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia); Prof. *Grigorii L. Tulchinskii*, St. Petersburg School of Social Sciences and the Humanities, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Dimitar Vesselinov*, Sofia University 'St. Kliment Ohridski' (Bulgaria); Prof. *Jinling Wang*, Changchun University (Changchun, China) Prof. *Vera I. Zabolotkina*, Russian State University for the Humanities (Russia)



© Immanuel Kant Baltic
Federal University, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Цвигун Т. В., Черняков А. Н.</i> «Слову» – пятнадцать.....	6
---	---

ДИСКУССИЯ: ЧТО ЗНАЧАТ ЗНАКИ

<i>Зенкин С. Н.</i> Чтение знаков, присутствие в мире (Двойная перспектива семиотики).....	13
<i>Микиртумов И. Б.</i> Аффект, символизация и «практики себя».....	36

СЛОВА И ТЕКСТЫ

<i>Дорофеева Л. Г.</i> Мотивы «Лестницы» прп. Иоанна Синайского в духовных письмах прп. Амвросия Оптинского мирянам.....	54
<i>Гильманов В. Х., Косинская А. С.</i> Экзистенция страха в рассказе «Страх» А. П. Чехова.....	71
<i>Мерлин В. В.</i> Лагерное стихотворение Мандельштама. Опыт реконструкции.....	88
<i>Тылец В. Г., Краснянская Т. М.</i> Категория «безопасность» в романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта».....	98
<i>Соколов Р. Е., Степанов А. Г.</i> «Старый ад, претворенный в новое чистилище»: тревожащий исторический опыт в романе «Отель с привидениями» У. Коллинза.....	114
<i>Фатенков А. Н.</i> Эпический реализм Эрнста Юнгера: роман «Эвмесвиль».....	132
<i>Заботкина В. И., Боярская Е. Л., Коростиченко Е. И.</i> Культура отмены: когнитивные механизмы трансляции смыслов в медийном дискурсе.....	143
<i>Дмитриев А. В.</i> Механизмы адаптации христианских антропонимов в водском и ижорском языках: сравнительно-сопоставительное исследование.....	160
<i>Khmelevskii M. S., Raina O. V., Savchenko A. V.</i> The Kashubian language through time: the history of Kashubian studies in Russia.....	192
<i>Ма Ц., Саакян Л. Н.</i> Линейность и композиционность в семантике биноми-нативных устойчивых сочинительных конструкций.....	203
<i>Шамилов Р. М.</i> Понятие «стратегия перевода» в свете потребностноориентированной теории перевода: определение и типология.....	217

CONTENTS

<i>Tsvigun T. V., Chernyakov A. N.</i> Slovo.ru turns fifteen.....	6
--	---

DISCUSSION: WHAT DO SIGNS MEAN

<i>Zenkin S. N.</i> Reading signs and being in the world: a dual perspective on semiotics	13
---	----

<i>Mikirtumov I. B.</i> Affect, symbolization, and “practices of the Self”	36
--	----

WORDS AND TEXTS

<i>Dorofeeva L. G.</i> Motifs of “The Ladder” by St. John Climacus in the spiritual letters of St. Ambrose of Optina to the laity	54
---	----

<i>Gilmanov V. Kh., Kosinskaya A. S.</i> Existential dimension of fear in Anton Chekhov’s short story “Fear”	71
--	----

<i>Merlin V. V.</i> Mandelstam’s camp poem: an attempt at reconstruction.....	88
---	----

<i>Tylets V. G., Krasnyanskaya T. M.</i> The category of “Security” in Jules Verne’s novel “The Children of Captain Grant”	98
--	----

<i>Sokolov R. E., Stepanov A. G.</i> “Old hell transformed into a new purgatory”: the disturbing historical experience in the novel “The Haunted Hotel” by Wilkie Collins.....	114
--	-----

<i>Fatenkov A. N.</i> Ernst Jünger’s epic realism: the novel “Eumeswil”	132
---	-----

<i>Zabotkina V. I., Boyarskaya E. L., Korostichenko E. I.</i> Cancel culture: cognitive mechanisms of meaning transmission in media discourse.....	143
--	-----

<i>Dmitriev A. V.</i> Mechanisms of adaptation of Christian anthroponyms in Votic and Ingrian: a comparative study	160
--	-----

<i>Khmelevskii M. S., Raina O. V., Savchenko A. V.</i> The Kashubian language through time: the history of Kashubian studies in Russia	192
--	-----

<i>Ma Cuiting, Saakyan L. N.</i> Linearity and compositionality in the semantics of binomial stable constructions	203
---	-----

<i>Shamilov R. M.</i> The concept of translation strategy viewed in the light of needs-tailored theory of translation: a proposal of definition and typology	217
--	-----

«СЛОВУ» — ПЯТНАДЦАТЬ

Т. В. Цвигун, А. Н. Черняков

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
236041, Россия, Калининград, ул. Александра Невского, 14
Поступила в редакцию 25.10.2025 г.
Принята к публикации 15.11.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-1

Обзор к пятидесятилетию журнала «Слово.ру: балтийский акцент» посвящен анализу развития издания в период с 2021 по 2025 год. Рассмотрены ключевые направления редакционной политики журнала за истекшее пятилетие, охарактеризованы уточнение и расширение его тематического профиля, формирование научно-тематических приоритетов журнала. Через описание проблематики тематических выпусков систематизирован трансдисциплинарный характер издания, установлена включенность журнала в актуальную парадигматику гуманитарного знания. Представлена динамика наукометрических показателей издания в 2021–2025 годах, свидетельствующая об устойчивом закреплении журнала «Слово.ру: балтийский акцент» в ряду лидеров научной периодики по гуманитарным наукам.

Ключевые слова: *литературоведение, наукометрия, научная периодика, трансдисциплинарные исследования, языкознание*

Настоящий выпуск открывает новый, шестнадцатый, год в активной публикационной истории журнала «Слово.ру: балтийский акцент». Если первое десятилетие жизни издания (см. его обзор: (Цвигун, Черняков 2020)) стало периодом становления, трансформаций, поисков собственного научного лица и своего места в контексте современной научной гуманитарной периодики, то следующие пять лет были связаны с оформлением и закреплением исследовательских приоритетов, результатом чего стало вхождение «Слова.ру» в число ведущих российских журналов по филологическим наукам. Рассмотрим основные сюжеты «публикационного нарратива» журнала «Слово.ру: балтийский акцент» в этот период.

После произошедшей в 2016 году кардинальной смены научно-исследовательского вектора «Слово.ру: балтийский акцент» последовательно позиционирует себя как издание, ориентированное в первую очередь на освещение теоретических проблем в области лингвистики, литературоведения, семиотики, философии языка. Отдельные тематические блоки журнала были специально посвящены научной полемике вокруг точек зрения, выносимых их авторами в поле публичного обсуждения. Таковы, в частности, дискуссии, развернувшиеся вокруг ра-



бот А. В. Кравченко «Язык и природа человечности» (блок «Биологические и когнитивные основы языка», включающий статьи С. В. Чебанова, А. Д. Кошелева, С. Г. Проскурина и А. В. Проскуриной, в №3 за 2021 год) и А. В. Циммерлинга «Конкретно: синтактика без семиотики?» (№3 за 2023 год; см. полемику вокруг этой статьи в работах М. В. Ильина С. Т. Золяна, С. В. Чебанова в №4 за 2023 год), а также тематическая подборка «Новые горизонты трансдисциплинарных исследований: приглашение к дискуссии» (статьи Г. Л. Тульчинского, А. В. Спинова, С. Т. Золяна в №4 за 2024 год). Интерес к теоретической проблематике на пересечении разных областей и методологий филологического (и шире — гуманитарного) знания и понимание необходимости современного рефлексивного осмысления классических теорий нашли отражение в таких тематических блоках, как *События и наррация* (статьи А. Д. Охочимского, А. В. Кравченко, С. В. Герасимова, А. А. Лисенковой, С. Т. Золяна в №2 за 2021 год), *Знаки и смыслы: (пере-)осмысляя Фреге* (статьи Г. Л. Тульчинского, А. В. Кравченко, И. Б. Микиртумова, Д. Б. Тискина, Т. В. Цвигун, А. Н. Чернякова, М. А. Кронгауза и др. в №4 за 2023 год), *Новые подходы в философии языка и филологии* (статьи И. Б. Микиртумова, Ю. А. Дрейзис, М. С. Потеминной в №2 за 2022 год), *Альтернативные истории русского стиховедения* (статьи В. А. Плунгяна, И. А. Пильщикова, К. М. Корчагина, Б. В. Орехова, М. В. Акимовой и др. в №4 за 2024 год), *Прагмалингвистика: в поисках синтеза* (статьи И. М. Кобозевой, О. К. Ирисхановой, Т. Б. Радбиля, С. Т. Золяна и др. в №3 за 2025 год).

Актуальные теоретические вопросы новейшей парадигмы гуманитарных наук также затрагиваются в статьях В. В. Фещенко «Художественная коммуникация: от семиотических моделей к лингвоэстетической теории» (2021, №1), М. А. Кравченко «Предпосылки становления неоструктурализма как интегральной лингвистической парадигмы» (2025, №1), В. З. Демьянкова «Прагматика эпистемических гарантий реального, возможного и вероятного в дискурсе» (2025, №2), М. В. Ильина «Прагматика семиозиса и оязыковления» (2025, №3), А. Д. Шмелева «Еще раз о феномене прагматической обязательности» (там же). Широта проблемного диапазона этих тематических блоков и участие в них ведущих исследователей четко обозначают широкие перспективы журнала «Слово.ру: балтийский акцент» как теоретически ориентированного научного издания.

В период с 2021 по 2025 год журнал последовательно продолжает редакционную политику, связанную с публикацией тематических спецвыпусков, в подготовке которых участвуют приглашенные редакторы. Складывающиеся за счет этого исследовательские коллаборации не только способствуют расширению дисциплинарного и проблемного поля журнала, но и обеспечивают устойчивое транслирование его тематических приоритетов, определяющих научное лицо издания. В числе таких генеральных тематических линий журнала «Слово.ру: балтийский акцент», оформившихся в последнее пятилетие, важнейшее место занимают:



1) разработка проблем семиотики города, чему посвящен тематический блок *Город в тексте и город как текст* (№4 за 2022 год / №1 за 2023 год, приглашенные редакторы С. С. Аванесов и Т. С. Симян), включивший в себя материалы об образных, текстуальных и концептуальных репрезентациях города (Н. В. Патроева, О. И. Северская, О. А. Гриневиц, Т. В. Цвигун, А. Н. Черняков, С. В. Капустина и др.), городе как семиотическом пространстве (Н. Г. Федотова, Н. М. Азарова, Е. В. Терешко, С. С. Аванесов, В. Е. Чернявская, Т. С. Симян и др.), топонимике в структуре городского текста (М. В. Голомидова, З. Х.-М. Ионов). Данная тема продолжена в тематическом блоке *Герменевтика города и городского пространства* (№4 за 2025 год), авторы которого рассуждают о культурных и социологических практиках восприятия города (Н. Г. Федотова, С. А. Смирнов, Т. В. Белецкая, М. Е. Мегем), визуальных и вербальных субкодах городской семантики (С. Ю. Павлина, М. М. Коренькова, М. Р. Сафина, И. А. Аполлонов, А. В. Вандышева, С. С. Жданов, А. П. Вальясова), семиотических модусах локальности (Л. А. Абрамян, Г. А. Шагоян, А. Ф. Восканян);

2) концептуализация проблемного поля и исследовательского потенциала *прагмасемантики*, прежде всего в аспекте *смыслообразования* — эта тема объединяет блоки *Слова, смыслы, действия: прагмасемантика и смыслообразование* (статьи В. Е. Чернявской, С. Т. Золяна, Е. Н. Молодыхченко, В. И. Заботкиной, Е. Л. Боярской в №1 за 2023 год), *Знаки и смыслы: (пере-)осмысляя Фреге* (№4 за 2023 год), *Слова и смыслы* (статьи Н. В. Патроевой, Т. В. Савиной, А. Г. Жуковой, О. И. Северской, С. Г. Горбовской и др. в №1 и 3 за 2024 год);

3) устойчивый и многоаспектный интерес к проблемам *перевода* — здесь необходимо отметить подготовленный одним из ведущих современных специалистов в сфере переводоведения, профессором Университета Турку Ивом Гамбье англоязычный спецвыпуск в №1 за 2023 год (статьи Э. Бюзлен, Д. Мильтона, М. Альбль-Микаса, С. Альвстад, О. Йонсен, П. Булоня и др.), тематический выпуск *Неперевод в культурных системах* в №3 за 2023 г. (приглашенные редакторы Н. М. Азарова, С. Ю. Бочавер и К. М. Корчагин, статьи Н. М. Азаровой, В. З. Демьянкова, О. К. Ирихановой, К. М. Корчагина, Ю. А. Дрейзис, А. Е. Масалова и др.), а также тематические блоки *Проблемы перевода философских и социологических текстов* в №1 и 2 за 2021 год (статьи Л. Б. Бойко, К. С. Чугуевой, А. К. Гулиной, М. А. Белей, Е. Г. Фоновой, И. Г. Черненко, Е. М. Гордеевой и др.) и *Переводя непереводимое* в №1 за 2024 год (статьи В. И. Заботкиной, Е. Л. Боярской, А. В. Проскуриной, Г. Г. Гиздатова, С. К. Ким и др.);

4) изучение *лингвистических механизмов социального взаимодействия*, связанных с категориями *вежливости* и *антивежливости*, — соответствующий тематический блок в №3 и 4 за 2024 год, подготовленный приглашенным редактором М. А. Кронгаузом по материалам научной конференции «Человек в коммуникации: категория вежливости и речевая агрессия» (Калининград, БФУ им. И. Канта, 16–18 мая 2024 г.), включил исследования О. С. Иссерс, М. А. Кронгауза, И. В. Фуфаевой, Д. М. Колядова, Н. Г. Брагиной, И. А. Шаронова, Е. А. Рудневой, А. Ч. Пиперски, А. В. Игнатенко и др.;



5) рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с областью *прагмалингвистики*, в подготовленном В. В. Фещенко, И. В. Зыковой и О. В. Соколовой двойном (№2 и 3 за 2025 год) спецвыпуске *Прагмалингвистика: в поисках синтеза*, в который вошли статьи В. З. Демьянкова, Е. В. Рахилиной, Д. О. Добровольского, Анны А. Зализняк, Т. Е. Янко, И. А. Шаронова, Т. В. Лариной, М. В. Ильина, А. Д. Шмелева, И. М. Кобозевой, Т. В. Цвигун, А. Н. Чернякова и др.;

6) исследования в области *лингвистической поэтики* — это проблемное поле представлено как отдельными исследованиями в данной области (статьи О. В. Соколовой, В. В. Фещенко, Н. А. Фатеевой, З. Ю. Петровой, О. И. Северской, Е. Г. Логиновой и др.), так и двойным тематическим блоком *Современная поэзия в эпоху новых медиа* (№2 и 3 за 2024 год), подготовленным приглашенными соредакторами О. В. Соколовой, Т. В. Цвигун и А. Н. Черняковым (статьи О. В. Соколовой, Е. В. Захаркив, Т. В. Цвигун, А. Н. Чернякова, И. В. Зыковой, В. В. Фещенко, Е. В. Самостенко, А. А. Россомахина, А. В. Швец, Ю. А. Говорухиной и др.).

Отдельно следует сказать о коммеморативных практиках в деятельности журнала в 2021 — 2025 годах. Во-первых, на это время приходится 100-летие со дня рождения Ю. М. Лотмана — исследователя, чье научное творчество не просто оказало колоссальное влияние на филологические практики второй половины XX века, но буквально предопределило целый ряд направлений их развития; это событие отмечено в №2 за 2022 год публикацией ранее неизвестного доклада Ю. М. Лотмана, прочитанного 13 марта 1981 года в Тартуском государственном университете. Юбилейную Лотманиану продолжают и развивают представленные в этом же выпуске статьи Т. В. Черниговской «“Шум” как ключ к семиозису: мозг и культура (40 лет спустя)», С. Т. Золяна «Семиопозис: о рождении семиосферы из биосферы» и Г. Л. Тульчинского «Текст как осмысляющий диалог и зашнуровывающая метафора: опыт сопряжения подходов Ю. М. Лотмана и М. М. Бахтина». В 2025 году журнал отметил 140-летие со дня рождения Велимира Хлебникова публикацией статьи одного из зачинателей хлебниковедения в России и в мире А. Е. Парниса «О стихотворении Велимира Хлебникова “Вам”: контекст, интертекст, экфрасис» (№4 за 2025 год). Наконец, совершенно особое место в ряду представленных в журнале научных коммемораций занимает чествование не персоналии, но научной идеи — столетия теории Р. Якобсона о поэтической функции языка, связанного с публикацией в 1921 году в Праге революционной работы «Новейшая русская поэзия. набросок первый. Подступы к Хлебникову». Якобсоновская теория, а также ее интеллектуальный фон, связанный в первую очередь с художественными практиками авангарда, стали предметом рассмотрения в тематическом спецвыпуске *Поэтическая функция языка: к столетию идеи* (№3 и 4 за 2021 год), в котором представлены статьи Ю. А. Говорухиной, О. И. Северской, Н. В. Патроевой, Я. М. Колкера, Е. С. Устиновой, Е. Г. Логиновой, Н. А. Николиной, З. Ю. Петровой, Н. А. Фатеевой, О. В. Соколовой, В. В. Фещенко, А. В. Швец, Т. В. Цвигун, А. Н. Чернякова, И. В. Зыковой и др. Оммаж эпохе формализма, представленный в этом спецвыпуске, — публикация статьи классика исследований рус-



ской формальной школы П. Стайнера «Между феноменологией и футуризмом: поэтика Романа Якобсона до Второй мировой войны» (№ 4 за 2021 год).

Завершим краткий обзор пятилетнего этапа в жизни журнала «Слово.ру: балтийский акцент» сухим языком цифр — некоторыми репрезентативными показателями из области наукометрии¹, ведь именно статистика, как утверждали классики советской литературы, знает всё.

За полтора десятилетия своей истории журнал не только стал авторитетной площадкой для публикаций в области языкознания и литературоведения, но и утвердился в числе ведущих научных изданий России и Восточной Европы. Сегодня «Слово.ру: балтийский акцент» входит в международную базу данных Scopus (Q1 в категории Literature and Literary Theory, Q2 в категории Linguistics), журнал включен в Белый список журналов с высшим уровнем качества (Уровень 1), RSCI, ядро РИНЦ, K1 ВАК. По данным рейтинга SCImago, основанного на данных Scopus, «Слово.ру: балтийский акцент» входит в топ-850 лучших российских журналов, занимает 6-е место в России и 11-е в Восточной Европе в своей предметной области, что подтверждает его высокий академический статус.

Показатели журнала говорят о его устойчивом развитии: CiteScore 2024 составляет 0,5 с прогнозом роста до 0,7 в 2025 году (в 2021 году 0,1), SJR 2024 — 0,327 (Q1). Среднее число цитирований статей составляет 1,0, что считается очень высоким показателем для журналов гуманитарной направленности, а FWCI (средневзвешенный показатель цитирований по предметной области, по данным Scopus) равен 1,23 — журнал цитируется на 23 % лучше, чем в среднем по миру.

В международной базе данных Scopus на декабрь 2025 года представлены 253 статьи из журнала, цитирований в Scopus — 252, количество публикаций, входящих в 10 % наиболее цитируемых публикаций в мире, — 32 (12,6 %). По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) журнал занимает 850-е место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2024 год, его процентиль в рейтинге SCIENCE INDEX за 2024 год составляет 19. «Слово...» занимает 17-е место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2024 год по тематике «Литература. Литературоведение. Устное народное творчество» и 25-е по тематике «Языкознание». Двухлетний импакт-фактор журнала в 2024 году составляет 0,812 (в 2021 году — 0,333), пятилетний импакт-фактор — 0,589 (в 2021 году — 0,345).

О ярко выраженном меж- и кроссдисциплинарном характере журнала свидетельствует тот факт, что в актуальном (по состоянию на декабрь 2025 года) Перечне рецензируемых научных изданий, рекомендованном ВАК РФ для публикации научных результатов при защите кандидатских и докторских диссертаций, он включен в пять категорий по филологическим (5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.5, 5.9.8) и в две категории по философским (5.7.1, 5.7.8) наукам, а также в объединенную категорию по филологии и философии 5.12.3 «Междисциплинарные исследования языка».

¹ Благодарим за подготовку наукометрических данных директора Центра развития публикационной активности БФУ им. И. Канга А. В. Сильничую.



«Слово.ру» активно развивает международное сотрудничество: на его страницах публикуются работы авторов из 25 стран (включая США, Финляндию, Швейцарию, Армению, Польшу и др.), редколлегия журнала объединяет авторитетных исследователей из России, США, Германии, Италии, Финляндии, Болгарии, КНР, Южной Кореи. При этом основу авторского коллектива составляют ученые из ведущих организаций России — научных институтов РАН, БФУ им. И. Канта, НИУ ВШЭ, РГГУ, СПбГУ.

Список литературы

Цвигун, Т. В., Черняков, А. Н., 2020. «Слово.ру: балтийский акцент»: опыт ретроспекции. *Слово.ру: балтийский акцент*, 4 (11), с. 7–14. [Tsvigun, T. V. and Chernyakov, A. N., 2020. "Slovo.ru: Baltic accent": An attempt in retrospect. *Slovo.ru: Baltic accent*, 4 (11), pp. 7–14 (in Russ.)] EDN: XPZZEE, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2020-4-1>.

Об авторах

Татьяна Валентиновна Цвигун, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-7941-7236

SPIN-код РИНЦ: 1647-8860

E-mail: ttsvigun@kantiana.ru

Алексей Николаевич Черняков, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-1531-5780

SPIN-код РИНЦ: 9014-0425

E-mail: achernyakov@kantiana.ru

Для цитирования:

Цвигун Т. В., Черняков А. Н. «Слово» — пятнадцать // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 6–12. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-1.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

SLOVO.RU TURNS FIFTEEN

Tatiana V. Tsvigun, Alexey N. Chernyakov

Immanuel Kant Baltic Federal University

14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia

Submitted on 25.10.2025

Accepted on 15.11.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-1

This review, commemorating the fifteenth anniversary of "Slovo.ru: Baltic accent", examines the journal's evolution from 2021 to 2025. It analyses the key directions of editorial policy during this period, focusing on the refinement of its thematic profile and the establish-



ment of scholarly priorities. By surveying its thematic issues, the review systematises the journal's transdisciplinary orientation and demonstrates its alignment with contemporary paradigms in the humanities. The review also charts the dynamics of the journal's scientometric indicators, which confirm its firmly established position among leading humanities periodicals.

Keywords: linguistics, literary studies, scholarly periodicals, scientometrics, transdisciplinary research

The authors

Dr Tatyana V. Tsvigun, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-7941-7236

E-mail: ttsvigun@kantiana.ru

Dr Aleksey N. Chernyakov, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-1531-5780

E-mail: achernyakov@kantiana.ru

To cite this article:

Tsvigun, T.V., Chernyakov, A.N., 2026, Slovo.ru turns fifteen, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 6–12. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-1.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

ДИСКУССИЯ: ЧТО ЗНАЧАТ ЗНАКИ

УДК 161.25; 161.26

ЧТЕНИЕ ЗНАКОВ, ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ (Двойная перспектива семиотики)

С. Н. Зенкин

Россия, Москва — Санкт-Петербург
Поступила в редакцию 11.06.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-2

Статья на ряде примеров показывает, как рефлексия о знаках фактически соотносит их с двумя разными умственными операциями — обменом знаковыми сообщениями между разными субъектами (коммуникацией) и интерпретацией знаков и знаковых систем, которые не имеют субъективного отправителя, исходят либо от природных объектов, либо от безличной инстанции «культуры». Из этой двойственности объекта происходят терминологические проблемы, которые проявляются у Аристотеля в соотношении знака и символа, у Пирса и Якобсона при определении и иллюстрировании знака-индекса, у Барта в его теории коннотации. Два измерения знаковой деятельности получают макросемиотическую интерпретацию у Лотмана в понятии «система» и особенно в теории семиосферы — своеобразного участника знаковой деятельности, обладающего одновременно и субъектностью, и всемирным характером. Таким образом, осмысление двух видов семиозиса эволюционирует на протяжении веков от философской рефлексии об отдельных знаках (Аристотель, Пирс) к лингвистическому и семиотическому исследованию целостных систем (Барт, Лотман). Способность к такому расширению перспективы и сознание неоднородности знаковой деятельности людей обусловили подъем научной семиотики в XX веке.

Ключевые слова: *Аристотель, Барт, интерпретация, коммуникация, Лотман, Пирс, семиотика, Якобсон*

Семиотика стала результатом скрещения двух интеллектуальных традиций, идущих от Античности и соединившихся лишь на рубеже XIX—XX столетий, — философской рефлексии о знаках и эмпирического изучения языка, которое в XIX веке породило новую науку лингвистику. Нелингвистическая предыстория семиотики, несводимой к теоретической программе Соссюра, отмечалась уже давно:

Любопытное заблуждение наших дней — считать, что наука о знаках родилась как наука о словесном языке, а *затем* (и лишь *затем*) категории лингвистики были распространены, как правило неточно, на другие явления. <...> На самом деле наука о знаках, или *σημειολογία*, как она проявляется



начиная с Гиппократов и стоиков, занималась не словесным языком, но прежде всего природным миром, а как следствие и миром вещей, образов и всякого рода эмблем (Eco, Pezzini 1982, p. 22).

Личным воплощением этой двойственности являются фигуры двух признанных основоположников семиотики — философа Чарльза Сандерса Пирса и лингвиста Фердинанда де Соссюра. Теоретическое же различие двух традиций заключается не только в эмпирическом или спекулятивном методе той или иной дисциплины, но и в двух разных объектах, двух разных прагматических ситуациях и мысленных операциях, которые в них по преимуществу изучаются: в лингвистической традиции это двусторонняя или многосторонняя *коммуникация* более или менее определенных субъектов, а в философской традиции — односторонняя *интерпретация* знаков, исходящих от какой-то трудно определенной, не совсем субъектной инстанции; в пределе это информационное взаимодействие с целым миром. В этих двух прагматических ситуациях и мысленных операциях фигурируют личные или безличные знаки, их источник может носить частный или же тотальный характер.

Концептуальная оппозиция, о которой идет речь, вообще распространена в истории идей, ею структурируются важные разделения социальной и моральной теории. Возможно, древнейшее из них — идущее от Аристотеля различие ретрибутивной и дистрибутивной справедливости: первая из них основана на справедливом *обмене* между моральными субъектами, а вторая — на справедливом *воздаянии*, которое каждый из них получает не от партнера, а откуда-то свыше, например от судебной власти. Позднее по сходному принципу различались номинализм и реализм в средневековой философии: согласно первой традиции, общие идеи (универсалии) возникают только в ходе мышления (а значит, и общения) людей, а согласно второй — существуют сами по себе, независимо от мыслительной деятельности отдельных субъектов. Впоследствии та же оппозиция была перенесена в герменевтику (две части герменевтики Шлейермахера: личностное «психологическое» и внеличное «грамматическое» толкования) и в теоретическую социологию, где различают номиналистическое и реалистическое воззрения: согласно первому, общество полностью исчерпывается непосредственными отношениями между индивидами (классик такой традиции — Макс Вебер), а согласно второму — включает в себя также и коллективные понятия и представления, несводимые к индивидуальным волям и оказывающие принудительное воздействие на отдельных членов общества (самый известный представитель этой традиции — Эмиль Дюркгейм). Наконец, то же различие проявляется в политической теории и практике: политика мыслится либо как искусство ситуативных сделок между конкретными контрагентами, либо как исполнение общих, более или менее постоянных законов и принципов¹.

¹ На бытовом уровне с этим еще можно соотнести две модели повседневного поведения, выражаемые однокоренными французскими словами *civilité* и *civisme*. Первое из них означает учтивость, заботливое отношение к конкретному



Использование знаков также не сводится к одной лишь коммуникации: знаки мало того что бывают не только в языке, но и необязательно служат для *передачи* сообщений. Намеки на это можно найти даже в лексике некоторых языков: так, во французском есть расхожее выражение *vouloir dire*, буквально «хотеть сказать»; но обычно оно употребляется в смысле «значить» (*ça veut dire que...* — «это значит, что...»), часто применительно к вещам и прочим фактам, не обладающим никакой субъектностью и неспособным ничего «хотеть».

Попробуем показать, как это различие проявляется в работах ряда выдающихся теоретиков семиотики. Анализ осложняется тем, что в этих работах, писавшихся в разные эпохи на разных языках, за сходными терминами могут скрываться существенно различные понятия: например, «символ» означает совсем разные вещи у Аристотеля, Гегеля и Пирса, и так же обстоит дело с рядом других терминов. Приходится, обращаясь к очередному автору, если не забывать, то методически отвлекаться от того, что понимали под тем же словом его предшественники.

1. Аристотель и (при)знак

Две разных функции и фактически два рода знаков различались у Аристотеля, который использовал два термина — *σημεῖον* и *σύμβολον*. В его трактате «Об истолковании» эти понятия по-разному применяются к словам языка:

Итак, звуки голоса суть символы [*σύμβολα*] состояний души, а письма — звуков голоса. И так же как письма не одинаковы для всех людей, звуки голоса тоже не одинаковы. Но то, знаками [*σημεῖα*] чего они прежде всего являются, — состояния души — одинаковы для всех; и то, подобием чего являются эти состояния, — собственно вещи — также одинаковы¹.

Аристотель различает два разных контура сигнификации: на внешнем уровне имеют место слова («звуки голоса» и «письмена»), которые вариативны, поскольку зависят от отдельных людей и народов; а

партнеру, пусть даже случайно встреченному и незнакомому, а второе — ответственность перед абстрактным коллективом, перед людьми, которых ты вообще не встречал и, возможно, никогда не увидишь. Согласно первой модели, следует подробно объяснить дорогу прохожему, который ее спрашивает; согласно второй модели — на время разговора с ним отступить в сторону, чтобы не загромождать проход другим. Первый способ поведения (коммуникация с определенным субъектом) не всегда согласуется со вторым (самосознанием в составе неопределенной общности).

¹ Трактат Аристотеля «Об истолковании» (16a) цитируется согласно английскому переводу Джона Экрилла, наиболее осторожному в заполнении эллипсисов аристотелевского текста: (Aristotle 2002, p. 43). Русский перевод Э.Л. Радлова, избегающий недопереведенных греческих слов, скрадывает зато различие между терминами *σημεῖα* и *σύμβολα*, передавая их одинаково словом «знаки». Благодарю Лию Ермакову за консультацию по поводу переводов Аристотеля.



на более глубоком уровне находятся одинаковые для всех «состояния души» (παθήματα), которые в свою очередь подобны «собственно вещам» и служат «прежде всего» референтами слов, тогда как сами слова-«звуки» можно считать референтами слов-«письмен». Идея «подобия» (ὁμοίωμα), которым являются состояния души по отношению к вещам, позволяет сделать вывод о том, что аристотелевская градация четырех уровней, каждый из которых надстраивается над предыдущим (вещь — состояние души — устное слово — письменное слово), делится на две пары, в одной из которых (два последних члена) происходит собственно семиотическое обозначение посредством слов, а в другой (два первых члена) — миметическое отражение вещей в подобных им состояниях души. Первый процесс подчиняется конвенциям языка, второй же безусловен и определяется причинно-следственными отношениями. Два аристотелевских понятия знака не точно соответствуют этим парам: если «символы» характеризуют первый способ мысленной деятельности (представляют собой условные языковые знаки), то «знаки»-σημεῖα являются скорее родовым понятием, охватывающим оба способа — как «символизацию», так и образование «подобий». Во всяком случае, в других текстах Аристотеля, посвященных уже не только языку, слово σημεῖον постоянно понимается в смысле каузального коррелята — как след общего в частном, метка абстрактного понятия в конкретном объекте, то есть не столько как коммуникативный знак, сколько как признак, возникший вне чьего бы то ни было намерения нечто сообщить.

Фактически признаки и символы различаются у Аристотеля (и его последователей — например, Августина) по своему происхождению: знаки-признаки имеют естественную природу, даже если невольно производятся человеком, тогда как знаки-символы суть факты культурного общения¹. На основании признака (но не символа) можно строить силлогизмы, опровержимые (энтимемы) или неопровержимые; в последнем случае знак-σημεῖον, утверждение о котором служит меньшей посылкой силлогизма, служит решающим «признаком-доказательством» (τεκμήριον). Например, по внешним признакам можно судить о «переживании» или «свойстве» (πάθος) живых существ; это слово, родственное «душевному состоянию» (παθήματα) говорящего человека, означает нечто такое, что безусловным образом проявляется, отражается или выражается в телесном облике:

А именно: если какому-либо неделимому роду присуще свое особое переживание [πάθος], как, например, львам — смелость, то необходимо,

¹ Цветан Тодоров, формулируя эту оппозицию условных и естественных знаков, называл ее общее основание «символом»: «Аристотель подразделяет символы на (условные) “имена” и (естественные) “знаки”» (Тодоров 1999, с. 5). Такое различие можно уточнить: мы только что видели, что «символами» Аристотель называет одни лишь условные, языковые знаки; а соответствующие им «состояния души» являются хоть и «естественными», но одновременно «человеческими».



чтобы был и какой-то знак [σημεῖον] его. Ибо предполагается, что [тело и душа] переживают вместе. Допустим, что таким знаком будут большие конечности...¹

Таким образом, два понятия «знака» — σύμβολον и σημεῖον — по-видимому, соответствуют у Аристотеля двум разным операциям: символы служат для межличностной коммуникации, а признаки — для суждений о внеличной, вообще говоря, действительности; однако они достаточно близки, и иногда, как в трактате «Об истолковании», первое понятие может включаться во второе, то есть для Аристотеля знаки лишь иногда служат для коммуникации, в общем же случае — для *познания*, которое может вести и одинокий, ни с кем не общающийся субъект. Соответственно дисциплиной, изучающей знаки и их употребление, оказывается не «семиотика», а *логика*, наука о построении безличного, вообще говоря ни к кому не обращенного интеллектуального дискурса, дающего отчет о мире. Не пытаясь здесь строить историю этой философской еще-не-совсем семиотики, кратко заметим, что до раннего Нового времени включительно знания о языке и знаках по-прежнему включались либо в логику и общую грамматику (см.: Фуко 1977), либо в религиозную или эзотерическую герменевтику. Языком люди общаются между собой, знаки получают от мира / божества — последняя операция соединяет познание и коммуникацию².

Новый этап в рефлексии о знаках наступил в XIX веке, в эпоху романтизма и позитивизма, придавших ей два различных направления. С одной стороны, понятие познавательного, никем никому намеренно не направляемого знака-признака перешло из внеисторической логики в историзирующую культурфилософию. В ней сложилась новая идея *символа*, едва ли не противоположная аристотелевской, основателями которой стали Фридрих Шлегель и Фридрих Крейцер (см. Galland-Szymkowiak 2011)³. Такой символ возникает самопроизвольно, в безличном процессе мирового становления; понятый таким образом, он стал далее основой художественно-мистического направления, сложившегося во второй половине XIX века, — символизма. Еще позднее идея естественной аллегории, «нечувственного сходства» и «чтения ненаписанного» (например, при дивинации) вновь появляется у Вальтера Беньямина, который прямо противопоставляет такое чтение «семиотическому» и связывает его с альтернативной формой передачи смысла — мимесисом, упомянутым в заголовке его статьи «О способности подражания» (Über das mimetische Vermögen):

¹ Аристотель. Первая аналитика. 70b13–16. Перевод Б. А. Фохта цитируется с использованием двух разных его редакций, напечатанных в книгах (Аристотель 1952, с. 175) и (Аристотель 1978, с. 253).

² Так, в рассуждениях Августина о знаках, с одной стороны, «в центре внимания оказывается не отношение обозначения (десигнации), а коммуникативная связь», а с другой стороны, знаки разделяются на «естественные и интенциональные», и первые не являются коммуникативными (Тодоров 1999, с. 33, 38).

³ Автор статьи отмечает, в частности, влияние «Символики» Крейцера на понятие «символического искусства» у Гегеля.



«Читать никогда не написанное». Таков древнейший тип чтения — чтение до всякой речи, по внутренностям жертвы, по звездам или танцам (Benjamin 2000, p. 363)¹.

С другой стороны, новая дисциплина лингвистика не просто признала (хоть и не сразу и с оговорками) знаковый характер языка, но в рамках самого языка выделила два разных уровня смыслообразования: в терминах XX века это *сообщение* и *код*. Языкознание XIX столетия стало исходить не из общей грамматики, а из множественности и разнородности языков, каждый из которых обладает, по Вильгельму фон Гумбольдту, особой «внутренней формой» и эта форма («культурный код», как это называют в современном вульгарном словоупотреблении) выражает душу народа, создавшего данный язык. В результате изучение языка и текста само распадается на две разнонаправленные деятельности, конкуренцией которых определяются многие методологические коллизии. Дешифруя высказывания и тексты на чужом языке, филолог и лингвист решают сразу две задачи: определить конкретно-содержательное значение, которое намеревался донести до своего адресата отправитель сообщения, и уловить более общий, ненамеренный смысл, содержащийся в коде, формальном устройстве его языка и «сообщающий» (уже в несколько ином значении слова) важную информацию о строе мышления этого и других людей. В развитии науки это привело к созданию новых филологических дисциплин — компаративной филологии (в отличие от классической) и фольклористики²; последняя занялась изучением словесных объектов, вообще не имеющих авторства, возникших по иной, неавторской культурной модели и не образующих настоящей двусторонней коммуникации: фактически в них коллектив «сообщается» сам с собой.

2. Пирс, Якобсон и индекс

Семиотика, возникшая в XX веке, оказалась вписана в ту же двойную перспективу. Это проявилось в двойственности некоторых ее понятий, прежде всего понятия *знака-индекса*.

Как известно, понятие было введено еще в XIX веке Пирсом, но предлагаемое этим философом определение и иллюстрирующие его примеры не отличаются однозначностью, а то и прямо противоречат друг другу³. Иногда (в статье «Разделение знаков») Пирс дает знаку-индексу чисто когнитивное определение, основанное только на отношении знака с референтом и независимое от ситуации межсубъектной коммуникации:

¹ В оригинале: «“Was nie geschrieben wurde, lesen”. Dies Lesen ist das älteste: das Lesen vor aller Sprache, aus den Eingeweiden, den Sternen oder Tänzern».

² О значении этих новых дисциплин для формирования русской теории литературы в XX веке см.: (Merrill 2022).

³ См. подробный критический анализ понятия, проведенный в свое время канадским ученым (Goudge 1965, p. 52–70).



Индекс есть знак, отсылающий к Объекту, который он обозначает в силу того, что он действительно подвергается воздействию этого Объекта (Пирс 2000, с. 186)¹.

В таком понимании знак-индекс соотносится исключительно с собственным объектом — подвергается его воздействию, то есть является некоторым следствием этого воздействия (правда, в отличие от *πάθος* у Аристотеля, это чисто физическое, а не психическое воздействие); поэтому, в терминах послепирсовской семиотики Ч. У. Морриса, он подлeжит только семантическому, а не прагматическому описанию. Примером такого индекса, отсутствующим у самого Пирса, но нередко используемым при объяснениях его классификации знаков, может служить дым как индекс (действительное, физическое следствие) огня.

В другой своей работе «Икона, индекс и символ» Пирс предлагает более сложное определение индекса — тоже референциальное, но учитывающее различную природу его референтов:

Индекс или *Сема* (οἴμα) есть Репрезентамен, репрезентативный характер которого состоит в том, что он является индивидуальным вторым. Если Вторичность это существующее в действительности отношение, то Индекс является *подлинным*. Если Вторичность представляет собой референцию, то Индекс является *вырожденным*. Подлинный Индекс и его Объект должны являться существующими индивидами (неважно, вещами или фактами)... (Там же, с. 205).

Определение индекса расширяется, теперь он может быть «подлинным» и «вырожденным». В первом случае между знаком и объектом имеется «существующее в действительности отношение» — например, каузальное (как у дыма с огнем); во втором случае их связывает еще и «референция», то есть, в понимании Пирса, ментальное отношение, определяемое «интерпретантой» (или, в другом переводе, «интерпретантом»). В частности, продолжает Пирс, «любой индивид есть вырожденный Индекс своих свойств» (Там же, с. 206) — такой индекс есть проявление общего (свойств) в частном (индивиде), что соответствует аристотелевскому пониманию *признака*. Таким образом, референтом знака-индекса могут быть реальные факты (это обязательно для подлинных индексов), но могут и абстрактные понятия, метящие своим признаком реальные объекты.

Однако Пирс не останавливается и на этом; иллюстрируя свою мысль, он делает шаг дальше, в сторону уже коммуникативного, а не чисто референциального определения знака. В примерах, приводимых им для знака-индекса, смешиваются знаки-признаки («подлинные индексы»), возникающие из самих обозначаемых ими фактов, и знаки-указания («вырожденные индексы»), создаваемые *отправителем сообщения*, — здесь впервые заявляет о себе этот персонаж, не логический субъект мышления, а эмпирический субъект коммуникации:

¹ Перевод К. Голубович.



Стук в дверь есть индекс. Все, что фокусирует наше внимание, есть индекс. Все, что пугает нас, есть индекс, поскольку оно отмечает соединение двух частей опыта. Так, ужасный удар грома указывает на то, что случилось нечто весьма значительное, хотя мы можем и не знать с точностью, что это было (Там же).

Стук в дверь и удар грома оба «фокусируют наше внимание», но имеют разное происхождение: в терминах Аристотеля, первый является «символом» (не путать с условными знаками-символами по определению самого Пирса), которым посетитель сообщает свою просьбу впустить его, хотя одновременно этот символ каузально связан с телесным присутствием посетителя у двери; а второй — лишь «знак»-признак, одно из следствий происшедшего в атмосфере электрического разряда, у него нет никакого отправителя, и он не включен ни в какую цепь коммуникации (ср. звук шагов посетителя за дверью, по которому можно узнать о его приближении, но, в отличие от стука, его шаги не призваны специально об этом сообщить). Сходное смешение и в других примерах Пирса. Флюгер — индекс направления ветра, но по двум разным причинам: во-первых, он физически воспроизводит это направление (служит объективным признаком воздушного потока), «а во-вторых, мы устроены таким образом, что... закон разума заставляет нас думать, что это направление связано с ветром» (Там же, с. 207), — потому что мы сами же и «устроили» флюгер так, чтобы он указывал это направление, сами же намеренно подали себе особый знак посредством этого инструмента. И, наконец: «Полярная звезда, так же как и указывающий палец, есть индекс, с помощью которого мы узнаем путь на север» (Там же), — здесь в категории индексов прямо сведены вместе разнородные факты: звезда, объективно занимающая северное положение на небе, и субъективный жест, намеренно «подающий знак» о некотором направлении. В дальнейшем изложении Пирс от неязыковых знаков обращается и к языковым: он относит к индексам остерегающий оклик «Эй!», или относительные местоимения «кто» и «который», *указывающие* в тексте на соответствующие им имена, или же наречия «справа» и «слева», представляющие собой чистые телесные указания (направлений по отношению к телу говорящего). Таким образом, знак-индекс, первоначально определенный Пирсом как объективный признак, орудие безличного познания, по ходу своего анализа и иллюстрирования дрейфует к наиболее субъективным ресурсам языка, изучаемым современной лингвистикой, — к средствам дейксиса, прямо связанного с намерениями и телесным расположением говорящего.

Концептуальные колебания философа Пирса повторил век спустя филолог Роман Якобсон в статье «Язык в отношении к другим системам коммуникации» (1970). Стремясь свести пирсовскую троичную классификацию знаков (иконы, индексы и символы) к двоичной оппозиции сходства и смежности (метафоры и метонимии), он предлагает определять индекс по его смежному отношению с объектом:



Индексное отношение между *signans* и *signatum* зиждется на их фактической, существующей в действительности смежности. Типичный пример индекса — это указание пальцем на определенный предмет (Якобсон 1985, с. 322)¹.

Как видно из примера с указующим перстом (взятого у Пирса и мотивированного полисемией английского слова *index* — «признак», «показатель», «указатель» и даже «указательный палец»), та «действительность», где существует отношение смежности, не вполне материальна: в данном случае это не объективная, а субъективная, точнее intersубъективная действительность, потому что только в рамках отношений между субъектами коммуникации вытянутый палец становится не просто физическим фактом, а носителем знакового сообщения — указания на определенный предмет. То есть иногда действительный факт сам себя «показывает» в чем-то вне его расположенном, порождая естественный знак (дым — индекс огня), а иногда человек «указывает» на него со стороны, создавая искусственный знак.

Все это затрудняет общее определение предмета семиотики, которое пытается построить Якобсон. Лингвистика XX века, в рамках которой он работает, изучает знаковую деятельность (словесную, но в принципе и не только ее) как *коммуникацию*, передачу сообщений:

...лингвистику можно кратко определить как изучение коммуникации, осуществляемой с помощью речевых сообщений (Там же, с. 319).

Ту же задачу — изучать знаковые сообщения, создаваемые *в процессе коммуникации*, — Якобсон ставит и перед семиотикой, определяемой (вслед за Соссюром) как расширение лингвистики:

Семиотика как исследование коммуникации посредством всех типов сообщений составляет концентрический круг, ближайший к лингвистике как исследованию коммуникации с помощью речевых сообщений... (Там же, с. 320–321).

Проблема в том, что именно знак-индекс плохо вписывается в центрально-периферийную схему «лингвистика внутри семиотики». Приходится признать существование непреднамеренных, никем не управляемых знаков-индексов; их можно было бы назвать «вырожденными», но только в смысле противоположном пирсовскому — это не субъективные, а как раз объективные знаки, возникающие спонтанно:

Среди индексов существует широкий круг знаков, интерпретируемых их получателем, но не имеющих явного отправителя. Животные не оставляют умышленно следов для охотников, но тем не менее эти следы выполняют роль *signantia*, позволяющих охотнику вывести соответствующие *signata* и тем самым определить вид дичи, а также направление и давность движения животного. Сходным образом симптомы болезней используются вра-

¹ Перевод Н. Н. Перцовой.



чами как индексы; тем самым *семиологию* (или, иначе, *симптоматологию*) — отрасль медицины, занимающуюся знаками, которые указывают на недуг и уточняют его характер, — можно было бы включить в сферу семиотики, если вслед за Пирсом считать непреднамеренные индексы подвидом более широкого семиотического класса. Тот факт, что их необходимо интерпретировать как сущности, служащие для выведения существования других сущностей (*aliquid stat pro aliquo*), заставляет нас считать непреднамеренные индексы разновидностью знаков, однако мы не должны упускать из виду кардинальное различие между *коммуникацией*, которая имплицитно указывает на реальное или предполагаемое адресанта, и *информацией*, источником которой нельзя считать адресантом тех знаков, которые интерпретируются их получателем (Там же, с. 325).

Существуют, стало быть, индексы, не включенные в коммуникацию, выполняющие лишь функцию *информации* для их получателя и интерпретатора, но и здесь придется еще разграничивать их использование для *добычи информации* — в качестве «примет» (*indice*) других фактов, согласно знаменитой статье Карло Гинзбурга (см.: Гинзбург 2004), — или же для *сообщения информации* другим. При первом понимании, например, в художественном тексте настоящими индексами окажутся только ошибки и опечатки — ненамеренные следы, никем не оставленные умышленно для «охотников»-филологов или корректоров; а при втором понимании в число индексов попадут изученные Роланом Бартом «эффекты реальности» — иллюзионистские приемы, посредством которых писатель, вводя в рассказ «незначашую», как бы случайно «указанную» деталь, на самом деле вполне намеренно обозначает ею общее понятие «реальности», то есть псевдоиндекс на самом деле является неявным знаком-символом (не конкретного предмета, а общего понятия «реальность») (см.: Барт 1989, с. 392–401).

3. Барт и коннотация

Проблема неязыкового и некоммуникативного знака получила дальнейшее развитие в новой структуральной семиотике XX века. Во-первых, по своему происхождению такие знаки стали мыслиться как продукты *человеческой культуры*, в соответствии с теоретическими и культуркритическими задачами семиотики и в отличие от философской семиотики прошлого, для которой знаки-индексы бывали либо божественными, либо естественными. Во-вторых, по своему устройству такие знаки предстали как системные, а не изолированные; своей системностью они отражают системный характер порождающей их культуры.

Проблема индекса — точнее, *признака*, *indice* — в его отличии от знака вновь возникла применительно к семиотике Ролана Барта, причем в контексте методологических упреков. Лингвист и теоретик перевода Жорж Мунен в статье, первоначально опубликованной в 1962 году, подверг суровой критике книгу Барта «Мифологии» и предложенную в ней концепцию знака. При всем своем таланте критика Барт, писал он, не понимает разницы между знаком и признаком, потому что не задается вопросом о коммуникации:



...ему никак не дается точное соотношение *признака и знака*, потому что он пренебрегает важнейшей оппозицией: это коммуникация или нет? (Mounin 1970, p. 191).

Признак, то есть «некий наблюдаемый факт, который сообщает нам нечто о другом, прямо не наблюдаемом», не является специфическим объектом семиологии (семиотики): «точно интерпретировать значение признаков — это не лингвистика и даже не семиология, *это вся наука вообще*» (Ibid., p. 194). Настоящие знаки, по Мунену, существуют только в процессе коммуникации, где есть сознательные участники: «человек никогда не может быть вовлечен в процесс коммуникации неведомо для себя, ни как отправитель, ни как получатель сообщений» (Ibid., p. 190).

Действительно, в «Мифологиях» Барта речь идет о знаках безусловно культурных: автор, по его собственному заявлению, занимается «идеологической критикой языка так называемой массовой культуры» (Барт 2008, с. 70). Вместе с тем знаки-«мифы» то ли интенциональны, то ли нет — во всяком случае, их важнейшее свойство в том, что они не осознаются ясно теми, кто их потребляет, а возможно, даже и теми, кто их непосредственно производит. У этих знаков есть *латентные означаемые*, подозрительные для лингвиста Мунена: для него знаковая деятельность, понимаемая по модели языка, равна коммуникации, а следовательно ее нельзя вести «неведомо для себя», даже в качестве получателя; скрытые сообщения в ней возможны лишь при обмене шифрованными текстами, которые скрыты для посторонних, не владеющих данным кодом, но не для прямых участников коммуникации, которым этот код известен. С такой точки зрения бартовские знаки скорее походят на бессознательные симптомы, наблюдаемые в медицине и особенно в психоанализе, к которому Мунен и причисляет семиологию Барта: для него это «социальный психоанализ», разделяющий с фрейдовским психоанализом свой полуприродный-полукультурный объект, а также и свой сомнительный, не совсем научный статус.

В знаках-мифах, как их описывает Барт, действительно есть латентный, коннотативный слой значений, который, однако, никем не скрывается намеренно: он не зашифрован, но остается неявным как общепринятая Докса, о которой никому не приходит в голову задумываться. Скажем, фильм или театральная постановка являются открыто знаковыми зрелищами на уровне денотации, поскольку предъясняют зрителю знаки действующих лиц и их поступков; но к этим денотативным знакам, обеспечивающим коммуникативный контакт с публикой, присовокупляются уже менее очевидные коннотативные знаки, которые на них паразитируют. Это демонстрирует схема вторичного знака, начерченная в теоретическом заключении к «Мифологиям»¹. Каким образом

¹ Надо, впрочем, признать, что она не всегда вполне соответствует бартовскому анализу в конкретных «практических мифологиях». Если в словесных или зрелищных продуктах культуры первичное денотативное значение присутствует с



такие знаки вырабатываются и каким образом они «настигают» своих получателей — Барт объясняет лишь бегло и отрывочно, не выводя общих законов; так, можно заключить, что важным прагматическим средством, стимулирующим рецепцию коннотативных знаков, служит «интерпелляция» — обращение не ко всем и каждому, а к определенной группе воспринимающих, формирующее их коллективную идентичность (Зенкин 2022).

Сейчас, однако, важна другая сторона дела. Критикуя Барта, Мунен отрицал *коммуникативный* характер исследуемых им знаков; и в самом деле, циркуляция коннотативных знаков, о которой толкуют «Мифологии», непохожа на нормальную коммуникацию языкового типа. Неясно, кто ее осуществляет со стороны отправителя: это не конкретные лица или даже институты, а некая безличная инстанция, которая у Барта характеризуется социальным термином «буржуазия» (хотя бывают и «мифы слева», антибуржуазные по направленности), но в конечном счете сближается с обществом или культурой вообще:

Вся современная Франция погружена в эту анонимную идеологию: наша пресса и кино, наш театр и массовая литература, наши церемониалы, Юстиция и дипломатия, наши разговоры о погоде, уголовные процессы, сенсационные свадьбы, блюда, о которых мы мечтаем, одежда, которую носим, — все в нашем повседневном быту обусловлено тем представлением об отношениях человека и мира, которое создает *себе и нам* буржуазия (Барт 2008, с. 302).

Анонимность, исходная бессубъектность знака-«мифа» заставляет переживать его как диффузную массу Доксы (у Барта часто с заглавной буквы) без конкретного источника, как «тошнотворную непрерывность языка» (Там же, с. 229), значение которой расплывается (или, по счастливой метафоре из «Системы Моды», «излучается») на всю протяженность захваченных ею культурных объектов, даже если ее непосредственные носители-коннотаторы четко локализованы в этой протяженности, как локализована значащая деталь-«суппорт» модных значений в предмете одежды. За чтением отдельных знаков обнаруживается сплошная стихия силовых воздействий, которые и придают эффективность, читаемость этим знакам. Семиотика находит себе продолжение или, наоборот, основание в описании социальных энергий.

Таким воззрением на коннотацию объясняется терминологическая ошибка, допущенная Бартом при ее определении и педантично отме-

очевидностью (в случае зрелищ — даже физически наглядно), то иначе обстоит дело, например, с семиотикой пищи (вина, бифштекса и т. п.), где Барт выделяет только один уровень значения, склеивая денотацию с коннотацией. Вероятно, именно эта неточность понятия «мифа» заставила его позднее, в образцовой методологической работе по семиотике «Система Моды» (1967) устрожить свой подход и ограничиться анализом не собственно модной одежды, а дискурса описывающих ее модных журналов, которые всегда, по самой своей природе изрекают некоторые денотативные высказывания, описывающие одежду (какая, вообще говоря, может сама и не иметь никакого значения).



ченная Муненом, — смешение понятий коннотации и метаязыка. Первый из этих терминов отсутствует в книге «Мифологии»; в 1950-е годы Барт если и знал его, то лишь в том значении, которое ему придавала логика после Джона Стюарта Милля. Коннотация в логике означает, собственно, *семантику* понятия, его смысловое содержание, множество дескрипций покрываемых им объектов — тогда как денотация сводится к прямому (в терминах Пирса можно сказать — индексальному) указанию на именуемый объект. «В таком случае получается, что денотация — это то же самое, что и *экстенсивность* понятия, и тогда коннотация совпадает с его *интенсивностью*», — комментирует эту традицию словоупотребления Умберто Эко (Эко 2006, с. 64), давая понять, что при таком понимании термины «денотация» и «коннотация» оказываются вообще излишними: они не более чем семиотические синонимы соответствующих логических терминов.

Барт с самого начала своего творчества занимался исследованием вторичных процессов смыслообразования. Уже в первой его книге «Нулевая степень письма» (1953) заглавное понятие «письма» описывает не что иное, как коннотативный социально-идеологический код литературных текстов, накладывающийся на денотативный код «языка» и индивидуальный идиолект-«стиль». В «Мифологиях» он разворачивает критику буржуазной *идеологии* (слово «идеология» встречается в книге около ста раз), понимаемой по Марксу как несознаваемое социальное содержание культурных представлений, причем эта несознаваемость обеспечивается именно коннотативными процессами. «Идеология есть последняя коннотация всей совокупности коннотаций, связанных как с самим знаком, так и с контекстом его употребления», — определял это позднее Эко, несомненно опираясь на опыт пионерской книги Барта (Там же, с. 140). Однако сам Барт, который в середине 1950-х еще только что прочитал Соссюра, игнорирует термин «коннотация», используя для определения «мифов» неадекватный термин «метаязык» (также логического происхождения). Дело в том, что коннотация бывает скорее у отдельного знака или знакового выражения, тогда как «метаязык» по самой внутренней форме термина отсылает к тотальности кода, находящегося в коллективном владении больших социальных групп. Барт, по-видимому, лишь позднее познакомился с «Пролегоменами к теории языка» Луи Ельмслева, где различие коннотации и метаязыка было сформулировано с помощью двусмысленного слова «семиотика», способного означать не только науку о знаках, но и отдельную знаковую систему¹. В теоретическом трактате «Основы семиологии» (1964) и книге «Система Моды» (1967) Барт исправил свою терминологию, разграничив метаязык и коннотацию точно по Ельмслеvu.

¹ «Следовательно, коннотативная семиотика есть семиотика, не являющаяся языком; ее план выражения представлен планом содержания и планом выражения денотативной семиотики. Иными словами, это семиотика, один из планов которой (а именно план выражения) является семиотикой» (Ельмслев 2006, с. 139, перевод Ю. К. Лекомцева).



В книге «S/Z» (1970) он подробно останавливается на критике понятия коннотации в литературе, разбирая различные его аспекты, из которых особенно важен один — коннотация нарушает, разрушает коммуникацию:

С точки зрения своей основной функции (порождение двойных смыслов), коннотация нарушает чистоту коммуникативного акта: это — преднамеренно и сознательно создаваемый «шум», который вводится в фиктивный диалог автора и читателя, это — контркоммуникация (Литература есть не что иное, как умышленная какография) (Барт 2009, с. 52)¹.

В силу своей контркоммуникативной природы коннотация и оценивается у Барта двойственно. С одной стороны, в «S/Z» она связывается с авторитарной традицией классической литературы, с тиранией Означаемого, поскольку в этой традиции вторичный коннотативный смысл противопоставлен исходному, первообразному денотативному; через коннотацию язык навязывает тексту свои категории кода, по-«фашистски» заставляет нас говорить то, чего мы не имели в виду; коннотативное сообщение интенционально, но не всегда осознанно даже со стороны отправителя, поэтому его критика умудренным получателем-семиологом сближается с «чтением ненаписанного», с распознаванием признаков. С другой стороны, в ряде своих работ — статьях «Структурализм как деятельность» (1963) и «Риторика образа» (1964), книге «Критика и истина» (1967), эссе «Гул языка» (1975) — Барт сочувственно вспоминает замечание Гегеля о «трепете смысла», который древние греки умели слышать в космическом мире (Барт 1989, с. 260, 305, 358, 544). Этот мир — не субъект, у него нет с нами коммуникации и как будто бы не может быть и коннотации, однако «трепещущий» смысл сближается с нею своим тотальным характером, превышающим любую конкретную интерсубъективную коммуникацию и ставящим человека перед лицом вселенной, заставляя мистически вслушиваться в нее.

Коннотация по Барту — это не «оценочная интонация» слов (как часто понимают ее при бытовом употреблении термина, а иногда даже и в лингвистике), не цензурное иносказание, не двусмысленный намек говорящего или пишущего. Даже когда она содержится во вполне авторском тексте, например в новелле Бальзака, она никем конкретно в него не вводится; в ней происходит безличная проекция Кода, Языка, Культуры — примерно так же как индекс-признак оставляет след общего понятия в отдельном существе. Если учитывать коннотативные значения текста, то становится невозможно ответить на вопрос «Кто говорит?» — отсюда происходит самая популярная идея Барта, идея «смерти автора». Развенчание всемогущего Автора, сводящего воедино все смысловые элементы своего текста, идет не по пути аналитической дифференциации «авторских функций», как это делал почти одновременно с Бартом Мишель Фуко, а, наоборот, через растворение автор-

¹ В том же рассуждении о литературной «дурнописи» Барт упоминает как один из возможных синонимов «коннотации» (правда, в своем специфическом смысле) — «индекс» (Барт 2009, с. 51).



ской фигуры в мировой стихии языка, в «пространств[e], где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо» (Там же, с. 390); в конце статьи «Смерть автора» Барт олицетворяет его в фигуре безличного, абстрактно-языкового «читателя», лишённого имени и биографии¹.

4. Лотман и система

Известно, что Юрий Лотман мало занимался проблемой знака; его семиотика сосредоточена на более крупных единицах культурной деятельности — прежде всего на текстах (см.: Золян 2020). Соответственно и понятие коннотации встречается у него редко, хотя с ним соблазнительно было бы сопоставить главную категорию Московско-тартуской семиотической школы — понятие «вторичных знаковых систем». Эти системы — например, художественная литература — образуются, как и коннотация, на основе некоторой первичной знаковой системы, в данном случае естественного языка, используя его как свой план выражения (точно по дефиниции Ельмслева). Однако, в отличие от диффузной, структурируемой лишь усилием критика-аналитика бартовской коннотации, вторичные знаковые системы вполне институционализированы (как, например, та же литература), обладают собственными, часто эксплицитными правилами и всеми опознаются как отдельные, ограниченные области знаковой деятельности.

Система обладает *структурой*, и в 1960-е годы эти два термина у Лотмана могли заменять, метонимически подменять друг друга — отчасти во избежание подозрений, которое вызывало у идеологических цензоров понятие «структуры». В монографии «Структура художественного текста» (1970) привычное в советской культуре понятие «системы» употребляется особенно часто, и оно отличается любопытной двойственностью. В семиотических терминах, им покрываются то коды, то тексты. В начале книги «система» чаще всего означает код, язык культуры, например: «Всякая система, служащая целям коммуникации между двумя или многими индивидами, может быть определена как язык...» (Лотман 1970, с. 13); причем Лотман подчеркивает, что структура кода является не просто коммуникативной, но *моделирующей системой*, то есть, как всякая модель реальности, служит для познания, для добычи информации, передаваемой затем другим. В дальнейшем, однако, в его книге начинает преобладать иное понимание моделирующей системы: система текста (Там же, с. 68, 71), система рифмовки в стихотворении (Там же, с. 161), звуковая система стиха (Там же, с. 181), то есть система сокращается от общего кода до единичного художе-

¹ Этим условным олицетворением злоупотребляли сторонники литературного «постмодернизма», истолковывая его как безграничную свободу произвола в интерпретации, субъектом которой они считали уже не язык, а эмпирического индивида.



ственного высказывания. Один из разделов книги так и называется «Текст и система», и в художественном тексте Лотман различает «системное» и «внесистемное» (структурное и внесистемное):

...во всех моделирующих системах внесистемный материал «снимается». В искусстве он, наряду с системным, является носителем значений (Там же, с. 92).

Существуют, таким образом, «большие» и «малые» системы / структуры, безличные коды и авторские (часто) тексты, причем отношение между ними — не простая подчиненность (текст подчинен коду), а динамическое взаимодействие, когда разные коды сходятся в одном тексте и даже борются между собой, производя энергетический эффект искусства. Если же эта борьба иссякает, если некоторый код, возобладав над другими, становится единственным регулирующим началом «систематизированного» им текста, то художественное достоинство текста обесценивается, он начинает выглядеть как «эпигонство по отношению к самому себе», пассивное воспроизведение собственного кода:

В чем здесь дело? Система одержала победу. То, что казалось необычным, стало заурядным, «противосистема» прекратила сопротивление (Там же, с. 238).

Система-код оказывается самостоятельной, активной и безличной силой, действующей наравне с чьей-то личной художественной интенцией. Более того, в культуре бывают высказывания, которые направлены именно на обогащение кода. Так обстоит дело, по Лотману, с *автокоммуникацией* в контуре «Я — Я», которая кратко упомянута уже в «Структуре художественного текста», а позднее ей посвящена специальная статья «О двух моделях коммуникации в системе культуры» (1973)¹. При такой странной деятельности — зачем сообщать самому себе то, что уже заведомо известно? —

речь идет о возрастании информации, ее трансформации, переформулировке в других категориях, причем вводятся не новые сообщения, а новые коды, а принимающий и передающий совмещаются в одном лице. В процессе такой автокоммуникации происходит переформирование самой личности... (Лотман 1992, с. 84)².

¹ В названии этой статьи Лотмана слово «система» получает еще один новый смысл — означает не семиотическую, а коммуникационную систему, организующую разные контуры коммуникации — «Я — Ты» или «Я — Я».

² Ср. последнюю мысль с замечанием Ролана Барта об антропологической функции языка, высказанным в одном из последних интервью 1979 года: «Человек совершенно единосущен языку. Язык — это не какой-то инструмент, придаток, которым человек обладает “помимо прочего” и который позволяет ему общаться с соседом, просить его передать соль или открыть дверь. Ничего подобного. На самом деле язык создает человека как субъекта, человек не существует вне языка, которым он сформирован...» (Barthes 1995, p. 1062).



Лотман тут же замечает, что «автокоммуникативный характер связи может маскироваться, принимая формы других видов общения (например, молитва может осознаваться как общение не с собой, а с внешней могущественной силой...)» (Там же). Здесь непосредственно говорится о переживании *активной* знаковой деятельности, об отправлении знаков самому себе; но, по-видимому, то же самое имеет место и при деятельности *пассивной* — восприятию знаков, исходящих от некоей «внешней могущественной силы», например при дивинации. Таким образом, повторение уже известного — процесс, посредством которого Лотман, неявно противореча «Лингвистике и поэтике» Якобсона, определяет не (только) поэтическую, но и метаязыковую / металингвистическую функцию высказывания, — способствует, с одной стороны, разработке «новых кодов», а с другой — «переформированию самой личности» говорящего / слушающего. Наконец, когнитивная направленность всей лотмановской семиотики, постоянно имеющей в виду добычу информации («*Красота есть информация*» (Лотман 1970, с. 178) и обогащение культуры как «ненаследственной памяти коллектива» (Лотман 1993, с. 328)¹, позволяет интерпретировать это переформирование личности как познавательный процесс: оно ставит субъекта перед лицом мира, полного неясными смыслами, для которых еще нужно выработать новый язык.

Статья о «двух моделях коммуникации» фактически обосновывает переход Лотмана от микро- к макросемиотике, начавшийся еще в цикле «Статей по типологии культуры» (т. 1–2; 1970, 1973), а затем продолженный в книгах «Внутри мыслящих миров» (первое, английское издание — 1990) и «Культура и взрыв» (1992). Особенно показательна для этого перехода статья «О семиосфере», впервые напечатанная в 1984 году, а затем включенная в одну из названных книг. Русское название этой книги, с выражением «мыслящие миры», фактически обосновывается именно в данной статье, где слово «мир» заменяет собой прежнюю «систему» и означает уже не структуру отдельного текста или даже кода, а устройство целостной культуры-семиосферы².

Лотман определяет семиосферу как «семиотическую индивидуальность», или «семиотическую личность» (Лотман 1992, с. 13); эта «большая система», охватывающая множество реальных и возможных кодов и текстов, сравнима с отдельным организмом:

¹ Статья «О семиотическом механизме культуры» (1971, в соавторстве с Борисом Успенским).

² Странное множественное число в выражении «мыслящие миры», вероятно, восходит в научном плане к теории *возможных миров*, а в плане литературном — к стихотворению Андрея Вознесенского «Антимиры» (1961, в одноименном сборнике 1964 года), где под «антимирами» понимаются именно возможные, воображаемые миры. Лотман с интересом относился к ранней лирике Вознесенского и прямо упоминал в числе других это стихотворение, где, по его выражению, «система» еще не «одержала победу» над поэтом (Лотман 1970, с. 238).



...все семиотическое пространство может рассматриваться как единый механизм (если не организм). Тогда первичной окажется не тот или иной кирпичик, а «большая система», именуемая семиосферой. Семиосфера есть то семиотическое пространство, вне которого невозможно само существование семиозиса (Там же).

Семиосфера кое в чем подобна тексту, так как она обязательно ограничена; это не общемировое «семиотическое пространство», а индивидуализированная *сфера* с центром и периферией, она отстаивает свой гомеостаз и свои границы, ассимилируя (переводя на свой язык) любые внесистемные элементы:

«Замкнутость» семиосферы проявляется в том, что она не может соприкасаться с иносемиотическими текстами или с не-текстами (Там же).

Осуществляя такую ассимилирующую активность, семиосфера обладает не только индивидуальностью, но даже и *субъектностью*, так как она способна воображать и конструировать нечто за своими пределами:

Поскольку граница — необходимая часть семиосферы, семиосфера нуждается в «неорганизованном» внешнем окружении и конструирует его себе в случае отсутствия. Культура создает не только свою внутреннюю организацию, но и свой тип внешней дезорганизации. Античность конструирует себе «варваров», а «сознание» — «подсознание» (Там же, с. 15).

В приводимых здесь Лотманом примерах особенно ясно видно, что макросемиотика для него подобна микросемиотике, из которой она выросла: целостная историческая культура (античность) ведет себя точно так же, как индивидуальное сознание.

Таким образом, семиосфера по Лотману обладает двойственной природой, в чрезвычайно обобщенной форме выражающей двойную перспективу семиотики: с одной стороны, это субъект, с которым возможна коммуникация, как при обычном знаковом обмене, но, с другой — этот субъект представляет собой «мыслящий мир», а миру, строго говоря, не о чем мыслить — у него нет отдельного, «внемирного» объекта. В лотмановской идее семиосферы уживаются две разных стратегии мышления — эмпирическая и спекулятивная, здесь семиотика (а также биология, к которой отсылает метафора «организма») не без конфликта соединяется с философией¹.

Двойственность установок, охарактеризованную в четырех рассмотренных эпизодах, нелегко описать обобщающими понятиями. В случаях Барта и Лотмана она более или менее поддается описанию в соб-

¹ См. подробнее: (Zenkin 2024).



ственно семиотических терминах, как противоположность кода и общения; но такая оппозиция не работает применительно к Аристотелю и Пирсу, жившим до разработки этих понятий, и даже к уже владевшему ими Якобсону. В случае Лотмана в качестве метаязыка напрашивается оппозиция целого и частного, вообще особо важная для русской интеллектуальной культуры XIX–XX веков, включая структуралистскую мысль (см.: Серио 2001); но опять-таки она плохо годится для Аристотеля и Пирса, у которых познавательный знак — признак, индекс — исходит, вообще говоря, не от целого мира, а от отдельного объекта, который тем не менее не получает при этом никакой коммуникативной субъектности. В известной мере для этих двух интеллектуальных операций подходит предложенное Якобсоном различие «коммуникации» и «информации», хотя последний термин слишком многозначен и в ряде научных традиций, например в математической теории информации, далеко не соответствует ситуации, описываемой здесь; поэтому мы предпочитаем ему термин *интерпретация*, хотя он тоже неоднозначен и может применяться к одному из этапов коммуникации (интерпретации сообщений). Во всяком случае, надежным является первый термин — *коммуникация*, то есть не познание мира одиноким разумом, а информационное взаимодействие независимых субъектов, которое в XX веке выдвинулось как важнейший предмет изучения в гуманитарных, социальных науках и в философии (в эстетике образом такого «коммуникативного поворота» является теория диалога Михаила Бахтина). Одновременно семиотика XX столетия свидетельствует наряду с другими дисциплинами о переориентации гуманитарных наук с позиции создателя на позицию реципиента и интерпретатора культуры (ср. эволюцию теории литературы от риторики к рецептивной эстетике). Эта установка на адресата заставляет семиотику учитывать, даже при следовании лингвистической модели, хотя бы на заднем плане, и некомуникативную перспективу, где познающий субъект встречается не с другим субъектом, а с каким-то иным, уже не вполне субъектным «партнером». Знаки и значения окружают нас, конституируют нас и заставляют не просто читать отдельные, структурно упорядоченные и полученные от кого-то сообщения, но и *присутствовать* в целостном мире смысла. Этот процесс может переживаться эйфорически, как бартовский «гул языка»; но у него есть и опасная сторона, потому что сегодняшнее развитие массового сознания идет наперекор коммуникативному повороту в науке: в последние десятилетия люди информационной цивилизации, страдая от разобщенности и нехватки партнеров для коммуникации, все больше компенсируют этот дефицит чтением ничейных, вирусно распространяющихся знаков и сообщений, нередко отсылающих к теориям заговора, который якобы плетут некие «внешние могущественные силы» квазирелигиозного толка¹.

¹ Коммуникативное использование знаков можно, с некоторыми уточнениями, описывать витгенштейновским понятием «языковых игр», но с интерпретацией некомуникативных знаков дело обстоит иначе: если это и «игра», то, во-пер-



Исторически соотношение этих двух перспектив наполнялось разными содержаниями, эволюционируя от изолированных знаков к знаковым системам и от природного к чисто культурному пониманию знака¹. Вероятно, его можно считать диалектическим, а в более конкретном применении в семиотике оно заставляет вспомнить еще одну мысль Юрия Лотмана, сформулированную им в разных работах, например в статье «Феномен культуры»:

...никакое мыслящее устройство не может быть одноструктурным и одноязычным: оно обязательно должно включать в себя разноязычные и взаимонепереводимые семиотические образования. Обязательным условием любой интеллектуальной структуры является ее внутренняя семиотическая неоднородность (Лотман 1992, с. 36).

Неоднородной по своим традициям и перспективам является и сама семиотика. В ней взаимодействуют два «языка» в широком смысле слова, два способа умственной деятельности, чем и обеспечена ее творческая продуктивность, способность создавать новые, непредвиденные сообщения. Это делает ее одной из самых живых, привлекательных наук XX столетия как для ученых из других наук, так и для широкой образованной публики, создавая впечатление ее безграничности, какого не производят дисциплины более однородные и оттого более узкие по своим перспективам. Дальнейшее развитие семиотической науки — или других, новых наук, вырастающих из нее, — будет зависеть от их способности удержать эту продуктивную двойственность².

вых, пассивная — субъект, вообще говоря, ничем не отвечает на получаемую им информацию, — а во-вторых, с отсутствующим или абстрактно-неопределенным партнером. Эта ситуация до некоторой степени похожа на одинокую игру с колодой карт (пасьянс, солитер) или же с игровым автоматом, но принципиально отлична от лингвистической, где любое, даже неправильное или бессмысленное высказывание всегда интенционально, кем-то намеренно произведено.

¹ Обе эти интеллектуальные установки прослежены здесь в развитии *семиотики*, но параллельную эволюцию претерпела и идея *миметической* репрезентации в искусстве. Как отмечает Антуан Компаньон, если для Аристотеля и его последователей искусство подражает природе по объективной вероятности ($\epsilon\kappa\omicron\sigma$), то для таких критиков мимесиса, как Барт, оно «подражает» лишь культурным фактам, условным расхожим мнениям ($\delta\acute{o}\xi\alpha$): «Таким образом, от природы ($\epsilon\kappa\omicron\sigma$) как референта мимесиса совершился переход к литературе, или же к культуре и идеологии ($\delta\acute{o}\xi\alpha$)» (Компаньон 2001, с. 123).

² Данная статья была трижды представлена в виде устных докладов: на colloquium «Ключевые темы российской интеллектуальной истории» (декабрь 2024, Бохум), на конференции «Призвание семиотики — заниматься культурой» (декабрь 2024, Библиотека иностранной литературы, Москва) и на заседании Русского литературно-теоретического кружка (апрель 2025). Я благодарен коллегам за высказанные замечания и постарался учесть их при доработке текста.



Список литературы

- Аристотель, 1952. *Аналитики первая и вторая*. М.; Л.: Госполитиздат. [Aristotle, 1952. *Prior and Posterior Analytics*. Moscow; Leningrad (in Russ.)].
- Аристотель, 1978. *Собрание сочинений в 4 т. Т. 2*. М.: Мысль. [Aristotle, 1978. *Collected works in 4 volumes*. Vol. 2. Moscow (in Russ.)].
- Барт, Р., 1989. *Избранные работы: Семиотика. Поэтика*. М.: Прогресс. [Barthes, R., 1989. *Selected Works. Semiotics. Poetics*. Moscow (in Russ.)].
- Барт, Р., 2008. *Мифологии [1957]*. М.: Академический проект. [Barthes, R., 2008. *Mythologies [1957]*. Moscow (in Russ.)].
- Барт, Р., 2009. *S/Z*. Перевод Г. К. Косикова и В. П. Мурат. М.: Академический проект. [Barthes, R., 2009. *S/Z*. Translated by G. K. Kosikov and V. P. Murat. Moscow (in Russ.)].
- Гинзбург, К., 2004. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни. *Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история*. М.: Новое издательство, с. 189–241. [Ginzburg, C., 2004. Clues: The evidential paradigm and its roots. In: C. Ginzburg, ed. *Myths – emblems – clues. Morphology and history*. Moscow, pp. 189–241 (in Russ.)].
- Ельмслев, Л., 2006. *Пролегомены к теории языка*. М.: КомКнига [Hjelmslev, L., 2006. *Prolegomena to a theory of language*. Moscow (in Russ.)].
- Зенкин, С. Н., 2022. Интерпелляция. *Палладиум*, 4, с. 113–124. [Zenkin, S., 2022. Interpellation. *Palladium*, 4, pp. 113–124 (in Russ.)] <https://doi.org/10.55167/256ae5304389>.
- Золян, С. Т., 2020. *Юрий Лотман о смысле, тексте, истории: Темы и вариации*. М.: Издательский дом ЯСК. [Zolyan, S. T., 2020. *Yury Lotman on Meaning, text, history: Themes and Variations*. Moscow (in Russ.)].
- Компаньон, А., 2001. *Демон теории: Литература и здравый смысл*. М.: Издательство им. Сабашиниковых. [Compagnon, A., 2001. *The Demon of Theory: Literature and Common Sense*. Moscow (in Russ.)].
- Лотман, Ю. М., 1970. *Структура художественного текста*. М.: Искусство. [Lotman, Yu. M., 1970. *Structure of Literary Text*. Moscow (in Russ.)].
- Лотман, Ю. М., 1992. *Избранные статьи*. Т. 1. Таллинн: Александра. [Lotman, Yu. M., 1992. *Selected articles*. Vol. 1. Tallinn (in Russ.)].
- Лотман, Ю. М., 1993. *Избранные статьи*. Т. 3. Таллинн: Александра. [Lotman, Yu. M., 1993. *Selected articles*. Vol. 3. Tallinn (in Russ.)].
- Пирс, Ч. С., 2000. *Избранные философские произведения*. М.: Логос. [Peirce, Ch. S., 2000. *Selected philosophical works*. Moscow (in Russ.)].
- Серио, П., 2001. *Структура и целостность [1999]*. М.: Языки славянской культуры. [Sériot, P., 2001. *Structure and totality [1999]*. Moscow (in Russ.)].
- Тодоров, Цв., 1999. *Теории символа [1977]*. Перевод Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги. [Todorov, Tz., 1999. *Theories of the Symbol [1977]*. Translated by B. Narumov. Moscow (in Russ.)].
- Фуко, М., 1977. *Слова и вещи: Археология гуманитарных наук [1966]*. М.: Прогресс. [Foucault, M., 1977. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences [1966]*. Moscow (in Russ.)].
- Эко, У., 2006. *Отсутствующая структура: Введение в семиологию*. Перевод В. Резник и А. Погоняйло. СПб.: Symposium. [Eco, U., 2006. *The Absent Structure: Introduction to Semiology*. Translated by V. Reznik and A. Pogonyailo. St. Petersburg (in Russ.)].
- Якобсон, Р., 1985. *Избранные работы*. М.: Прогресс. [Jakobson, R., 1985. *Selected works*. Moscow (in Russ.)].
- Aristotle, 2002. *Categories and De Interpretatione [1963]*. Translated by J. L. Ackrill. Oxford: Clarendon Press.



- Barthes, R., 1995. *Œuvres complètes*. T. III. Paris: Seuil.
- Benjamin, W., 2000. Sur le pouvoir d'imitation [1933]. In: W. Benjamin, ed. *Œuvres II*. Translated by Maurice de Gandillac. Paris: Gallimard, pp. 359–363.
- Eco, U. and Pezzini, I., 1982. La sémiologie des Mythologies. *Communications*, 36, pp. 19–42.
- Galland-Szymkowiak, M., 2011. La Symbolique de Friedrich Creuzer: Philologie, mythologie, philosophie. *Revue germanique internationale*, 14, pp. 91–112, <https://doi.org/10.4000/rgi.1278>.
- Goudge, Th. A., 1965. Peirce's Index. *Transactions of the Charles S. Peirce Society*, 1 (2), pp. 52–70.
- Merrill, J., 2022. *The Origins of Russian Literary Theory: Folklore, Philology, Form*. Evanston (Illinois): Northwestern University Press.
- Mounin, G., 1970. *Introduction à la sémiologie*. Paris: Minuit.
- Zenkin, S., 2024. Semiosphere, "Thinking Worlds" and Scientific knowledge (About an idea of Jurij Lotman). *Vremennik Russkogo Formalisma. Journal of Studies in Russian Formalism with Translation Notebooks*, 1, pp. 151–160, <https://doi.org/10.14672/rf.v1i1.2446>.

Об авторе

Сергей Николаевич Зенкин, доктор филологических наук, без объявленной аффилиации, Москва – Санкт-Петербург, Россия.

SPIN-код РИНЦ: 4215-1160

E-mail: sergezenkine@hotmail.com

Для цитирования:

Зенкин С.Н. Чтение знаков, присутствие в мире (Двойная перспектива семиотики) // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 13–35. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-2.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

READING SIGNS AND BEING IN THE WORLD: A DUAL PERSPECTIVE ON SEMIOTICS

Sergey N. Zenkin

Russia, Moscow – Saint Petersburg

Submitted on 11.06.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-2

The article demonstrates, through a series of examples, that reflection on signs relates to two distinct mental operations: the exchange of sign messages between subjects (communication), and the interpretation of signs and sign systems that lack a subjective sender and originate either in natural objects or in the impersonal domain of "culture". This duality of the object of analysis gives rise to persistent terminological difficulties, which surface in Aristotle's treatment of the relationship between sign and symbol, in Charles S. Peirce and Roman Jakobson's definitions and exemplifications of the sign-index, and in Roland Barthes's theory of connotation. These two dimensions of sign activity receive a macrosemiotic interpretation in Yuri Lotman's concept of the "system" and, more particularly, in his theory of the semio-



sphere: a distinctive participant in sign processes that combines subjectivity with a universal character. Against this background, the understanding of the two types of semiosis can be seen to evolve historically: from philosophical reflection on individual signs (Aristotle, Peirce) to linguistic and semiotic investigations of holistic systems (Barthes, Lotman). The capacity for such an expansion of perspective, together with an awareness of the heterogeneity of human sign activity, ultimately underpinned the emergence of scientific semiotics in the XX century.

Keywords: Aristotle, Barthes, communication, interpretation, Jakobson, Lotman, Peirce, semiotics

The author

Prof. Sergey N. Zenkin, no affiliation declared, Moscow – Saint Petersburg, Russia.

E-mail: sergezenkine@hotmail.com

To cite this article:

Zenkin, S.N., 2026, Reading signs and being present in the world: a dual perspective on semiotics, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 13–35. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-2.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

АФФЕКТ, СИМВОЛИЗАЦИЯ И «ПРАКТИКИ СЕБЯ»

И. Б. Микиртумов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Поступила в редакцию 20.08.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-3

Отталкиваясь от некоторых положений статьи Сергея Зенкина, автор описывает связь между аффектом и символом. Аффект имеет две стороны – когнитивную и некогнитивную. Последняя проявляется в неосознаваемых реакциях. Осознаваемый аффект регулируется коммуникативной ситуацией и социокультурной средой. Сергей Зенкин характеризует две системы оборота значений: первая – знаковая коммуникация, вторая – работа с признаками и символами. Символы могут порождаться неосознанно и вызывать такие же реакции. Нарушение движения информации через систему некогнитивных аффектаций приводит к их объективации. Вместо них возникают аффекты, в центре которых оказывается напряжение между источником аффектации и человеком. Первый становится символом отношений, стоящих за аффектом. Переход некогнитивной аффектации в аффект с появлением нового символа автор иллюстрирует примерами из «практик себя» в цифровой среде. Здесь репрезентация вытесняет вещь, и источником некогнитивных аффектаций становятся интерфейс, сеть, аккаунт и т.п. Аффекты надежды, совместности и новой наивности характеризуют напряжение между человеком и цифровой средой. В объективации они становятся символами социального статуса. Тем самым репрезентация и ее инструменты дают ощущение возвышения над миром. Общая модуляция названных аффектов положительна, символы статуса несут значение лучшего будущего, что подталкивает к смещению границы реального и виртуального. Механизм порождения символа при переходе некогнитивной аффектации в нормальный аффект может являться частью третьей системы оборота значений, о которой говорил Ролан Барт.

Ключевые слова: аффект, виртуальное, значение, некогнитивное, семиозис, Сергей Зенкин, сигнал, символ

– Господин доктор, простите, что мешаю, – вы же магистр астрологии, вы разбираетесь в звездах. Скажите... они тут все говорят о комете... с хвостом. Что она может означать?

– Ничего.

– Ничего?

– Газовый пузырь.

– Газовый пузырь?... Газовый пузырь. Комета – газовый пузырь! Пердеж! Ну, конечно, ясно же, когда небо распучит, получают кометы. Спасибо, господин доктор!

Из фильма Александра Сокурова «Фауст» (2011), эпизод в кабачке (пер. с нем.)



В очень богатой идеями и полифоничной статье Сергея Зенкина «Чтение знаков, присутствие в мире» (2026) основным сюжетом мне представляется сопоставление двух систем оборота значений. Первая действует в коммуникации субъектов и опосредована конвенциональными знаками. Вторая основана на том, что человек осознанно или же спонтанно и бессознательно рассматривает что-либо, что не является знаком, как «знак», подаваемый при этом нечеловеческим агентом — божеством, природой, историей, обществом, культурой и пр. Агенты эти разнородны, и если, скажем, природа и божество заслуживают доверия, то «знаки» культуры, оставленные людьми, могут отражать их заблуждения или же нести содержание, предназначенное для того, что тебя обмануть. Важно, что реакция на «знак» второй системы может запускаться без рефлексии и постановки вопроса об агенте-отправителе и его целях. Доверие к посланиям «ни от кого» объясняется, по-видимому, тем, что «знаки» природы и «знаки» культуры приходят по одним и тем же каналам восприятия, а человеческий род, встречаясь в онто- и филогенезе с природой раньше, нежели с культурой, успевает создать себе привычку реагировать на ее «знаки» непосредственно. С появлением критики — впервые в лице греческих философов — такая практика стала считаться наивной, ставящей под угрозу свободу, а сами «знаки» были дифференцированы. Если за «знаками» культуры стоят другие люди, имеющие, возможно, ложные и вредные для нас взгляды и устремления, то наша задача — этот «знак» истолковать, чтобы обезвредить, «знаки» же природы — это признаки, с которыми должна иметь дело наука, отыскивающая причины явлений. Объективация «знака» второй системы влечет не только блокирование его непосредственного воздействия, но и символизацию той вещи, которая его оказывала. Не только прочтение «знаков», но и их порождение может происходить спонтанно, без рефлексии и намерения что-то кому-то сообщить. В этом случае «знак» и способ его предъявления подбирается семиотической интуицией, а проговаривается в нем либо автономная жизнь тела, либо бессознательное.

В связи с оборотом «знаков» культуры Сергей Зенкин затрагивает «Мифологии» Ролана Барта (2008) и другие его работы, в которых критика развернута как искусство. Критическая установка требует бдительности и воли, поэтому в ситуации, которая кажется комфортной и устойчивой, мы возвращаемся в отчасти докритическое состояние, в «новую наивность» и, легкомысленно ожидая не дурных последствий, но, напротив, опыта «подлинности», отдаемся воздействиям, которые обещают миновать «голову». На фоне цифровизации различных сторон жизни это проблематизирует границу реального и виртуального. Последнее существует в замещающих вещи интерфейсах информационных систем. В этом же направлении меняется и самопрезентация человека, прежде основанная как на символическом, так и на непосредственном. Общая тенденция состоит, как я постараюсь показать ниже, в вытеснении непосредственного воздействия вещей воздействиями самих репрезентаций (интерфейсов), что влечет сдвиг в сфере символического.



Надежное различие реального и виртуального — это одно из условий выживания, любые изменения здесь требуют нашего внимания в рамках «практики себя» или «заботы о себе» (см.: Фуко 2007). Последняя реализуется в перспективе счастья и имеет дело как с семиосферой, так и с аффектами, мотивирующими наши решения и действия. Моя статья посвящена связи аффектов и символизации в контексте отношений первой и второй систем оборота значений. Картина, нарисованная Зенкиным, будет тем самым в части аффектов расширена, а в части символизации детализирована. Некоторые мои соображения перекликаются с идеями языковой экологии и эколингвистики, где язык понимается как непрерывный когнитивно-практический процесс (для него используется особый термин — «оязыковление»), а не применение застывших форм в частных случаях. «Оязыковление» организует жизнь человеческого сообщества, при этом направляя и ограничивая познание, коммуникацию, индивидуальное развитие и эволюцию вида (см.: Kravchenko 2016; Ильин 2025). Системное видение языка как адаптивного механизма и орудия преуспевания человека восходит к Демокриту и Платону, в более поздние времена оно было представлено в разных версиях Фридрихом Энгельсом, Людвигом Нуаре, Людвигом Витгенштейном, Николаем Марром и многими другими авторами, а сегодня к этим идеям добавляются гипотеза Сепира — Уорфа и данные нейрокогнитивных исследований. Все это обостряет критический характер языковой экологии и концепции «оязыковления», которые противопоставляют себя программе Ноама Хомского, то есть «овнешняющим» формальным исследованиям языка. Поль Тибо ставит вопрос в политической плоскости — в духе Барта и Жиля Делёза. Он заявляет, что абстрактные и универсальные модели языка, действуя как рука неолиберализма, не позволяют увидеть живой процесс «оязыковления», формируют ложное представление о языке и его природе и тем самым тормозят развитие языка, а с ним и собственно мышления — последнее лишается свободы схватывания тех когнитивных, ценностных и экзистенциальных напряжений, в которых обнаруживается ложное существо капиталистического мира (Thibault 2020, vol. 2, p. 247–248). Эти положения я обсуждать не буду, но ниже кратко остановлюсь на овнешнении языка в формализации, а также на тезисе о единстве языка и аффекта (Jensen 2014), также происходящем из «экологической натурализации» языка.

Сначала я оттолкнусь от некоторых положений Зенкина и с позиций логической семантики и прагматики уточню значения ряда понятий. После этого я постараюсь показать связь между аффектом и семиозисом. В третьей части статьи я остановлюсь на дифференцирующей роли современных явлений цифровизации и на том, как отношения аффекта и символа обеспечивают семиотизацию в «практиках себя». Моя общая гипотеза состоит в том, что «предзначащим» элементом — материалом или субстанцией, каковая будет служить необходимой опорой для возникновения значения» (Барт 1975, с. 126) в ряде случаев



является переход непосредственного, или некогнитивного переживания в полноценный аффект, при котором стоящий за ним объект становится символом вызывающих напряжение отношений.

1. Признак и символ в перспективе истинности

Логико-семантический анализ структуры и значения простого суждения («Сократ человек») не изменился со времен Аристотеля. Причина этого не в происках цисгендерных белых рабовладельцев или руки неоллиберализма, а в том, что связь языка и мира в некоторых аспектах имеет, подобно законам природы, необходимый характер, определяемый психофизикой человека и материальностью мира. Эта связь отражается в формальных грамматике, логике, семантике и прагматике, на основе которых осуществляется современная машинная обработка языка, постоянно расширяющиеся возможности которой говорят сами за себя. Ее можно считать результатом старинной программы логицизма, восходящей к *mathesis universalis* Георга Вильгельма Лейбница, и к основаниям математики Готлоба Фреге. В центре здесь находятся вычисления. Сегодня под ними понимаются физические операции, выполняемые конечным автоматом по программе, Лейбниц имел в виду просчитывание божественным разумом уравнений, описывающих все факты мира во всех его бесконечных подробностях и динамике, а Фреге, более скромно, — множество истин, доказуемых в формальной арифметике и относительно нее. Ориентация этих теорий на вычисления сделала истину (И) и ложь (Л) значениями предложений, поскольку это обеспечило замену тождественных *salve veritatis*. Хотя проект логицизма провалился, семантическая интуиция, выраженная в словах Фреге «стремление к истине — вот что всегда побуждает нас к переходу от смысла к значению» (Фреге 2000, с. 235), оказалась верной¹. Все формальные инструменты выстроены вокруг истины, в перспективе которой раскрывается значение любого выражения, текста или комплекса, какой бы ни была их коммуникативная цель.

Центральная роль истинности объясняется антропологически. Знание о том, какие положения дел имеют место, а какие — нет, требуется для принятия решений, на основании которых совершаются действия. Их успех или провал имеют цену, поэтому язык и логика должны быть по возможности прозрачными, то есть система синтеза, передачи, интерпретации и обработки сообщений не должна привносить ничего в их содержание. Последнее есть собственно информация — то, что меняет наше эпистемическое состояние. Сообщение, успешно переданное на прозрачном языке, будучи истинным, способствует достижению блага, а будучи ложным, наоборот, этому препятствует. Поскольку мы наилучшим образом видим значение любых выражений в перспективе истинности содержащих их предложений, в ней же мы трактуем и до-

¹ В более поздней фрегеанской традиции смысл предложения — это его про-
верка.



семиотические, спонтанные, инстинктивные акты, способствующие движению информации, в которых не используется речь и где значимы сами вещи в поле восприятия, жесты, мимика, вокализация и пр. Для этого все названное должно стать компонентами описания ситуации, которое, в свою очередь, будет выражено имеющим истинностное значение предложением, формализуемым в достаточно богатом языке.

Зачем формализация вообще предпринимается? Ответ на этот вопрос очевиден: ради скорости, точности и масштаба обработки содержаний. Идеалом здесь остается лейбницевский божественный разум, для которого любой факт мира есть вычислимое следствие как исходных характеристик, так и текущего состояния. Может ли формализация мешать свободе языка и мышления? Едва ли. Так называемый искусственный интеллект, воплощающий все формальное, успешно работает в локальных прикладных онтологиях (оптовый склад, электронный магазин, информационная система, движение грузов, документов, корпуса текстов и т. д.), заменяя говорящих людей в обработке конечной и стандартной информации, в принятии решений по инструкциям и в совершении действий по протоколам. Все это происходит с вещами, по поводу которых можно вычислять и между которыми существуют необходимые связи и отношения, воспроизводимые логическим выводом. Отдельная задача — это приспособление той или иной практики к искусственному интеллекту, то есть выявление в ней того, что можно представить формализованно. Но ни на что другое за этими пределами алгоритмические формальные системы не претендуют, и всякое «оязыковление» может быть прозрачно адаптировано вычислимостью в той мере, в какой оно связано с детерминированными фрагментами мира. Когда теоретики «оязыковления» провозглашают ориентацию на материальное, биологическое и телесное, они видят случайность и свободу, а не железную необходимость и принуждение. Делёзианское противопоставление непосредственного и спонтанного телесного несвободе буржуазного сознания, составляющее мотив философско-критического обращения к аффектам (см.: Массуми 2020), есть риторический топ, переворачивающий классическое противопоставление детерминированной материи (тела) свободному духу. Тем самым хотят сказать, что современное сознание (потребительское, буржуазное и т. д.) степенью своей несвободы превосходит любую природную необходимость. Обсуждать этот тезис по существу здесь нет возможности, скажу лишь, что его распространение на сферу языка ничем не оправдано, так как объективные, овнешненные формализацией структуры языка отражают необходимое как раз материального и психофизического (телесного) характера, которое вдобавок никак не связано с капитализмом, поскольку не стало другим со времен Аристотеля.

Со случайным, с миром свободы имеет дело риторика — искусство находить способы убеждения. Риторическое также интерпретируется в перспективе истинности, но цель здесь — не знание, и не прозрачность обработки содержаний. Риторика стремится к убеждению, и фиксирует сложные речевые действия, побуждающие к решениям и поступкам, для которых нет исчерпывающих рациональных оснований. Модель



риторического предполагает стороны, цели и инструменты воздействия, а сфера применения риторики — вопросы политики, права и морали (включая все аспекты блага), где знание невозможно, а имеются лишь мнения. У риторики три точки приложения — *logos*, *ethos*, *pathos* (Аристотель 1978, с. 72 (Rhet. 1378a1–30)), то есть разумность доводов (при неполном знании и вероятностном выводе), доверие к говорящему (его добродетель), а также аффект слушателя, подталкивающий его к принятию решения. Любая коммуникация здесь непрозрачна и на стороне отправителя, и на стороне адресата, одно и то же содержание оказывается более или менее убедительным в зависимости, как правило, от успеха по линиям *ethos* и *pathos*, нежели *logos*. Аффектам принадлежит здесь центральная роль.

Аргументы Томаса Йенсена (Jensen 2014) относительно неразрывной связи эмоций и языка были бы более убедительными, если бы в них были разведены две области функционирования аффективного. Первая, овнешненная риторическим искусством, — это регулируемые социокультурной средой разделяемые реакции, которые публично возбуждаются ораторами с целью склонить слушателей к решениям. Вторая — это более богатая сфера, в которой субъективные проекции аффектов из первой сферы соседствуют с индивидуальными осознаваемыми и неосознаваемыми телесными аффектациями. Любое человеческое действие имеет под собой аффективное основание, то есть напряжение между актуальным и желаемым, образующее некоторое «страдание» и указывающее избавление от него в действии. К говорению или «оязыковлению» это относится в той же мере, что и, скажем, к почесыванию. Иначе обстоит дело с публичной сферой, с аффектами, которые вызываются в нас языковой коммуникацией или же «знаками» культуры. Они представляют собой результат воздействия образов, вызванных речью в первой системе оборота значений, тогда как коннотативные значения и вторая система действуют на втором плане. Граница между двумя областями аффективного размыта, и есть множество гибридных и переходных форм, но мы хорошо видим формы крайние. На одной стороне — неприятные или приятные аффектации, вызванные состояниями тела (тепло, холод, напряжение, расслабление, боль, щекотка, голод, сытость и пр.), на другой, например, — аффекты, которые вызывает оратор. Приятное и неприятное разделяемого аффекта редуцируется к приятному и неприятному индивидуального психофизического, то есть страх, например, эпидемии или безработицы есть страх тех или иных физических и моральных страданий. Приятное и неприятное в индивидуальной психофизике может иметь множество вариантов: в конце концов кому-то нравится спать на гвоздях, но непосредственные психофизические реакции остаются для аффективной сферы точками отсчета. Здесь нет мотивации говорения как действия, но, как я покажу ниже, здесь возникает основание для семиозиса, то есть для возникновения отношения обозначения.

Теперь, в порядке некоторой полемики с концептуальной системой статьи Зенкина, можно лучше дифференцировать признаки и символы



как «знаки», соответственно, природы и культуры¹. При этом я следую логической традиции, которая не использует пару означающее — означаемое Фердинанда де Соссюра, так как дескриптивно-психологическое наполнение означаемого невозможно сделать компонентом познавательных операций.

Признак артикулируется в теории, это наблюдаемое свойство, свидетельствующее о ненаблюдаемом — привходящем или существенном². Во втором случае они свидетельствуют с необходимостью, как логики и границы о государстве, а в первом — с вероятностью: «эта женщина беременна, потому что она бледна»³. В обоих случаях связь между признаком и явлением — это результат познания. Признак поэтому не является ни знаком, ни сигналом, ни значением, он не связан отношением обозначения и «означает», «символизирует», «указывает» лишь метафорически. Определения, синонимия и иные отношения признаков регулируются не языковыми или семантическими факторами, а постулатами значения, которые несет с собой конкретная теория. Символ, или элементарный вторичный знак, наделяется функцией обозначения разными путями. Иногда это спонтанное действие семиотической интуиции, иногда — традиция и обычай, иногда — конвенция. При этом символ и обозначаемое связаны по схемам тропов метафоры, метонимии, синекдохи или их комбинаций. Канонические примеры — это геральдика, «язык цветов», «язык жестов» и т. п. В культуре действуют свои постулаты значения, включающие коннотации терминов и отражающие сложившиеся мнения. Эти постулаты фиксируют, в частности, что красные розы, помимо того, что они являются тем, чем являются, в определенных ситуациях означают страстные чувства. «Второе» значение поэтому есть сумма «первого» — собственно красных роз — и способа презентации — букет, а не куст, свежие, а не вялые, упаковка, время, место, фразы, ситуация. Иными словами, по своей функции символ подобен признаку, но символ зависит от тропа и отсылает к социокультуре, а признак — от знания о причинах и отсылает к науке. Символы выходят из оборота, когда исчезает аффективное напряжение между языковым сообществом и обозначаемым, признаки — когда наука находит новые, более достоверные, и по отношению к старым исчезает аффект преследования истины. Считывание символов может происходить помимо рефлексии, работа с признаками, напротив, всегда осозанна. Кроме того, символы создаются людьми иногда спонтанно и бессознательно, признаки же являются результа-

¹ Придется оставить в стороне вопрос об их дифференциации. Предельный натуралистический подход объявляет концепт «культура» несостоятельным и редуцирует все под него подпадающее к материально-телесному. Для отношений аффекта и семиозиса это, однако, не важно, так как и то, и другое не конструируемы, а явления, едва ли устранимые при любой перекройке теории.

² Здесь я следую эссенциалистской традиции, которая, однако, хорошо адаптируется и к формальному анализу языка.

³ Пример Аристотеля (*Analyt. Pr. 2, 27, 70a20*).



том труда. И конечно, мы не всегда знаем, что перед нами — признак или символ, так как не всегда знаем, что стоит позади — природа или культура.

2. «Пат» замещается аффектом, и возникает символ

Во второй системе оборота значений порождение и воздействие символов может происходить некогнитивно. То же самое имеет место и в проявлениях наших аффективных реакций. Согласно теории, восходящей к Чарльзу Дарвину (1953) и Сильвану Томкинсу (Tomkins 1962), и разделяемой многими авторами с древних времен, аффективный ответ содержит некогнитивный и когнитивный компоненты. Первый — это аффектация в узком смысле слова, спонтанная немедленная реакция, или «страдание» (*pathos*), возникающая в ответ на обстоятельства и проявляющаяся телесно, — тот «язык тела», сокрытие знаков которого требует специальных упражнений. Второй — сложившаяся практика осознанных реакций, определяемая социокультурным контекстом и подчиненная коммуникативным задачам. Сталкиваясь с одним и тем же явлением, мы, испытывая спонтанную аффектацию, можем пережить или не пережить сам аффект в зависимости, во-первых, от того, в какой мере была задействована рефлексия, и, во-вторых, от того, насколько переживать аффект в данной ситуации целесообразно. Много точных и практически полезных наблюдений на этот счет дает Аристотель во второй книге «Риторики», а в эпоху сентиментализма тема управления аффектами и их экономики была одной из самых популярных¹.

В литературе нет единства терминологии, и я буду придерживаться философской традиции, идущей от Аристотеля к Морису Мерло-Понти (1999), Жану-Полю Сартру (1984) и так называемому аффективному повороту (см.: Clough, Halley 2007). Полным аффектом здесь (без дифференциации некогнитивной и когнитивной сторон) можно считать «то, под влиянием чего люди изменяют свои решения» (Аристотель 1978, с. 72 (Rhet. 1378a20)). Это самое старое, но и наиболее универсальное определение, с которым определения других авторов, по моим наблюдениям, всегда согласуются. Перечислю некоторые аффекты: гнев, милость, страх, смелость, дружба, вражда, любовь, ненависть, соревновательность, зависть, негодование, надежда, отчаяние, алчность, насилие, жажда славы, ревность, ностальгия, ресентимент. Структура аффекта представляется мне четырехчастной: 1) обстоятельства, вызывающие аффект; 2) эмоциональная оценка — позитивная (приятное) или негативная (неприятное); 3) установки желания, знания, мнения, веры и пр.; 4) решение о действии, которое снимет аффект, и мотивация к нему.

¹ Классический труд принадлежит Френсису Хатчесону (1694–1746), который различал «ашпетиты» (телесные аффектации), мнения (о плохом и хорошем) и собственно страсти, зависящие от мнений (см.: Hutcheson 2002).



Суть некогнитивности, или «автономии», аффекта (Массуми 2020) в том, что положение дел, предмет, свойство и, в общем, что угодно, способно вызвать в нас спонтанный психофизический и, возможно, чисто телесный ответ помимо и даже вопреки содержанию сознания. Например, в эксперименте при демонстрации изображений, наполненных символами покоя, счастья, надежности в поле зрения мимолетно оказывается некий выпадающий из видеонарратива объект — кладбище, виселица, фабричная труба, труп животного. О нем потом не могут вспомнить, но в момент восприятия он вызывает фиксируемую приборами негативную психофизическую реакцию. Здесь напрашивается ссылка на бессознательное и вытесненное, однако, и это любопытно, теория аффектов держится в стороне от психоанализа, поскольку хочет опереться на прежде оставшуюся без внимания самобытную жизнь тела вне всякой зависимости от сознаваемого и того, что может таковым стать, но уклоняется (Leys 2011, р. 440–441, 458–459). Предлагаемые объяснения отсылают к инстинктивным реакциям, сформированным в эволюции человеческого рода, а также к глубоко укоренившимся привычкам, как, например, это имеет место в случае жестов гнева, радости и пр. (Мерло-Понти 1999, с. 50, 241). Их число конечно, а генезис случаен, что обосновывал на множестве наблюдений еще Дарвин: собаки виляют хвостом, когда радуются, а кошки — когда раздражены (Дарвин 1953, с. 770–771). Движение информации идет в некогнитивных реакциях без того, чтобы кто-то осознанно был ее отправителем или получателем, поэтому здесь нельзя говорить ни о знаке, ни о символе, ни о признаке. Перед нами имеющие вид конфигураций тела сигналы¹ в некоторой системе, элементами которой являются особи и их специфические состояния. Я рискну ввести для таких некогнитивных аффектаций новый термин — *пат* (от *pathos*).

Испытывая раздражение, собака выгибает спину, что мы распознаем как признак ее состояния, а кошка не распознает, но *индуцируется* страхом. Это происходит и с человеком, когда, например, внезапно появляется «ужасное лицо» (Сартр 1984, с. 135). Индукция — это метафора для неясного нам механизма распространения пат от одного существа к другому. Человек способен задействовать рефлексию, увидеть изменение своего состояния и объективировать пат как некогнитивную аффектацию, но не всегда делает это, поскольку сигнальная система патов, пока она не привела к неудаче, очень экономна, — можно буквально «ни о чем не думать». При объективации пат получает именование и становится компонентом языкового сообщения на первом уровне оборота значений, где семантизируется, а на его месте формируется аффект, содержание которого определяется социокультурным контекстом. Так, один и тот же пат, индуцированный «ужасным ли-

¹ Сигнал является элементом (этапом) познавательной процедуры, выступающей в роли смысла. И и Л — это сигналы, которыми завершается проверка предложений. Сигналы, соответствующие смыслам выражений других типов (имен, предикатов и пр.), представляют собой сообщения об эпистемических состояниях.



цом», породит разные аффекты, когда в одном случае его причиной будет назван призрак, а в другом — оптическое искажение. Результатом семантизации пата становится то, что его индуктор — другое существо или вещь — становится символом, а сама индукция ослабевает или исчезает вовсе.

Приведу несколько примеров. В системе родители — дети первые и основополагающие связи содержат паты, которые с ростом детей теряют объективируются и замещаются аффектами¹. Провинившийся старшеклассник, которого ввели на заседание педсовета, будучи индуцирован патами присутствующих, сначала не в силах произнести ни слова, но «овладевает собой», когда подвергает рефлексии свое состояние, осознаёт свой страх и принимает решение ему противодействовать. Примером парадоксальной коллективной индукции была попытка бойкота группой студентов одного из университетов встречи с известным режиссером². Ее спровоцировала построенная на вымысле рекламная кампания, в которой утверждалось, что в фильме режиссера достигнута аутентичность изображения эпохи, что актеры месяцами вживались в декорации, одежду, предметы быта и даже нравы, что все изображаемое есть то, что оно есть, в частности кровь, и т.п. Члены группы вновь и вновь индуцировали друг друга доверием к видеоряду, их рефлексия не распространялась ни на него, ни на лежащий на поверхности провокационный характер рекламных анонсов. Когда выяснилось, что кино — это не более чем кино, паты ушли, на их месте остались аффекты разочарования в себе и подавленного гнева в отношении других членов группы. Впрочем, вся ситуация доставила студентам довольно редкий для современной жизни опыт дистанции между патом и аффектом, а также опыт переживания оказавшейся мнимой автономности, то есть тождества знака (символа) и обозначенного³.

Если паты — это сигналы, то что является сигнальной системой? Как известно, возможностью некогнитивно «считывать» состояние другого обладают многие существа. Цвет, температура, производимые звуки, выделяемые пахучие субстанции, вибрация, движения особи — все работает как сигнал. Так, пчела, движениями показывающая направление к медоносам и расстояние до них, не «показывает», то есть не осуществляет знаковой деятельности, но выполняет некоторый алгоритм, в котором такие-то движения там-то есть результат обнаружения таких-то медоносов в другом месте. О разнообразных сноровках животных и растений накоплено очень много информации, и других объяснений, кроме сводящегося к случайностям и эволюционному отбору, наука не дает. По-видимому, на этом пути можно найти объяснение и

¹ В зависимости от социокультурной среды — устойчивыми или неустойчивыми. Тема распада связи между детьми и родителями, их отчуждения вплоть до вражды очень популярна в искусстве.

² Детали опускаю.

³ Возмущавшее Барта тождество означающего и означаемого в данном случае неудачно имитировалось, причем в отсутствие коннотаций и символизации.



для когнитивных практик людей. Несомненно, что система некогнитивных аффектаций улучшает шансы популяции, группы и особи на выживание, и тогда естественно предположить, что над ней потом надстраивается уже и сигнификация. В этом случае переход пата в аффект ведет к приданию телесной (наблюдаемой) конфигурации индуктора статуса символа, а при участии теоретической науки — также и статуса признака.

3. «Практики себя» и семиотизация цифровой среды: символы статуса

Семиотизация пата происходит тогда, когда по каким-либо причинам нарушается движение информации посредством сигналов, когда оно дает сбой и от этой экономной системы приходится отказываться в пользу осознанной сигнификации. Такое воздействие оказывает цифровизация, когда вещи замещаются репрезентациями в интерфейсах информационных систем. Всякая репрезентация, во-первых, фрагментарна и префигурирована, так как дается в аспекте и с акцентировкой, во-вторых, ограничено функциональна, то есть предлагает одни взаимодействия с вещами, оставляя в стороне другие. Цифровая среда поэтому существенно снижает интенсивность непосредственного, объективирует его и замещает символическим. В качестве иллюстрации приведу мир, видимый в фильмах Уэса Андерсона¹, визуальная эстетика которых основана на замещении вещей репрезентациями. Это мир нарочито условен — «как бы Вы это ни сделали..., постарайтесь, чтобы это звучало так, как будто Вы написали это намеренно»². Камера фиксирует, как правило, изображения вещей, а не вещи, их открытые имитации или же вещи насколько возможно препарированные, — среди них оказываются и тела актеров. «Натура» не просто подсвечивается и «припудривается», чего мы обычно ожидаем от реализма камеры, но стремится убежать в рисунок, анимацию, графему. Непосредственное репрезентируемой вещи вытеснено непосредственным самой репрезентации, которая уже имеет символический характер. Получается, что пат, индуцируемый символом как таковым, обеспечивает объективацию пата, индуцированного самой вещью, после чего возникает два аффекта. Один питается напряжением, связанным с вещью, другой — напряжением, связанным с ее репрезентацией, и последний аффект всегда положителен, по крайней мере об этом заботится вся индустрия дизайна, и аффект, связанный с вещью, остается поэтому на заднем плане. Аффект же, в центре которого находится сама репрезентация, делает ее символом. Но чего? На мой взгляд, здесь мы имеем дело с *символом статуса*, который отсылает к декоративности, украшательству,

¹ Например, в фильмах “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun” (2021), “Asteroid City” (2023), “The Phoenician Scheme” (2025).

² Из фильма “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun” (2021).



живописности, художественности, стильности, то есть к эстетическим признакам высокого социального положения, которому синонимично максимальное возвышение над вещами как таковыми.

Репрезентация символами вещей (которые могут вести себя как хотят) заменяется репрезентацией символами инструментов эстетизации этих вещей, где все просчитано и управляемо. В самом деле, из истории пропаганды мы знаем, что надежное и предсказуемое воздействие на людей производят не подлинные или, например, бережно отреставрированные артефакты, могущие сообщить что-либо сами по себе и индуцировать паты, а плоские и однозначные подделки, лишённые всего непосредственного. Когда в художественной инсталляции предъявляют сами вещи наравне с их имитациями, мы понимаем, что в опыте, в котором неважны свойства вещей, делающих их тем, что они есть, различия между первым и вторым не существует, а когда оригинал специально маркируют, мы можем даже обнаружить, что имитация достигает своей цели лучше, подобно тому как искусственные ароматизаторы превосходят естественные. Запах трюфеля в отсутствие трюфеля индуцирует тот же пат, что и в его присутствии, но совсем разными будут в этих случаях аффекты. Это подрывает значимость пата, заставляет рефлексию ставить вопрос о доверии к нему и толкает пат в направлении аффекта. Таков результат избыточной репрезентации, которую несет с собой, в частности, цифровая эпоха: она то тут, то там нарушает работу старых сигнальных систем патов, так что первые становятся добычей рефлексии. В «Очерке теории эмоций» Сартр справедливо указывает на то, что мы верим аффекту (1984, с. 135–136). Учитывая, что сознаваемые аффекты конвенциональны и управляемы, требуемую достоверность приносит стоящий за ними пат, из которого аффект вырос. Если цифровая среда лишает нас доверия к патам вещей, мы остаемся лишь с управляемыми аффектами, отвечающими в том числе и на проявления самой репрезентации, которая одна только может теперь воздействовать на нас непосредственно. Какими бы странными ни были паты, индуцируемые интерфейсами, они вызывают «магнетическую» привязанность к себе. Что это за паты и в какие аффекты они перерастают?

Паты не поддаются мимесису, они осуществляют трансфер посредством индукции, или «заразительности». Мимесису поддаются, однако, признаки аффекта, который возник на месте объективированного пата. И то и другое мы пытаемся регулировать в аффективной экономике, в рамках «практики себя», когда взвешиваем, стоит ли нам отдаваться тому или иному аффекту и, если да, то до какой степени. Здесь мы поддерживаем внутреннюю и внешнюю идентичности, проводим границы между собой и другими существами, институтами, ментальными сущностями. Интерфейсы дают опции для доступа к репрезентациям вещей, что позволяет мне, «практикуя себя», избегать неприятного: я выключая звук или изображение, выбираю только те вещи и среды общения, которые доставляют мне удовольствие, и не пытаюсь увидеть их целиком, чтобы не наткнуться на что-то неожиданное и разочаровывающее. Для этого я каждый раз запускаю аффект как будто в пробном режиме, то есть формирую предварительную реакцию на фрагмент



явления, чтобы решить, стоит ли иметь с ним дело. Но в цифровой среде все буквально создано для этого — в частности, вещи фрагментируются, их аспекты даны в интерфейсах по отдельности. Это, кстати, позволяет современным медиа производить продукты, приемлемые для всех потребителей, так как каждый находит в них приятное для себя, имея возможность «отключить» неприятное. Один их патов интерфейса — это обещание комфорта и удовольствия, заставляющее, в первую очередь детей, поминутно хвататься за гаджеты. Этот пат трансформируется в аффект *надежды*, легко поддающийся устранению ввиду зыбкости основания, а интерфейсы и гаджеты превращаются при этом в символы столь же эфемерного удовольствия как самопародийный *car-go-культ*.

Другая связка пат — аффект — символ возникает вокруг того, что Жан-Люк Нанси назвал *совместностью*. Это «страсть» к сообществу, к «бытию *вместе*», отражающая сущностную характеристику человека. Ее основание Нанси предлагал искать в онтологии или в антропологии (2013, с. 29), и в этом выборе мне кажется более надежным понимать совместность как аффект и объяснять ее в терминах биологического и телесного. Само сообщество получает у Нанси негативное описание. Оно обнаруживает себя в своем «прерывании», которое развивается примерно так: первичное непосредственное пребывание в сообществе однажды нарушается, и мы ощущаем, что потеряли нечто основополагающее. Затем следует попытка вернуться назад путем установления коммуникации с другими, которая приводит всегда к разочарованию. Обнаруживается, что вернуться к первоначальному единству нельзя и что, кроме того, само бытие других определяется не сообществом, а силами вне него (Нанси 2011, с. 115–116). Непосредственно переживавшееся потеряно, а осознанное необретаемо, что делает аффект совместности всегда тлеющим, а само сообщество превращает в символ недостижимого снятия противоречий.

«Умаление» общего, дезинтеграция, атомизация обществ модерна не вызывают возражения в критической установке, что не снимает дефицита непосредственного. Его тревожное переживание овнешняется в аффектах искусством абсурда и антиутопии, популярность которых нарастает весь послевоенный период (Fitting, Greenspan 2021). В нем также разоблачаются проекты стимулируемой извне интеграции, за которыми видятся посягательства на свободу, в то время как движение, основанное на патах совместности, напротив, должно свободу и сообщество бесконфликтно примирить. Совместность политична в основополагающем смысле, она выходит за рамки любого вопроса текущей повестки, поэтому работу с аффектом совместности ведет искусство, культивирующее тему «чистых» отношений, — без объективации или «использования» другого. Поскольку таких отношений не бывает, а антиутопия есть не более чем развернутая эстетизированная символизация тревоги и страха, в обоих случаях реальное вытесняется виртуальным. Для формирования же в связи с аффектом совместности соответствующего ему концепта недостает языка, и у Нанси можно видеть феноменологию восприятия, которой управляют идея соотнесенности



вещей (мотылек и летучая мышь — у Иоганна Вольфганга Гёте), историческое формирование «народа» как среды обращения «смысла» (по Мартину Хайдеггеру) либо же описания сообществ в терминах научной социологии.

Аффект совместности обнаруживает себя в условиях «умаления» институционального публичного и, вопреки критической установке, в стремлении к сетевой коммуникации, в которой недостижимо индуцирование патами людей, поскольку участники скрыты репрезентациями. Перед нами маски и характеры, что переводит коммуникацию в игровой и экспериментальный регистр. В нем нормальным может сделаться прежде пограничное или патологическое. Нарциссизм и фетишизм, роли трикстера и джокера прошли этот путь. Откровенные нарциссы забавляют публику, индуцируют ее эгоцентризмом не только в сценарии успешности, но и в сценарии поражения. В последнем случае культивируется уже ранимость, обслуживаемая антидепрессантами и психотерапевтами, урон которой могут нанести любые отклонения от привычного хода жизни. Поэтому и борьба с противоположным мнением сводится к попыткам его «выключить», заткнув уши себе или рот другому. Фетишизации же подвергается потребление не только материального, но и аффективного. Испытать удовольствия и страдания разного рода — это часть продвинутого опыта, лишиться которого означает выпасть из тренда. И сфера труда, и сфера досуга превращаются в поле соревнования за игровые состояния в диапазоне от «умер на работе» до «погрузился в нирвану». Нарциссические и фетишистские формы поведения требуют при этом однородной и прозрачной среды, в которой можно было бы демонстрировать себя и свои успехи, а также видеть других. Эти изводы совместности вульгарны, но они создают широкий диапазон коммуникаций, лишенных непосредственного, что лишь усиливает его нехватку.

Еще одним примером служит позитивная или негативная эмпатия. Сочувствие другому или стыд за него ведут к решению и действию, как правило, при воздействии патов. Когда подлинное состояние другого сообщается непосредственно, формирует свое собственное, которому невозможно не верить. Но радость, страдание или промах маски находятся в системе символов, так что ответом на них становится рациональное действие, тем более взвешенное, чем яснее символический характер контрагента. Часто этот ответ чрезмерен или недостаточен по отношению к норме, соответствующей существу дела. Дело в том, что конкретные условия запуска того или иного аффекта определяются теперь в соотношении репрезентированной ситуации с ее реальным прототипом. Если кто-то просит о материальном вспомоществовании, мы вспоминаем случаи, когда при действительном контакте с человеком оказали его или нет, потому что были индуцированы патом. Но существо дела теперь оказывается на втором плане, а на первом — удержание той вовлеченности в виртуальные квазисообщества, которой достаточно для обслуживания аффекта совместности. Иными словами, быть «на плаву», «вровень», воспринимающим и воспринимаемым, признаваемым и признающим — вот цели, которые достигаются в сете-



вой коммуникации без включения патов и при ясном понимании того, что они не действуют. Аффект совместности, таким образом, с одной стороны, подталкивает к поиску осмысленной и ответственной интеграции, а с другой — приводит к формированию квазисообществ, в которых обкатываются экспериментальные формы идентичности, становящиеся при своем выходе в реальность аффективно односторонними, поскольку маски не индуцируют паты. Это делает их анализ простым, а когнитивную терапию массовой, и вместе с тем увеличивается ценность непосредственного, лучше виден его дефицит, обнажается неполнота и неподлинность жизни. Рефлексия сопоставляет этим патам символ сетевой коммуникации как одиночества, мнимой связи, иллюзорности, вслед за чем появляется то, что можно назвать аффектом *новой наивности*. В нем ответом на неподлинность «цифрового существования» становится стремление к снятию преград между собой и другими в «новой близости», вокруг которой выстраивается специфическая этика. Аффект новой наивности тестируется удаленно, в той же цифровой среде, но, в отличие от аффекта надежды, он более устойчив, хотя его снятие представляет собой непростую коллективную задачу.

«Практики себя» в цифровой среде строятся вокруг описанных аффектов надежды, совместности и новой наивности. Есть, конечно, и другие, но тут нет места вести о них речь. Общая эмоциональная модуляция умеренно позитивная. Как я постарался показать, все три аффекта возникают в условиях блокирования патов, порождаемых вещами и людьми, так что непосредственное воздействие оказывают уже стороны самой цифровой среды. Первый пат индуцирован эстетизацией интерфейса, второй — дезинтеграцией, третий — «цифровым одиночеством», и при их замещении аффектами происходит семиотизация соответствующих явлений и возникают символы высокого статуса — интерфейс, сеть и аккаунт¹, вместе конституирующие иллюзию возвышения над реальностью и тем самым смещающие границу реального и виртуального.

4. Заключение

Трудно сказать, можно ли сделать связку пат — аффект — символ основанием некоей третьей системы оборота значений, о которой говорил Барт, или скорее всего все сказанное укладывается как уточнение в картину двух систем, описанных Зенкиным. Но вместе с тем, если мой анализ отчасти верен, то он ведет к одному из механизмов символизации. Здесь нарушение движения информации в сигнальной системе патов подталкивает к их объективации. Последняя требует отношения обозначения и связи через троп с обозначаемой вещью. Индуктором пата является сама вещь (явление), поэтому символом становится такой ее образ, который в текущем контексте позволяет вещь уверенно идентифицировать. На что указывает вновь возникший символ? Ответ на этот вопрос можно получить путем анализа аффекта, который прихо-

¹ Наверное, есть более яркие символы «жизни в сети», но мне они неизвестны.



дит на смену пата. В центре этого аффекта находится проблемное отношение, возможно, с прошлым и предвосхищаемым будущим своего развития. Оно символизируется лишь тогда, когда понимается как реальное и значимое, то есть когда аффект имеет высокую степень напряжения. Она прямо обуславливает также устойчивость символизации и ее распространение в семиосфере. Так, в современных «практиках себя» ответом на компьютерное виртуальное становится, как я пытался показать выше, символизация самих инструментов репрезентации, самопрезентации и сетевой коммуникации, которые как символы статуса отсылают к эстетическим проявлениям высокого положения и социальной динамики. И то и другое образует положительный аффективный фон возвышающего настоящего и будущего, что подталкивает к сдвигу границы реального и виртуального в сторону последнего. Этим путем аффект через сферу семиозиса оказывает воздействие на воображение.

Представлены результаты исследований по проекту «Человек в цифровой среде: инклюзивные и адаптивные стратегии культуры, биополитика и биосемиотика» (ФИ-2025-74), выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2025 году.

Список литературы

- Аристотель, 1978. Риторика. *Античные риторики*. М., с. 15–165. [Aristotle, 1978. *Rhetorics*. In: *Ancient Rhetorics*. Moscow, pp. 15–165 (in Russ.)].
- Барт, Р., 1975. Основы семиологии. *Структурализм: «за» и «против»*. М., с. 114–163. [Barthes, R., 1975. *Foundation of semiology*. In: *Structuralism: "pro" et "contra"*. Moscow (in Russ.)].
- Барт, Р., 2008. *Мифологии*. М. [Barthes, R., 2008. *Mythologies*. Moscow (in Russ.)].
- Дарвин, Ч., 1953. Выражение эмоций у человека и животных. *Сочинения*. Т. 5. М., с. 681–921. [Darwin, Ch., 1953. *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. In: *Works*. Vol. 5. Moscow, pp. 681–921 (in Russ.)].
- Зенкин, С. Н., 2026. Чтение знаков, присутствие в мире (Двойная перспектива семиотики). *Слово.ру: балтийский акцент*, 17 (1), с. 13–35. [Zenkin, S. N., 2026. Reading signs, presence in the world. (The double perspective of semiotics). *Slovo.ru: Baltic accent*, 17 (1), pp. 13–35 (in Russ.)] <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2026-1-2>.
- Ильин, М. В., 2025. Прагматика семиозиса и оязыковления. *Слово.ру: балтийский акцент*, 16 (3), с. 7–29. [Ilyin, M. V., 2025, The pragmatics of semiosis and linguisation. *Slovo.ru: baltic accent*, 16 (3), pp. 7–29 (in Russ.)] EDN: KNNOXZ, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2025-3-1>.
- Массуми, Б., 2020. Автономия аффекта. *Философский журнал*, 13 (3), с. 110–133. [Massumi, B., 2020. The autonomy of affect. *Philosophy Journal*, 13 (3), pp. 110–133 (in Russ.)] EDN: GRPPAN, <https://doi.org/10.21146/2072-0726-2020-13-3-110-133>.
- Мерло-Понти, М., 1999. *Феноменология восприятия*. СПб. [Merleau-Ponty, M., 1999. *Phenomenology of Perception*. St. Petersburg (in Russ.)].
- Нанси, Ж.-Л., 2011. *Непроизводимое сообщество*. М. [Nancy, J.-L., 2011. *The Inoperative Community*. Moscow (in Russ.)].
- Нанси, Ж.-Л., 2013. Бытие-вместе и демократия. *Топос*, 2, с. 18–29. [Nancy, J.-L., 2013. Being together and democracy. *Topos*, 2, pp. 18–29 (in Russ.)].
- Сартр, Ж.-П., 1984. Очерк теории эмоций. *Психология эмоций. Тексты*. М., с. 120–137. [Sartre, J.-P., 1984. *Essay on the theory of emotions*. In: *Psychology of emotions. Texts*. Moscow, pp. 120–137 (in Russ.)].



Фреге, Г., 2000. О смысле и значении. *Логика и логическая семантика: Сборник трудов*. М., с. 230–246. [Frege, G., 2000. Über Sinn und Bedeutung. In: *Logic and logical Semantics: Collected Papers*. Moscow, pp. 230–246 (in Russ.)].

Фуко, М., 2007. *Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франсе 1981–1982 учебном году*. СПб. [Foucault, M., 2007. *The Hermeneutics of the Subject. A lecture course given at the Collège de France in the years 1981–1982*. St. Petersburg (in Russ.)].

Clough, P.T. and Halley, J., eds., 2007. *The Affective Turn. Theorizing the Social*. Durham.

Fitting, P. and Greenspan, B., 2021. *Utopian Effects, Dystopian Pleasures*. Oxford.

Hutcheson, F., 2002. *An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections, with Illustrations on the moral Sense*. Indianapolis.

Jensen, T.W., 2014. Emotion in languaging: languaging as affective, adaptive, and flexible behavior in social interaction. *Frontiers in Psychologies*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00720>.

Kravchenko, A.V., 2016. Two views on language ecology and ecolinguistics. *Language Sciences*, 54, pp. 102–113, <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2015.12.002>.

Leys, R., 2011. The Turn to Affect: A Critique. *Critical Inquiry*, 37 (3), pp. 434–472, <https://doi.org/10.1086/659353>.

Thibault, P.J., 2020. *Distributed languaging, affective dynamics, and the human ecology*. Vol. 1: The sense-making body. Vol. 2: Co-articulating self and world. Routledge.

Tomkins, S., 1962. *Affect Imagery Consciousness*. Vol. 1: The positive affects. New York.

Об авторе

Иван Борисович Микиртумов, доктор философских наук, НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-9382-249X

SPIN-код РИНЦ: 9100-4626

E-mail: imikirtumov@gmail.com

Для цитирования:

Микиртумов И. Б. Аффект, символизация и «практики себя» // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 36–53. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-3.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

AFFECT, SYMBOLIZATION, AND “PRACTICES OF THE SELF”

Ivan B. Mikirtumov

HSE University,
20 Myasnitskaya St., Moscow, 101000, Russia

Submitted on 20.08.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-3

Based on some of the states of Sergey Zenkin's article, I describe the relationship between affect and symbol. Affect has two sides – cognitive and non-cognitive. The latter manifests itself in unconscious reactions. Conscious affect is regulated by the communicative situation



and the sociocultural environment. Sergey Zenkin describes two systems of meaning circulation. The first is sign communication, the second is working with features and symbols. Symbols can be generated unconsciously and evoke similar reactions. Disruption of the flow of information through the system of non-cognitive affectations leads to their objectification. Affects arise in their place, centred on the tension between the source of the affectation and the individual. The former becomes a symbol of the relationship underlying the affect. I illustrate the transition from non-cognitive affectation to affect with the emergence of a new symbol with examples from "practices of the self" in the digital environment. Here, representation displaces the thing, and the source of non-cognitive affectations becomes the interface, network, account, etc. Affects of hope, togetherness, and a new naivety characterise the tension between the individual and the digital environment. When objectified, they become symbols of social status. Thus, representation and its tools evoke a sense of elevation above the world. The overall modulation of these affects is positive; status symbols convey the meaning of a better future, which encourages a shift in the boundaries between the real and the virtual. The mechanism of symbol generation during the transition from noncognitive affectation to normal affect may be part of the third system of meaning circulation discussed by Roland Barthes.

Keywords: affect, meaning, noncognitive, semiosis, Sergey Zenkin, signal, symbol, virtual

Acknowledgments. The research presented in this article was carried out within the framework of the HSE Fundamental Research Programme (2025) under the project "Human Being in the Digital Environment: Inclusive and Adaptive Strategies of Culture, Biopolitics, and Biosemiotics" (FI-2025-74).

The author

Prof. Ivan B. Mikirtumov, HSE University, Saint Petersburg, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-9382-249X

E-mail: imikirtumov@gmail.com

To cite this article:

Mikirtumov, I.B., 2026, Affect, symbolization, and "practices of the Self", *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 36–53. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-3.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

УДК 82-6

МОТИВЫ «ЛЕСТВИЦЫ» ПРП. ИОАННА СИНАЙСКОГО В ДУХОВНЫХ ПИСЬМАХ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО МИРЯНАМ

А. Г. Дорофеева

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Россия, 236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14
Поступила в редакцию 24.07.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-4

Статья посвящена мотивному анализу смысловых связей «Лествицы» прп. Иоанна Синайского и духовных писем прп. Амвросия Оптинского мирянам. Последний принимал участие в подготовке к изданию перевода «Лествицы» на русский и «полуславянский» языки, осуществленного в Оптиной пустыни в 1862 году. Цитаты из «Лествицы» или упоминание имени прп. Иоанна Лествичника встречаются в двадцати из общего количества писем мирянам. Жанровую их доминанту составляет тип духовной проблематики. Письма являются одной из форм духовного руководства учениками со стороны старца и отражают аскетический опыт святых отцов, что определяет и мотивную структуру посланий прп. Амвросия частным лицам. Главным в руководстве является принцип постепенности, или лестницы, что находит отражение в тематике писем. Смысловое поле писем определяется идеей духовной борьбы со страстями на пути обретения добродетелей. Цитаты из «Лествицы», приводимые в письмах, всегда отвечают задаче старца указать на определенную страсть своего адресата и на путь освобождения от нее. Ключевым является мотив борьбы с гордыней, которая побеждается только смирением. Комплекс мотивов соответствует географическим топосам монашеских житий (искушение, своеволие, борьба с бесами и др.), а также добродетелям (память о смерти, рассудительность, мудрость, послушание, покаяние и др.). Добродетель смирения – центральная и в духовных письмах старца, и в «Лествице», в то время как высшей из всех добродетелей является любовь. Прп. Амвросий не иллюстрирует свои мысли цитатами из «Лествицы», но часто их толкует, развивает, включая в общий контекст святоотеческого предания, которому принадлежат и письма оптинских старцев.

Ключевые слова: духовные письма, «Лествица», мотив, прп. Амвросий Оптинский, прп. Иоанн Синайский, цитата

1. Введение

«Лествица» прп. Иоанна Синайского в православном мире стала настольной книгой не только монахов, но и мирян. С середины XIX века «Лествица» получает особенно широкое распространение в русском



обществе. Это связано с переводческой и издательской деятельностью Оптиной пустыни: усилиями преподобных Макария и Амвросия Оптинских и при участии коллектива переводчиков был осуществлен перевод «Лествицы» на «полуславянский» и на «русский» языки, изданы оба перевода были в 1862 году (об истории подготовки к изданию см.: (Каширина 2018; Попова 2024, с. 279–292)), причем «тексты этих переводов в ряде случаев пересекаются и различия между ними минимальны» (Попова 2024, с. 291). По замыслу прп. Макария творение прп. Иоанна Лествичника переводилось не столько для чтения, сколько *для практического руководства* монашествующих, см.: (Там же, с. 280). Использовался метод не пословного, а «вольного перевода» (Там же, с. 286). Восходит «текст русского перевода Оптиной пустыни, сверенный с изданием греческого текста... к лучшему из славянских переводов (переводу прп. Паисия Величковского)» (Там же, с. 293), что свидетельствует об определенной духовной традиции исихазма, носителями которой были оптинские старцы. Они восприняли ее от прп. Паисия, усвоившего ее, в свою очередь, от афонских монахов. На эту связь указывает философ и богослов В.Н. Лосский в своей известной работе «Оптинские старцы»: «Начало Оптинского старчества тесно связано с делом Паисия (Величковского), возродившего древнюю византийскую традицию...» (Лосский 2007, с. 24). Это значит, что для духовных писем основным является контекст святоотеческого предания, как и сами духовные письма святых старцев можно отнести к святоотеческой литературе. Оптинские старцы применяли в своей практике аскетический опыт прп. Иоанна Лествичника и передавали его дальше своим ученикам, в том числе и в письмах, составивших значительное эпистолярное наследие в литературе XIX века.

2. Специфика духовных посланий

Не решая вопроса жанровой специфики духовного письма, о которой писали исследователи (см. об этом: Каширина 2013; Смолина 2016; Шкуропацкая 2016; Захарченко 2020 и др.), но тем не менее учитывая ее, отметим, что жанровую доминанту составляет тип проблематики, определяемый целеполаганием автора письма, а также способом создания такого рода текста, его функциональной направленностью и генезисом. Целью автора духовного письма является прежде всего *спасение души* своей и того человека, к которому он пишет; предметом его интересов является *духовная* сторона жизни души, внутреннее устройство, на которое и должно воздействовать содержание письма. Тип проблематики такого рода писем определяется словом «духовный», поскольку мысль автора письма и обращена главным образом к духовной жизни. Способ создания можно назвать синергийным, учитывая особенность сознания автора письма, старца, живущего духовной жизнью, и творящего, как и древние отцы Церкви — по благодати. Автор письма и его адресат относятся друг к другу как учитель / ученик, наставник / наставляемый, или духовный отец / духовный сын (дочь). Простран-



ственно-временные отношения в духовных письмах отражают христианскую картину мира с ее теоцентризмом, бинарностью и провиденциализмом. Все временное рассматривается в соотношении с вечностью и в свете христианской аксиологии. Важной особенностью такого рода писем является обязательное цитирование священных текстов, выполняющих каноническую функцию, и святоотеческой литературы как наиболее авторитетной.

Одной из ключевых черт духовных посланий является то, что они отражают специфику духовного руководства, характерную для *старчества* (см.: Захарченко 2011), что определяет цель послания, его смысловое поле и принципы построения. Поэтому без понимания феномена старчества как вида духовного подвижничества нельзя обойтись при анализе писем в любом их аспекте — смысловом, жанровом, типологическом, интертекстуальном, образно-символическом и др.¹

И. М. Концевич видит в старчестве особое духовное служение, продолжающее служение пророческое, несущее в себе «...особый благодатный дар, дар Духа Святаго (харизма)» (2009, с. 252), и называет отношения старца с учеником «духовным таинством», которое «находится под водительством Духа Святаго» (Там же, с. 257). С. С. Хоружий указывает на историю происхождения русского старчества, которое он связывает, во-первых, с уже существовавшей в православном монашеском укладе двойственной связи «монах (или послушник) — старец (духовный руководитель)» (2000, с. 231), во-вторых — с «русским Исихастским возрождением», которое породило «*старчество*, с его знаменитым очагом в Оптиной» (Там же, с. 227; курсив автора). Ученый раскрывает духовную природу старчества, делая акцент на том, что старец обладал «...личной харизмой и духовным авторитетом; его наставления выражали его собственный, добытый и пережитый им самим, опыт подвига как Богообщения и единения с Богом» (Там же, с. 231).

Не приводя иных определений старчества, отметим только, что главной во всех них является мысль, важная для понимания специфики писем, — о даре духовного зрения, которым обладает старец, о способности мудро руководить духовной жизнью человека.

3. Мотивный анализ писем. Функция цитаты

Сосредоточимся на вопросе влияния творения прп. Иоанна Лествичника на духовные письма прп. Амвросия Оптинского в содержательном аспекте, выявляя комплекс мотивов, определяемых идеей «Лествицы» — духовного восхождения по ступеням добродетелей в преодолении страстей.

Всего в своем аскетическом творении «Лествица», или «Скрижали духовные» прп. Иоанн Лествичник описывает тридцать ступеней (степеней), в преодолении которых важна постепенность и последователь-

¹ О старчестве как феномене см.: (Лосский 2007; митр. Трифон (Туркестанов) 1997; Экземплярский 1992а; 1992б; Захарченко 2011; Ордина 2003 и др.)



ность¹. В данной статье мы обращаемся к письмам для мирян, причем только к тем, где есть отсылки или цитирование книги «Лествица», а также упоминание имени Иоанна Лествичника.

Письма мирянам составляют первую часть собрания писем оптинского старца Амвросия (Собрание писем... 2012, с. 13–296). Из помещенных там двухсот сорока посланий в двадцати есть цитаты или упоминания «Лествицы» и Лествичника, а также отсылки к ним. В пяти письмах мы обнаружили прямое цитирование «Лествицы», причем в трех из них цитаты приводятся по русской версии перевода, см.: (Лествица... 1994), в двух письмах — по «полуславянской» (Лествица... 1862). В остальных пятнадцати используются парафразы, реминисценции, аллюзии, отсылки к тексту «Лествицы». Очевидно, что старец не стремился к точному цитированию, передавая важную для него мысль или идею Лествичника чаще всего по памяти, стремясь к достижению своей главной цели — наставления в духовной жизни обратившегося к нему за этим адресата. Характер наставления и его смысл связан с самим человеком, его личностными особенностями, социальным положением, духовным состоянием.

Имена адресатов в большей части писем не указаны. Есть письма, адресованные *всем* — «для общей пользы и назидания...» (Собрание писем... 2012, с. 13), то есть, по сути, для публикации, что говорит о функционировании духовного письма как литературного жанра в рамках церковной литературы.

Обратимся к смысловым корреляциям ряда писем старца Амвросия и «Лествицы», проследив их ключевые мотивы, место и роль цитирования «Лествицы» в содержательной структуре письма (используются общепринятые нумерация писем, их именование и хронология написания).

Из опубликованных в собрании писем мирянам шесть направлены известному государственному деятелю — графу Александру Петровичу Толстому, обер-прокурору Святейшего Синода. В трех письмах (7, 8 и 9-м) приводятся цитаты из «Лествицы», в которых ключевой является тема духовной жизни христианина — светского человека — в обществе, далеко от церковной жизни. Старец сосредоточивает внимание адресата на его внутренней жизни, открывая гнездящиеся в душе страсти. Так, о тайной гордыне при самостоятельном толковании священных книг он его предупреждает в 7-м письме («Как держать себя при разговорах о Святой Церкви»): «...никто, особенно из земных жителей, да не дерзает нерассудно проникать в оные. *Такое дерзновение святой Иоанн Лествичник относит к возношению* (см.: Степень 25, отделение 12)» (Собрание писем... 2012, с. 23; здесь и далее курсив в цитатах наш. — Л. Д.).

¹ Аскетические взгляды прп. Иоанна Лествичника и анализ смысловой структуры его творения «Лествица» подробно рассматривает архимандрит Тихон (Агриков), указывая на огромное значение этого труда «как для монашествующих, отрехшихся от мира и его суетных удовольствий, так и для мирских людей, живущих среди мира и также жаждущих подвига спасения» (Тихон (Агриков) 2011, с. 293).



(Ср.: «Смиренномудрый монах не любопытствует о предметах непостижимых; а гордый хочет исследовать и глубину судеб Господних» (Лествица... 1994, 25: 12)¹).

Восьмое письмо («Советы христианину о постоянном бодрствовании над собой») является ответом на болезненный для графа вопрос об отношении к смерти и приготовлении к ней, для чего приводится парафраза цитаты из Слова 6 «О памяти смерти»: *«мысль о смерти великую пользу приносит христианину»* (Собрание писем... 2012, с. 23–24); ср.: *«Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и помышление о смерти нужнее всяких других деланий»* (Лествица... 1994, 6: 4).

В девятом письме, адресатами которого являются и граф А. П. Толстой, и о. Константин Зедергольм, старец Амвросий объясняет сновидения и пишет о духовной опасности доверия им: «Верующий сновидениям во всем неискусен есть, а никакому сну не верующий любомудрым почестья может» (Собрание писем... 2012, с. 28). Это парафраза слов прп. Иоанна Лествичника: *«Кто верит снам, тот вовсе не искусен; а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр»* (Лествица... 1994, 3: 28). Старец исходит из неизменности законов духовной жизни и борьбы и для мирянина, и для монаха, и потому по любому вопросу, поднимаемому графом в своих посланиях старцу, ответ всегда дается в русле аскетики, которая разработана святыми отцами на основе личного опыта духовного подвижничества.

Особый интерес представляет раздел писем некой «Превосходительной NN», духовной дочери старца, с которой он вел переписку (письма 12–66) в течение 10 лет — с 1876 по 1886 год. Последовательность чтения этих писем открывает постепенность ведения старцем своей духовной дочери к монашеству, его мудрое руководство на этом пути. В семи письмах старца приводятся цитаты или отсылки к «Лествице». Судя по содержанию одного из первых писем («Удобства монашеской жизни» (15-е письмо)), прп. Амвросий пишет женщине, находящейся пока «между миром и монашеством» (Собрание писем... 2012, с. 42), то есть стоящей перед выбором. Он приводит отрывок из «Лествицы» (Слово 1 «Об отречении от жития мирского»), основной мыслью которого является утверждение в преимуществе выбора монашеского пути для того, кто хочет спастись. При этом отмечается, что можно спастись и в супружестве, но весьма затруднительно: «О супружеских святой Лествичник пишет, что они подобны людям, у которых *оковы на руках и на ногах*. ...Бессупружная же и особенно монашеская жизнь более удобства подает к исполнению евангельского учения» (Там же, с. 42). Сравним с текстом «Лествицы»: *«...Человек неженатый, а только делами связанный в мире, подобен имеющему оковы на одних руках; ...женатый же подобен имеющему оковы и на руках, и на ногах»* (Лествица... 1994, 1: 20). Приводя мысль Лествичника о супружестве как бремени, помехе в деле спасения, старец не нарушает свободы того, кому пишет, но направляет к более удобному пути спасения.

¹ При цитировании «Лествицы» мы указываем номер главы (Слова) и стиха.



Содержание наставлений прп. Амвросия в письмах к «Превосходительной NN» говорит о главной ее духовной проблеме — своеволии, к избавлению от которого и направляет ее старец. Об этом свидетельствует письмо от 27 января 1879 года — «Как жить по Евангелию. Необходимость послушания» (16-е письмо). У его духовной ученицы созрело внутреннее желание монашества, и старец обращается к теме послушания — важнейшей ступени в Лествице, через которую невозможно переступить без падения вставшему на этот путь. В письме старца приведена непрямая цитата из «Лествицы»: «...послушание же, по слову Лествичника, такая добродетель, без которой никто из заплетенных страстями не узрит Господа» (Собрание писем... 2012, с. 44). В Слове 4 «О блаженном и приснопамятном послушании» Лествичник пишет: «Отцы... блаженное послушание назвали исповедничеством, без которого никто из страстных не узрит Господа» (Лествица... 1994, 4: 8).

Дальнейшие письма старца к «Превосходительной NN» показывают путь постепенного углубления ее в духовную жизнь, о чем свидетельствует, например, письмо от 14 апреля 1882 года («Утомление от трудов полезно. Враг всех искушает. Недоразумения попускаются для пользы» (38-е письмо)). В нем прп. Амвросий поднимает тему искушений, относящуюся к духовной брани. Все письмо старца пронизано идеей постепенности движения к монашеству, в подтексте звучит идея и *лестницы страстей*, и *лестницы добродетелей*. Она присутствует в мысли старца о *детях*, с которыми соотносит он своего адресата: «когда учат детей разного возраста, то говорят им, сколько они могут понять и насколько в состоянии принять» (Собрание писем... 2012, с. 65); в совете о *выборе одежды* (мы знаем по житиям святых об агиографическом топосе одежды как проявления духовного состояния): «не следует тебе еще одеваться в монастырское платье и не следует близко, то есть как бы наравне с ними, присоединяться к сестрам, чтобы им своими немощами и привычками не подать повода к расслаблению» (Там же); в наставлении о *пользе телесных трудов* при стремлении жить *внутренней жизнью*: «...утомление от внешних трудов не уничижай, не презирай» (Там же, с. 65–66).

Но более всего места в письме он отводит объяснению, что такое *искушение*, зачем оно попускается людям от Бога и как к искушениям надо относиться. Здесь очевидное введение старцем своей духовной ученицы, явно еще даже не новоначальной, в преддверие монашеской жизни. В самом конце письма он уже напрямую открывает духовную проблему своей духовной дочери, выбирающей между жизнью в сообществе сестер и уединением, для чего старец приводит имя прп. Иоанна Лествичника и его мысль: «Теперь пока скажу тебе: святой Иоанн Лествичник говорит, что враг общежительным монахам восхваляет уединенное жительство, а уединенно живущим хвалит общежитие, и таким образом путает тех и других» (Там же, с. 67). В данном случае прп. Амвросий приводит именно мысль, идею, а не цитату или ее парафраз. И эта мысль о лукавстве злых духов, их кознях для отвлечения от пути спасения в той или иной форме звучит в разных степенях (Сло-



вах) Лествицы. Приведем пример из Слова 4 «О блаженном и приснопамятном послушании»: «Когда мы, живя в каком-нибудь месте, бываем боримы к переходу на другое, то брань эта да будет для нас указанием нашего благоугождения Богу на том месте; ибо когда бываем боримы, то это значит, что мы противоборствуем» (Лествица... 1994, 4: 109), см. также: (Там же, 4: 6, 4: 7, 7: 68). В рассматриваемом письме упоминание Лествицы связано с одним из ключевых мотивов в монашеских житиях — *искушениями* в процессе духовной брани подвижника.

Продолжается тема духовной борьбы и в следующем письме к той же особе, стремящейся к монашеству («Свои взгляды надо поверять законом Божиим» (39-е письмо)). Словами прп. Лествичника старец призывает свое чадо к смирению и к молитве о своих грехах — то есть к покаянию: «...святой Иоанн Лествичник советует, глаголя: *«Аще и на всю лестницу добродетелей взыдеши, о оставлении грехов молися»* (Собрание писем... 2012, с. 68). И это прямая цитата из «Лествицы» «полуславянского» перевода (Слово 28, «О матери добродетелей, священной и блаженной молитве, и о предстоянии в ней умом и телом»), см.: (Лествица... 1862, 28: 13). Сразу после приведенной цитаты из Лествичника, старец указывает на ошибку, совершаемую NN: рассуждению обо всем со *своей* точки зрения, «сообразуясь со своим телесным состоянием и со многими усвоенными привычками и усвоенным взглядом на вещи» (Собрание писем... 2012, с. 68), и к установлению «новых правил для всех» (Там же) по своему мнению. Очевидно, что старец ведет борьбу за душу своей духовной дочери, уча ее смирению. Здесь центральной становится та же оппозиция, что и в Житии Лествичника, как и в любом монашеском житии, — *телесности* и *духовности*. Старец прямо и говорит, что его чадо сейчас находится в «телесном состоянии», которое скажется в мыслях и затем в поступках, далеких от заповедей Божиих.

Письма приоткрывают особенности взаимоотношений старца со своим духовным чадом. В письме «Как жить, чтобы спастись» (45-е письмо) проявляется характер его ученицы («Превосходительной NN»), ее недовольство отношением старца к ней, выражаемым в письмах, о чем она открыто пишет ему. И прп. Амвросий так же открыто сообщает своей ученице о цели переписки с ней и о ее недостатках: «...в письмах своих всегда имел одну цель — разубедить тебя в неправильном твоём понятии о монашеской и вообще о духовной жизни, которое ты составила себе, еще живя в мире» (Там же, с. 75). Одно из таких неправильных понятий — представление о духовных людях, по поводу чего он и приводит мысль Лествичника (прямой цитаты мы не обнаружили): «На тебя нехорошо влияют резкие слова таких лиц, которые, по твоему мнению, говорить бы должны иначе. Святой Иоанн Лествичник пишет, что *Господь промыслительно иногда оставляет и в духовных людях некоторые недостатки, чтобы чрез это приводить их к смирению»* (Там же, с. 77). Здесь прп. Амвросий передает идею Лествичника, которая встречается не единожды в его творении. Например, в Слове 4: «Часто промыслительное отнятие мнимых наших духовных благ бывает для нас причиною глубочайшего смиренномудрия» (Лествица... 1994, 4: 57).



В последующих письмах к «Превосходительной NN» центральной остается тема борьбы со страстью гордыни. Письмо от 15 декабря 1882 года «Надо внимать себе, а не чужие дела разбирать» (48-е письмо), написанное через 8 месяцев после письма от 14 апреля того же года, в котором был дан запрет на ношение одежды новоначальной, теперь содержит на это разрешение, что означает переход его духовной дочери на новую ступень в движении к монашеству — послушничеству. В связи с этим приводится непрямая цитата из Лествичника: «Только, при решимости обещись в сию одежду, должно решиться и на то, чтобы стараться делом исполнять совет святого Иоанна Лествичника, который говорит: “Послушник не рассуждает ни о благих, ни о мнимых злых”» (Собрание писем... 2012, с. 79). (Ср.: «Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает, ни в добром, ни во мнимо худом...» (Лествица... 1994, 4: 3).) Что примечательно, эти слова Лествичника прп. Амвросий растолковывает своей ученице сам, зная ее слабые стороны и склонность к своеволию и суждению о других. Одежда новоначальных связана с выработкой в себе внутреннего качества — послушания, включающего интерес и внимание к делам других людей, особенно «начальных», то есть начальствующих. Именно поэтому в старец не прямой форме повторяет мысль Лествичника, привлекая к ней же и цитату из 10 кафизмы Псалтири: «“Кийждо от своих дел или прославится, или постыдится”» (тропарь по 10 кафизме), — начальные от своих дел, а подначальные от своих» (Собрание писем... 2012, с. 79). И усиливает эту мысль далее, переходя к прямому назиданию с намеком на некоторые свойства духовной дочери: «Кому что поручено, за то тот и отвечает. Также подвергает себя ответу и тот, кто вмешивается не в свое дело, кроме того, оставляя при этом исполнение и собственного дела» (Там же, с. 79–80).

Прп. Амвросий в письме фактически толкует слова Лествичника, разъясняя их смысл своему адресату, для чего использует евангельскую цитату-топос о «купле» как приобретении добродетелей: «Сам Господь глаголет во Евангелии: “Куплю дейте, дондеже прииду” (Лк. 19: 13)» (Там же, с. 80). Ее же он дальше развивает аллегорически в образе ярмарки и купцов: «Купцы, как сама ты видала, во время ярмарки каждый торгует в своей лавке. А если во время торговли будет ходить купец по чужим лавкам, то повредит своей торговле и получит большой убыток» (Там же). Затем в конце письма напрямую раскрывает смысл: «То есть советую тебе более не внимать благовидным, но душевредным помыслам вражеским, которые внушают смотреть за чужой торговлей, ходя по чужим лавкам. Прочнее и основательнее беречь собственную свою торговлю духовную и ей только внимать» (Там же). Обратим внимание на то, что прп. Амвросий строит свое письмо-поучение по законам проповеди, выстраивая логику вокруг главной идеи — послушания и смирения.

Итак, старец ведет свое чадо к покаянию, эта тема сопровождает все последующие письма к ней. Так, в письме 1884 года «Евангелие требует от нас покаяния, а не умствований» (57-е письмо), посвященном, каза-



лось бы, целиком ответу на вопрос, заданный старцу его ученицей, о вине и ответственности Иуды, цитата Лествичника и имя его приводят-ся для того, чтобы направить внимание адресата от общих, хоть и важных, размышлений — внутрь него самого, в само сердце, чтобы приве-сти к покаянию и смирению: «Впрочем, по слову Иоанна Лествичника, *бедственно есть испытывать непостижимые судьбы Божию*, и кто на это дерзает, в том обличается недостаток смирения и противное свойство, то есть горделивость. Евангелие тем начинается и оканчивается: *“Покай-тесь!”* А мы ленимся приносить покаяние и вместо этого беремся иссле-довать то, что выше нас и что от нас совсем не требуется» (Там же, с. 90). Здесь приводится парафраз текста «Лествицы» из Слова 26 «О рас-суждении помыслов и страстей, и добродетелей»: «Бедственно любо-пытствовать о глубине судеб Божиих; ибо любопытствующие плывут в корабле гордости» (Лествица... 1994, 26: 129).

Таким образом, слова и мысль Лествичника отвечают цели духов-ника — привести не просто к принятию монашества, но неразрывно с этим — к обретению смирения. В целом переписка старца с «Превосхо-дительной NN» отражает идею «Лествицы» — *постепенности* в духов-ном руководстве человеком в его движении к монашеству. Эта цель и определяет тематику писем, характерную в большей мере для духов-ных писем монашествующим.

Последующие письма прп. Амвросия Оптинского разным частным лицам также говорят о неизменной установке старца на внутреннее состояние человека с учетом особенностей личности адресата.

Например, в письме «Расслабление, отчаяние, молитва» (85-е пись-мо), направленном одной особе, писавшей старцу о своих страданиях, немощи телесной и душевной, а также о наступившем отчаянии, ста-рец объясняет причину всего, приводя имя св. Иоанна Лествичника, который отчаяние «почитает хуже всякого греха» (ср.: «отчаяние — са-мая лютая из всех страстей» (Лествица... 1994, 14: 36)). Заметим, что Лест-вичник в Слове 14 «О любезном для всех и лукавом владыке, чреве» не просто называет страсть отчаяния худшей из всех, а указывает на ее первопричину в чревоугодии, или «объядении», которое он называет «дверью страстей» и в аллегорической форме от лица самого чревоуго-дия перечисляет порождаемые ею «исчадия»: «...блуд, ...ожесточение сердца... сонливость. Море злых помыслов, волны скверн, глубина не-ведомых и неизреченных нечистот от меня происходят, <...> а за ними следует *отчаяние*, — *самая лютая из всех страстей*» (Лествица... 1994, 14: 36). Старец в письме *толкует* мысль Лествичника, разъясняя, в чем погибельность отчаяния, связывая это с невозможностью отчаявшемуся покаяться. И повторяет его слова еще раз, убеждая, что «поистине отча-яние хуже всех зол» (Собрание писем... 2012, с. 123).

Но письмо не завершается этим выводом. Прп. Амвросий для тех, кто страдает и готов отчаяться, приводит утешительную мысль, обра-щаясь к словам апостола Павла: «Но есть для страждущих и утешит-ельное слово Апостола: *“Егоже любит Господь, наказует: бьет же всякого*



сына, его же приемлет» (Евр. 12: 6), тем самым выводя человека «на ту христианскую стезю, которая ведет к мирному и спокойному состоянию души» (Там же, с. 135).

Прп. Амвросий порой писал письма не к одному человеку, но к семье. Так, из двадцати шести писем (106–132) неким «семейным особам» в трех упоминается «Лествица». В письме «Перед судом Божиим имеют значение не характеры, а направление воли» (106-е письмо) тема Суда Божия рассматривается в контексте «Лествицы», на которую старец дает только отсылку: «Прочтите в “Лествице” слово 26, отделение 28» (Там же, с. 168). Приведем его здесь: «Некоторые... по природе наклонны к воздержанности, или к безмолвничеству, или к чистоте, или к скромности, или к кротости, или к умилению. У других же самая почти природа сопротивляется сим добрым качествам, но они насильно принуждают себя к оным; и хотя иногда и побеждаются, однако их, как понудителей естества, я похваляю больше первых» (Лествица... 1994, 26: 28). Прп. Амвросий, по сути, в письме толкует эти слова Лествичника. Природу человека он именует «характером», тем, что человеку дано от рождения. Вводится оппозиция – *суд человеческий* и *Суд Божий*. По Лествичнику, Богом ценится больше «понуждение естества», когда природа человека сопротивляется добродетели, а он принуждает себя к ней. И в словах прп. Амвросия тоже делается на этом акцент. Отличие же заключается в том, что прп. Амвросий развивает отсутствующую в цитате Лествичника тему Суда Божия: «Знайте, что характеры имеют значение только на *суде человеческом*, и потому или похваляются или порицаются; но на *Суде Божиим* характеры, как природные свойства, ни одобряются, ни порицаются. Господь взирает на благое намерение и *понуждение* к добру и ценит *сопротивление* страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем» (Собрание писем... 2012, с. 167).

Одной из важных в письмах для мирян является тема поста, которая упоминается в двенадцати письмах, но цитата из «Лествицы» встречается только в одном, относящемся к письмам «семейным особам». В письме «Поститься должно, соображаясь с телесными силами» (127-е письмо) цитата приводится по «полуславянскому» переводу «Лествицы» в связи с наставлениями старца о правильном отношении к посту: «...Святой Лествичник приводит слова: “Не постихся, ни бдех, ни на земли возлегах, но смирихся, и спасе мя Господь”» (Там же, с. 182). (Ср.: «Не постихся, говорит Давидъ, ни бдѣхъ, ни на земли легахъ: но смирихся, и спасе мя Господь вскорѣ!» (Лествица... 1862, 25: 15).) Здесь тема поста раскрывается через соотношение духовного и телесного в выборе человека. Старец пишет о необходимости подходить к посту с рассуждением и со смирением, так как смирением побеждается немощь, по которой ослабляется или нарушается пост. Смирение, покаяние, и самоукорение поставляется и Лествичником, и прп. Амвросием выше подвига поста.

В письме «семейным особам» под названием «Истинная любовь» (130-е письмо) прп. Амвросий рассуждает об этой главной христиан-

¹ Ср.: «Смирихся, и спасе мя» (Пс. 114: 5).



ской добродетели, находящейся на вершине Лествицы, описанной прп. Иоанном Лествичником. Он отвечает своим адресатам на вопрос о ее свойствах и приводит в качестве ответа и образца известные слова апостола Павла об истинной любви: «Любы не превозносится, не гордится, не безчинствует,...», см.: (1 Кор. 13: 4–8). И затем обращается к цитате из «полуславянского» перевода «Лествицы», приводя ее не совсем точно¹: «Первая степень к достижению истинной любви есть искание прощения грехов правильными средствами. А святой Лествичник еще смиреннее говорит: “Аще и на всю лѣствицу добродѣтелей възидеши, о оставлении согрешений молися”» (Собрание писем... 2012, с. 184). (Ср.: «Хотя бы ты и на всю лѣствицу добродѣтелей възшелъ: однако и тогда о прощении согрѣшений молися...» (Лествица... 1862, 28: 13).) В данном случае цитата из «Лествицы» ему нужна, чтобы усилить идею *крайнего смирения* как средства достижения вершины Лествицы.

Очень часто письма к частным лицам, живущим в миру, носят воспитательный характер, касаются вопросов порой бытовых, но получающих духовное осмысление. Так, в письме «Рассуждение выше всех добродетелей» (236-е письмо) речь идет о неразумной трате денег одной особы на съём роскошной квартиры вместо покупки хорошей еды, хотя последнее для нее важнее вследствие ее слабого здоровья. Старец указывает на ее нерассудительность и ссылается на слова Лествичника, чтобы научить ее не принимать решения самочинно, а слушаться духовника и приобретать добродетель рассуждения: «Св. Лествичник указывает путь к приобретению здравого рассуждения: “От послушания, — говорит он, — рождается смирение, а от смирения — рассуждение”» (Собрание писем... 2012, с. 271). (Ср.: «От послушания рождается смирение, как мы и выше сказали; от смирения же рассуждение» (Лествица... 1994, 4: 105).)

Отдельно выделим послания иностранцам — католикам. Они не относятся к духовным чадам или ученикам старца, стиль таких писем более официален, есть особенности и в их тематике. В двух письмах встречается цитирование «Лествицы». В своих ответах прп. Амвросий отвечает на конкретный заданный ему вопрос адресата, касающийся духовной жизни, исходя из православного аскетического опыта, при этом выходит в обоих случаях на тему неправильной (неполной) веры, чем объясняет и проблему писавшего старцу письмо.

Так, одна француженка («Письмо француженки и ответ старца Амвросия» (104-е письмо)), признается в своем письме к старцу об овладевшей ею гордыне: «Бес *гордости* владеет мною в такой степени, что не дает мне исполнять обязанность как следует. Что должна я делать, чтобы от него избавиться?» (Собрание писем... 2012, с. 162). Для ответа на этот вопрос прп. Амвросий прибегает к мысли Лествичника: «...скажу не от себя, а как пишет древний святой отец Иоанн Лествичник, что

¹ Мы не исключаем, что прп. Амвросий мог обращаться к другому переводу «Лествицы», который в смысловом отношении не расходится с версией «полуславянского» перевода 1862 года. Но это уже предмет отдельного текстологического исследования.



гордость побеждается смирением, а добродетель смирения принадлежит не всем людям разных вероисповеданий, а только правоверующим» (Там же, с. 164). Обратим внимание на то, что старец намеренно дает ответ «не от себя», ему важно привлечь авторитет прп. Иоанна Лествичника, опытно открывшего и описавшего духовную природу страстей и всю тяжесть борьбы с ними человека, нуждающегося для этого в благодатной помощи свыше, полнота которой связывается с истинностью догматов Православия. Прп. Амвросий приводит в своем письме парафраз цитаты из «Лествицы» (Слово 25): «Невозможно пламени происходить от снега; еще более *невозможно быть смиренномудрию в иноверном, или еретике*. Исправление это *принадлежит одним православным, благочестивым, и уже очищенным*» (Лествица... 1994, 25: 33). Почему это возможно только для православных, объясняется словами «благочестивых и уже очищенных». В контексте всей «Лествицы» эта мысль понятна: очищение, восхождение к совершенству возможно только на истинном пути — во Христе, в соответствии с Его же словами: «Я есмь путь Истина и Жизнь» (Ин. 14: 6). И полнота этого воссоединения возможна только в таинстве Евхаристии, как она совершается в Православии, о чем и пишет в своем письме прп. Амвросий, указывая адресату на ложность католической веры. При этом все рассуждения старца сопровождаются прямыми цитатами из апостольских посланий и из Евангелия, что говорит о причастности к одному Преданию и творения Иоанна Синайского, и писем прп. Амвросия.

В письме «К римскому католику, сенатору, о благотворительности и вероисповеданиях» (160-е письмо) прп. Амвросий рассуждает о причинах различия вер при одной Библии (письмо написано по поводу дарения Библии и присланных денег). Он четко разграничивает Православие и Католичество, указывая на изменения в догматах веры. Но Лествичника старец в этом послании цитирует совсем по другому поводу и совершенно неожиданно. После рассуждений об искажении католиками догмата об исхождении Святого Духа, старец пишет: «Простите, если написал я не у места и без надобности. *Святой Иоанн Лествичник пишет: “Пред мудрыми не мудри”*» (Собрание писем... 2012, с. 202). На наш взгляд, в этой фразе он, с одной стороны, проявляет смирение, но с другой, не прямо, но указывает и на недостаток своего адресата — сенатора-католика, назвав его мудрым, что, скорее, скрывает иронию. В «Лествице» прямой цитаты («Пред мудрыми не мудри») нет, но само слово встречается достаточно часто и нередко с негативным оттенком, означая «человеческую мудрость», которая истинной мудростью не является. Например, в Слове 22: «...тщеславлюсь, когда пощусь; но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, *считая себя мудрым*» (Лествица... 1994, 22: 5), или: «*Высокомудрый монах сильно прекословит; смиренномудрый же не только не прекословит, но и очей возвести не смеет*» (Там же, 23: 6), и т. д. Истинная мудрость заключается в смирении, в отказе от *своей мудрости*, которое является плотским: «Борись, и старайся посмеяться *своей мудрости*» (Там же, 24: 34).



Завершая анализ смысловой связи писем прп. Амвросия с «Лествицей», заметим, что автор писем обращается к широкому контексту святоотеческой литературы, объединяя в одном письме порой несколько имен святых, приводя цитаты из их трудов, а также цитируя Библию, особенно часто — апостольские послания, Евангелие, что составляет единое духовное пространство писем.

4. Заключение

Духовное руководство прп. Амвросия строится по принципу Лествицы — постепенности в движении человека по духовному пути вверх, что отражается в содержании его наставлений. Особенность духовных писем прп. Амвросия определяется спецификой авторского сознания, характерной для такого феномена, как старчество. В них отражается мудрость старца, наделенного дарами духовного «зрения», рассуждения, способного руководить духовной жизнью человека.

Тематико-мотивный комплекс писем прп. Амвросия определяется целью их автора — духовного воспитания адресата, обращением преимущественно к аскетике, разработанной святыми отцами, из которых знаковым для старца был прп. Иоанн Лествичник.

Самой частотной для большинства писем (пятнадцать из двадцати) является тема *духовной брони*, или борьбы со страстями, что относится к области аскетике; выбор цитаты определяется той страстью, которую видит в своем духовном сыне (дочери) старец. Из этих пятнадцати писем в пяти главными являются мотив борьбы со страстью гордости и мотив смирения (смирennemудрия), причем последний в письмах старца в принципе доминирует, поскольку без него непобедима никакая страсть, что подтверждается в письмах цитатами из «Лествицы». Важное место в духовных письмах мирянам прп. Амвросия занимает тема монашества, которая напрямую означена всего в двух письмах, но присутствует всегда в посланиях старца к тем адресатам, которые готовятся к монашеству, поскольку соединена неразрывно с темой духовной брони и тоже является частотной. Мотив послушания является сквозным, а в трех письмах он становится главной темой. Характерна для писем, адресованных духовным ученикам, готовящимся принять монашество, оппозиция *телесности* и *духовности*. Просматриваются мотивы *искушения*, *мудрости*, *рассудительности*, и другие, связанные с духовным восхождением христианина. Очевидно единое антропологическое основание в понимании природы греха и добродетели в творении Лествичника и в письмах прп. Амвросия, их подхода к руководству духовной жизнью человека.

В целом выделенные нами мотивы в письмах для мирян вполне соответствуют агиографической топике монашеских житий, что говорит не о формальном функционировании житийных топосов, а об их обусловленности духовными законами жизни христианина, стремящегося к спасению души.

Мотивы «Лествицы» прп. Иоанна Синайского, присутствующие в духовных письмах прп. Амвросия, отвечают главной воспитательной



цели старца, связанной с темой письма, во всех случаях направлены к духовной жизни человека. При этом прп. Амвросий часто не только подтверждает с помощью авторитета святого Иоанна Лествичника свою мысль, но идет дальше, толкуя цитируемый текст, вступая со святым в своеобразный диалог, что делает цитирование не иллюстрацией мысли старца, автора письма, но живым процессом смыслообразования в едином пространстве святоотеческого предания.

Статья подготовлена при поддержке РФФ (грант № 22-18-00005-П «Иконография и агиография Лествицы Иоанна Синайского»).

Список литературы

Захарченко, С. О., 2011. Черты старчества в письмах преподобных Макария и Амвросия Оптинских. *Проблемы исторической поэтики*, 9, с. 259–270. [Zakharchenko, S. O., 2011. Features of eldership in the letters of the Venerables Macarius and Ambrose of Optina. *Problems of Historical Poetics*, 9, pp. 259–270 (in Russ.)] EDN: RVPCBD.

Захарченко, С. О., 2020. Жанровые особенности писем преподобного Макария Оптинского к А. Н. Глебовой и А. И. Воейковой. *Евангельский текст в русской словесности: Сборник тезисов докладов X Всероссийской научной конференции (с международным участием) 21–24 сентября 2020 г.* Петрозаводск, с. 101–105. [Zakharchenko, S. O., 2020. Genre features of the letters of St. Macarius of Optina to A. N. Glebova and A. I. Voeikova. In: *The Gospel Text in Russian Literature: Collection of Abstracts of the X All-Russian Scientific Conference (with International Participation) September 21–24, 2020*. Petrozavodsk, pp. 101–105 (in Russ.)] EDN: RTECYZ.

Каширина, В. В., 2013. Духовное письмо как жанр: на примере оптинского эпистолярия. *Православное книжное обозрение*, 7 (031), с. 58–67. [Kashirina, V. V., 2013. Spiritual writing as a genre: the example of the Optina epistolary. *Orthodox Book Review*, 7 (031), pp. 58–67 (in Russ.)].

Каширина, В. В., 2018. История подготовки к изданию «Лествицы» в переводе Оптиной пустыни. *Богословский вестник*, 4 (31), с. 239–260. [Kashirina, V. V., 2018. The history of preparation for the publication of “The Ladder” in the Optina Pustyn translation. *Theological Bulletin*, 4 (31), pp. 239–260 (in Russ.)] EDN: YPTVQD, <https://doi.org/10.31802/2500-1450-2018-31-4-239-260>.

Концевич, И. М., 2009. Оптина Пустынь и ее время. *Стяжание Духа Святого*. И. М. Концевич (сост.). М., с. 249–800. [Kontsevich, I. M., 2009. Optina Pustyn and its time. In: I. M. Kontsevich, ed. *Acquisition of the Holy Spirit*. Moscow, pp. 249–800 (in Russ.)].

Лосский, В. Н., 2007. Оптинские старцы. *На страже истины*. В. Н. Лосский (сост.). М., с. 22–91. [Losskiy, V. N., 2007. Optina Elders. In: V. N. Losskiy, ed. *On guard of the truth*. Moscow, pp. 22–91 (in Russ.)].

Ордина, О. И., 2003. *Феномен старчества в русской духовной культуре XIX века*: дис. ... канд. культурологии. Киров. [Ordina, O. I., 2003. *The Phenomenon of Eldership in Russian Spiritual Culture of the 19th Century*. PhD Dissertation. Kirov (in Russ.)] EDN: NMLIQJ.

Попова, Т. Г., 2024. Житие прп. Иоанна Лествичника в византийской и славяно-русской традициях (лингвотекстологический аспект). *Лествица в слове и образе. Иконография и агиография «Лествицы» Иоанна Синайского*. О. В. Губарева, Л. Г. Дорофеева, Т. Г. Попова (сост.). Калининград, с. 193–315. [Popova, T. G., 2024. The Life of St. John Climacus in the Byzantine and Slavic-Russian Traditions (Linguotextual Aspect). In: O. V. Gubareva, L. G. Dorofeeva and T. G. Popova, eds. *The ladder in word and image. Iconography and hagiography of the “Ladder” by John of Sinai*. Kaliningrad, pp. 193–315 (in Russ.)].



Смолина, А. Н., 2016. Духовное письмо как жанр русской словесности. *Мир науки, культуры, образования*, 2 (57), с. 384–387. [Smolina, A. N., 2016. Spiritual writing as a genre of Russian literature. *The world of science, culture, education*, 2 (57), pp. 384–387 (in Russ.)] EDN: VVNZVD.

Тихон (Агриков), архимандрит, 2011. *Преподобный Иоанн Лествичник как представитель восточного аскетизма*. М. [Tikhon (Agrikov), arkhimandrit, 2011. *Saint John Climacus as a representative of Eastern asceticism*. Moscow (in Russ.)].

Трифон (Туркестанов), митрополит, 1997. *Древнехристианские и Оптинские старцы: автореф. дис. ... канд. богосл. наук*. М. [Trifon (Turkestanov), mitropolit, 1997. *Ancient Christian and Optina elders*. PhD Thesis. Moscow (in Russ.)].

Хоружий, С. С., 2000. *О старом и новом*. СПб. [Khoruzhiy, S. S., 2000. *About the old and the new*. St. Petersburg (in Russ.)].

Шкуропацкая, М. Г., 2016. Духовное письмо как проявление синтеза искусственной и естественной форм письменно-речевой деятельности. *Естественная письменная русская речь: исследовательский и образовательный аспекты: Сборник научных трудов*. Часть V. Кемерово, с. 54–67. [Shkuropatskaya, M. G., 2016. Spiritual writing as a manifestation of the synthesis of artificial and natural forms of written speech activity. In: *Natural written Russian speech: research and educational aspects: Collection of scientific papers*. Part V. Kemerovo, pp. 54–67 (in Russ.)].

Экземплярский, В. И., 1992а. Старчество. *Православная община*, 2, с. 54–68. [Ekzemplarskiy, V. I., 1992. Eldership. *Orthodox community*, 2, pp. 54–68 (in Russ.)].

Экземплярский, В. И., 1992б. Старчество. *Православная община*, 3, с. 44–58. [Ekzemplarskiy, V. I., 1992. Eldership. *Orthodox community*, 3, pp. 44–58 (in Russ.)].

Список источников

Лествица... 1862 – *Лествица, возводящая на небо*, 1862. 1-е изд. М. [The Ladder to Heaven, 1862. 1st ed. Moscow (in Slavonic-Russ.)].

Лествица... 1994 – *Преподобного отца нашего Иоанна Лествичника. Лествица*, 1994. [Our Venerable Father John Climacus. Ladder, 1994. (in Russ.)].

Собрание писем Оптинского старца Амвросия: к 200-летию со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского, 2012. Козельск. [Collection of letters of the Optina elder Ambrose: for the 200th anniversary of the birth of St. Ambrose of Optina, 2012. Kozelsk (in Russ.)].

Об авторе

Людмила Григорьевна Дорофеева, доктор филологических наук, доцент, профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-3622-8379

SPIN-код РИНЦ: 9236-4963

E-mail: Lgdorofeeva@mail.ru

Для цитирования:

Дорофеева Л. Г. Мотивы «Лествицы» прп. Иоанна Синайского в духовных письмах прп. Амвросия Оптинского мирянам // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 54–70. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-4.





MOTIFS OF "THE LADDER" BY ST. JOHN CLIMACUS
IN THE SPIRITUAL LETTERS OF ST. AMBROSE
OF OPTINA TO THE LAITY

Lyudmila G. Dorofeeva

Immanuel Kant Baltic Federal University,
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia

Submitted on 24.07.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-4

The article undertakes a motif-based analysis of the semantic connections between "The Ladder" by St. John Climacus (St. John of Sinai) and the spiritual letters addressed to the laity by St. Ambrose of Optina. St. Ambrose took part in the preparation for the publication of the translation of "The Ladder" into Russian and Church Slavonic, carried out at Optina Pustyn in 1862. Quotations from "The Ladder", as well as references to the name of St. John Climacus, occur in twenty letters from the corpus of St. Ambrose's correspondence with the laity. The genre dominant of these letters is determined by the nature of the spiritual problems they address. As one of the principal forms of spiritual guidance offered by the elder to his followers, the letters reflect the ascetic experience of the Holy Fathers, which in turn shapes the motif structure of St. Ambrose's messages to individual recipients. Central to this guidance is the principle of gradualness – "the ladder" principle – which finds direct expression in the thematic organisation of the letters. The semantic field of the correspondence is grounded in the idea of spiritual struggle with the passions on the path toward the acquisition of virtues. Quotations from "The Ladder" cited in the letters consistently correspond to the elder's pastoral task: to identify a specific passion afflicting the addressee and to indicate the path toward liberation from it. The key motif is the struggle with pride, which, according to both St. Ambrose and St. John Climacus, can be overcome only through meekness. The constellation of motifs also corresponds to traditional hagiographic topoi of monastic life – temptation, self-will, struggle with demons – as well as to core virtues such as remembrance of death, prudence, wisdom, obedience, and repentance. Among these, meekness occupies a central position both in the spiritual letters of the elder and in "The Ladder", while love stands as the highest of all virtues. St. Ambrose does not merely illustrate his thoughts with direct quotations from "The Ladder"; rather, he frequently interprets and develops them, integrating their meanings into the broader context of the patristic tradition, to which the spiritual letters of the Optina elders themselves belong.

Keywords: motif, quote, spiritual letters, St. Ambrose of Optina, St. John Climacus, "The Ladder"

Acknowledgments. The research presented in this article was supported by the Russian Science Foundation under Grant №22-18-00005-P ("Iconography and Hagiography of the Ladder of John of Sinai").

The author

Prof. Lyudmila G. Dorofeeva, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-3622-8379

E-mail: Lgdorofeeva@mail.ru



To cite this article:

Dorofeeva, L. G., 2026, Motifs of “The Ladder” by St. John Climacus in the spiritual letters of St. Ambrose of Optina to the laity, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, №1, pp. 54–70. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-4.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

ЭКЗИСТЕНЦИЯ СТРАХА В РАССКАЗЕ «СТРАХ» А. П. ЧЕХОВА

В. Х. Гильманов, А. С. Косинская

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Россия, 236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14
Поступила в редакцию 14.06.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-5

Исследуется антиномичная природа экзистенции страха в творчестве Чехова. Методология работы основана на попытке синтеза положения «новой критики» о художественном тексте как самодостаточной структуре с «ненадежным рассказчиком» и изысканий в области когнитивной онтологии. Кроме того, в методологию работы включены концепции страха в творчестве Кьеркегора, Хайдеггера, Сартра, а также – в сравнительном модусе – христианское отношение к страху в святоотеческой традиции. Когнитивный подход к экзистенциалу страха в рассказе Чехова ставит проблему разрушения онтологических основ традиционной когнитивной архитектуры персонажей. Обоснован вывод о ее трансформации. Разрушение когнитивно максимального понятия о браке рассматривается как серьезный симптом онтологического нарушения, вызывающего, с одной стороны, усиление экзистенции страха в главном персонаже, а с другой – нарастание энтропийного безразличия в экзистенции других персонажей. Акцентируется антиномичность образа Гаврюши по прозвищу Сорок мучеников, представляющего как важнейший энтропийный фактор в рассказе, противодействующий погружению бытия в тотальность ужаса. Ставится проблема религиозных и нерелигиозных агентов, аффицирующих процессы кодирования, декодирования или перекодирования когнитивной структуры человека.

Ключевые слова: Бог, дьявол, когнитивная архитектура, нейросистема, страх, Чехов

Редактор предмета «Литература» на сайте Dzodzo.ru Александра Пронина в своеобразном соревновании «Кто быстрее?» рассказывает фабулу рассказа Чехова «Страх» за 5 секунд: «Приятель жалуется рассказчику, что жена его не любит. А рассказчик чувствует ее симпатию. Между ним и женой приятеля случается близость» (Пронина 2025). Даже это на первый взгляд невинное соревнование по Чехову достаточно убедительно демонстрирует правомерность развитой на стыке философии, физики, политики, эстетики и урбанизма критической теории современного французского мыслителя Поля Вирильо под названием «дромология». В основе этой теории то, что признается идеалом современной цивилизации, а именно – ускорение ускорения в быстродействии, быстровосприятии, быстромыслии, быстрочувствии и т. п. Вирильо отмечает, что дромологические эффекты ведут к фундаментальным трансформациям, однако не только в плане геометрической опти-



ки пространства-времени, но и в плане человеческой природы, так как в результате усиления быстрогодействия «технологических протезов» происходит не только совершенствование органов чувств, но и одно-временная их дисквалификация. Власть скорости ведет к «технологической кастрации» синестезии и, соответственно, к сложно контролируемым мутациям в когнитивной системе человека. Ставя диагноз «метафизический конфликт между реальным и виртуальным» (Вирилио 2002, с. 73) и рассуждая о драме отношения этих двух реальностей — драме, содержащей угрозу смерти и деструкции (Грищанов, Можейко 2001, с. 120), Вирильо не затрагивает проблему страха в своей теории о диктатуре скорости в ее связи с угрозой узурпации технологическими системами властных и управляющих функций в общественно-политических процессах. Возникает впечатление, что косвенно дромология констатирует одновременно технологическую кастрацию общечеловеческого инстинкта самосохранения, связанного в том числе со способностью испытывать страх, что, согласно теории трагедии Аристотеля, является одним из условий катарсиса.

По нашему убеждению, Чехов парадоксальным образом предвосхитил в своем творчестве дромологические угрозы из теории Вирильо, что нашло свое отражение во многих его произведениях, затронувших тему вхождения России послереформенного периода 1860–1890-х годов в новую для нее реальность капитализации и индустриализации. Эту трансформацию социально-экономического уклада России Чехов связывал не только с общественным прогрессом на основе науки и техники, сторонником которого он, без всякого сомнения, был, но и с нарастанием опасности убийства «бога живого человека» (Чехов 1974–1988, т. 7, с. 307) в динамике новой учености и нового хозяйствования, что нашло свое отражение, например, в таких рассказах, как «Скучная история» (1889) и «Случай из практики» (1898). Протагонист «Скучной истории», светило ученого мира, профессор медицины Николай Степаньч, подводя итог своей жизни, так размышляет о ней: «И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить... в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека» (Там же). А в рассказе «Случай из практики» врач Королев, глядя ночью на пять гигантских корпусов ткацкой фабрики, рассуждает так: «Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается, — это дьявол» (Там же, т. 10, с. 81). Уже в повествовательной структуре обоих рассказов Чехов проявляет то, что свидетельствует о загадочной антиномичности его



души и его творчества в поле напряжения между Богом и дьяволом. Видный советский литературовед Г. П. Бердников, не касаясь напряженную проблему веры в своей книге о Чехове, невольно затрагивает ее, однако, когда описывает полемику между Чеховым и А. С. Сувориным после выхода 1 апреля 1890 года рассказа «Черти» («Воры»). В негодующем письме к Чехову Суворин обвинил его в равнодушии к добру и злу и в отсутствии ясных идеалов и идей. «Разъясняя свою позицию Суворину, — пишет Бердников, — Чехов заметил, что форма короткого рассказа вынуждает его все время говорить и думать в тоне своих героев и *чувствовать в их духе*» (1974, с. 233; курсив наш. — В. Г., А. К.). Бердников и в дальнейшем ссылается на это объяснение Чехова Суворину, ставя читателя и исследователя перед проблемой духовной войны, объявленной дьяволом Богу через человека. Так, пребывая в «духе» нарратора Королева в «Случае из практики», автор пишет: «И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь» (Чехов 1974—1988, т. 10, с. 81—82). При этом Чехов никогда не высказывается однозначно по поводу своей веры в отношении Бога или дьявола, несмотря на то что в коротком «Случае из практики» лексема «дьявол» встречается восемь раз. В рассказе «В овраге» (1900) в разговоре со своей мачехой Варварой в ответ на ее замечание о том, что в торговом деле их семьи «уж очень народ обижаем... и на всем обман» и что перед Богом на том свете ответ держать придется, Анисим Цыбукин, сын хозяина дома, говорит: «...никто не станет разбирать... Бога-то ведь, все равно, нет, мамаша. Чего уж там разбирать!» А потом, вздохнув и смутившись, добавляет: «Бог, может, и есть, а только веры нет. Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запищала, и, пока меня венчали, я всё думал: есть Бог! А как вышел из церкви — и ничего. Да и откуда мне знать, есть Бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему приставлен. Папаша ведь тоже в Бога не верует» (Там же, с. 157).

В этом рассказе, по сюжету которого Анисим совершает уголовное преступление и, идя в каторгу, лишает всю семью защиты от злой участи будущего, Чехов изображает оплотнение дьявола в образе Аксиньи, жены беспомощного глухого брата Анисима. Описывая ее на свадьбе Анисима, дитя которого после его ухода на каторгу она убьет кипятком, автор открывает в ней «что-то змеиное»: «зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову» (Там же, с. 156). В исповедальной интонации Дневниковых записей от 1897 года Чехов пишет: «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, а он обыкновенно не знает ничего или очень мало...» (Там же, т. 17, с. 224). Комментируя веру Чехова, известный литературо-



вед А.П. Чудаков пишет: «Чеховская позиция — не колеблющаяся стрелка на заданной шкале, но множественность стрелок, указывающих на плоскости самые разные направления. Или еще резче: эта позиция находится, быть может, вообще в другой плоскости или в другом измерении» (Чудаков 1996). В каком? О парадоксе Чехова в отношении веры говорит и В.Б. Катаев: «Чехов пребывал в постоянном состоянии поиска, исканий настоящей правды. Но недостаточно остановиться на этой констатации. Нельзя представить Чехова как частицу, кружащуюся в броуновском движении между полюсами веры и атеизма. У Чехова были свои критерии соответствия или несоответствия настоящей правде... А "настоящая правда" в мире Чехова — это синоним понятия Бог. Так вот, по Чехову никто не знает настоящей правды. Можно сказать, что писатель всем своим творчеством изучает, как разные люди претендуют на знание настоящей правды. Но у него оказывается, что ее никто не знает» (Катаев 2015).

Можно ли все-таки вычитать из произведений Чехова «знание настоящей правды», несмотря на отмеченную многими загадочность его творчества? Тайна Чехова до сих пор сохраняется, учитывая, в частности, неисчислимое количество попыток разобраться в его правде, прежде всего в том, что касается глубинной точки зрения его загадочных произведений, да и самой судьбы (Зайцев 2018). Вряд ли возможно обоснованно утверждать, что при всей своей рациональной трезвости и реалистичности Чехов может быть причислен к направлению только социально-критического реализма, согласно которому в феноменологии художественного мира отчетливо присутствует исходная осознанная интенциональность авторского сознания, объективируемая в параметрах соответствующего художественного метода. Чехов загадочен не только для читателя, но и для себя, и, по нашему мнению, точка зрения, реализуемая в его текстах, репрезентирует такой способ существования произведения, который ближе всего к концепции Генри Джеймса в его эссе «Искусство прозы».

Джеймс — сложная, безусловно великая и при этом тоже загадочная фигура не только для англо-американского, но и для мирового литературного процесса. С нашей точки зрения, эта загадочность роднит его с Чеховым, особенно в поэтике «ненадежного рассказчика». В общей тематике экзистенции страха отметим повесть Джеймса «Зверь в чаше» (1903), главный герой которой, Джон Марчер, всю жизнь проводит в иррациональном страхе катастрофы и избегает из-за этого близости с другими людьми. У его страха нет конкретной причины — он просто уверен, что с ним случится что-то ужасное, и называет эту угрозу «зверем». Самый известный текст Джеймса — готическая новелла «Поворот винта» (1898), которую многие до сих пор оценивают как одно из самых загадочных и страшных произведений в мировой литературе. Обращаясь к жанру мистического рассказа о привидениях, Джеймс использует прием «ненадежного рассказчика», ведущего повествование на грани «потока сознания», и вводит читателя в атмосферу ужаса, тщательно описывая динамику внутренней экзистенции нарратора.



В эссе «Искусство прозы» (1884) Джеймс настаивает на том, что, выбирая ту или иную точку зрения, автор создает в то же время загадочную повествовательную дистанцию по отношению к ней, позволяющую повествованию жить своей внутренней жизнью без какой-либо заранее предпосланной авторской оценки. Рассуждая о происхождении замыслов произведений писателей, Джеймс пишет, что «они — дыхание жизни; сама жизнь делает их нашим достоянием. Она доносит их до нас своим течением, согласно собственным законам» (Джеймс 1982, с. 150). При таком подходе в нарративной структуре произведения как «дыхания жизни» помимо многоголосия персонажей присутствует еще один — как правило, загадочный — голос, конституирующий произведение как онтологический акт проявления скрытой самодостаточной структуры в ее внутренней судьбе. Такую структуру можно было бы назвать в религиозно-философском плане «софийной душой» мира (В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков), в феноменологическом — «живым миром» (Э. Гуссерль), в экзистенциалистском — «бытием» (М. Хайдеггер), в когнитивно-психологическом — «интуитивной онтологией», в метафорике психоанализа З. Фрейда — «собственным домом». По выражению Фрейда, его психоанализ — «третье величайшее унижение» в истории человечества после Коперника и Дарвина — показывает, что человек больше «не является хозяином в собственном доме» (Фрейд 1999, с. 241). Эта метафора довольно точно соответствует общей точке зрения в художественном мире Чехова, где герои пребывают в нарастающей космической бездомности, в которой ощущается молчание двух вечных вселенных — внешнего макромира и внутреннего микромира. В этой бездомности по причине беспомощности персонажей гибнут топоры жизни — Сад или Лес, как в рассказе «Черный монах» или в комедии «Вишневый сад», а вместе с ними и герои, как, например, Треплев в «Чайке».

Проблема смерти как проблема сюжета у Чехова максимально обострена. При сравнении с точкой зрения Ю. М. Лотмана, высказанной в его статье «Смерть как проблема сюжета», о том, что Пушкин вносит в свое искусство «недисCRETность жизни» (1994, с. 418; курсив наш. — В. Г., А. К.), напрашивается вывод, что Чехов вносит или вынужден вносить в свою прозу «недисCRETность смерти», «танатологического актанта», разрушающего сущностные структуры бытия. Понятие недисCRETности у Лотмана связано с понятием «сегментации недисCRETного пространства» (Там же, с. 417), проводимой благодаря когнитивной способности осмысленного поведения. У Чехова эта способность или совсем утрачена, или сильно ослаблена по причине того, что в своей космической бездомности поведение персонажей оказывается функцией от нуминозного агенса «недисCRETности смерти», являющегося одновременно актантом смыслопорождения на глубинном уровне нарративной структуры прозы Чехова. На верхнем уровне повествовательной манифестации этот актант нередко выступает как актер, то есть в функции персонажа, как правило, загадочного, как, например, Прохожий во втором действии пьесы «Вишневый сад» или Черный монах в одноименном рассказе.



Есть такой актер, однако, в обратной противоположности к актерам смерти, и в «рождественском», по слову самого Чехова (Чехов 1974 — 1988, т. 8, с. 464), рассказе «Страх», опубликованном впервые 25 декабря 1892 года в газете «Новое время». Этим актером, знаменующим сопротивление «недискретности смерти», выступает в рассказе «Гаврила Северов, или попросту Гаврюша», получивший «в уезде довольно странное прозвище: Сорок Мучеников» (Там же, с. 128). Трудно сказать, насколько осознанным было для Чехова включение в нарративную структуру рассказа мотива Сорока мучеников, заданного в «странном прозвище» Гаврилы Северова, подвиг которых Церковь вспоминает 22 марта. Житие и мученичество Сорока мучеников Севастийских оставило глубокий след в истории веры. Когда в 313 году Константин Великий дал христианам свободу, его соправитель Ликиний, убежденный язычник, готовился предать Константина и стать единоличным императором Рима. В городе Севастии в той части империи, где правил Ликиний, под началом язычника Агриколая находилось воинское соединение из сорока воинов-христиан, прославленных многими победами. В 320 году Агриколай попытался заставить их принести жертву языческим богам, но те отказались, за что были брошены в тюрьму. Там воины молились Христу, и было им откровение, что «претерпевший до конца, тот спасен будет». Суду Агриколая воины-христиане отвечали твердо: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». В морозный зимний день мучеников оставили под стражей обнаженными на льду озера, а рядом растопили баню, чтобы в смертной агонии воины отреклись от Христа и променяли Его на тепло... Но лишь один из страдальцев не выдержал и побежал к бане — и тут же упал перед ней замертво. Под утро один из охранников, проснувшись, увидел сияющие нимбы над головами каждого из тридцати девяти христиан. Воскликнув «И я — христианин!», он встал рядом с воинами-мучениками. Утром их вывели из озера, перебили ноги, а затем отвезли к костру и предали огню (Информационный портал... web).

Причина, по которой Гаврюша — «лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и такую же беспутною, как он сам» (Чехов 1974—1988, т. 8, с. 128) — был так прозван, остается загадочной не только для читателя, но, как мы полагаем, и для самого Чехова. Старший брат Чехова Александр П. Чехов в одном из писем высказывает предположение, что Чехов использовал прозвище какого-то реального лица, а не выдумал этого персонажа (Там же, с. 464). В свете рабочей гипотезы нашей работы именно Гаврюша может быть выбран в качестве герменевтического ключа к пониманию той точки зрения в рассказе, которая свидетельствует об опасности разрушения сущностной структуры российского космоса в противоречивой динамике предреволюционной жизни России. С другой стороны, подобный предварительный вывод не означает, однако, что эта динамика оказалась в силах аннигилировать духовно-культурный код российской культуры-цивилизации. По нашему убеждению, это доказывает и само творчество Чехова, кодированное при всей трагической антиномичности его прозы и драматур-



гии не обнуляющим скепсисом, но потаенным настроением ожидания. С учетом теории точки зрения Г. Джеймса это ожидание будущего воскресения в исторической судьбе России отразилось и в том, что Гаврюша, образ которого отмечен многими чертами народного психотипа времени Чехова, получил прозвище Севастийских воинов-христиан.

Еще одним поводом для подобного вывода является и специфика экзистенции страха в рассказе Чехова. У страха давняя история его изучения и его влияния на мир человека (Гагарин 2001). Из обширного поля изучения категории страха укажем на те концепции, которые, по нашему мнению, наиболее близки к экзистенции страха в рассказе Чехова: это прежде всего С. Кьеркегор, М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр. Отметим в начале, что уже в теории трагедии Аристотеля страх в сочетании с состраданием есть условие катарсиса, то есть очищения от губительных страстей (Аристотель 1984, с. 651). Страх – важнейшее понятие в экзистенциализме Кьеркегора. В главе под названием «Страх как следствие того греха, который является отсутствием сознания греха» в трактате «Понятие страха» Кьеркегор рассматривает страх в той его разновидности, в которой отсутствует причинная предметность. Однако такой страх выступает в качестве решающей силы в обращении человека к христианству, так как он порождается бессознательным ощущением греха временности, или смертности (1993, с. 187–188). Подобная экзистенция может быть рассмотрена как нарушение симметрии между сущностной структурой человека как «образа Божия» и его функциональным состоянием как «неподобием», искажением этого образа.

К этой точке зрения, хотя и в дискурсе атеистического экзистенциализма, близок Хайдеггер. Кьеркегорово понятие страха уточняется у него понятием «ужас». «Ужас перед чем-то, – пишет Хайдеггер, – есть всегда ужас от чего-то, но не от этой вот определенной угрозы. И неопределенность того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть не просто недостаток неопределенности, а принципиальная невозможность что бы то ни было определить» (1993, с. 21). Формы экзистенции страха у Сартра, тесно связанные с парадоксальным переживанием смерти, одиночества и свободы, выразительно представлены в работе А. Р. Бурханова. Цитируя, в частности, Рокантена, героя романа «Тошнота» Сартра, он пишет: «Одиночество экзистенциального героя абсолютно и губительно: в присутствии других, в толпе, на празднике – везде он чувствует себя изгоем. Экзистирующий герой выпадает из повседневности, что неизбежно вызывает у него скуку, тошноту, отвращение, страх и другие формы отрицания мира» (Бурханов 2011, с. 45).

При когнитивном подходе к страху очевидно, что с точки зрения теории модулярности сознания переживание страха обусловлено действием соответствующего модуля в нейросистеме мозга. При попытке включения проблемы страха в когнитивное религиозоведение представляется оправданным применить топологический подход к мозгу, в свете которого мозг как материальный субстрат сознания есть сведенная в сингулярность человеческой телесности Вселенная, что является условием коммуникативно-функционального со-бытия божественного и человеческого. Его нарушение есть причина страха в религиозном по-



нимании. Отсутствие страха в христианском экзистенциализме есть симптом нарушения главного условия существования мира — диалога между Богом и человеком. В Ветхом Завете страх Божий — одна из главных категорий: «начало премудрости — страх Господень» (Пс. 110: 9). Исаак Сириянин пишет: «Страх понуждает нас к покаянию... Покаяние есть корабль, а страх его кормчий» (цит. по: Хоружий 1998, с. 69). Страх в сретении с мотивом смерти входит в структуру покаяния, образуя особый категориальный комплекс «онтологической открытости» Богу того человека, у которого еще не разрушена его сущностная структура как «образа Божия». Поэтому страх сопряжен в этой онтологической психологии не просто с боязнью наказания, как, например, у Ефрема Сирина: «Поплачь немного здесь, чтобы не плакать там во веки веков во тьме кромешной. Будь благораскаян здесь, чтобы там тебе не быть ввергнутому в неугасимый огонь» (цит. по: Там же, с. 68). У того же Ефрема, однако, доказано, что страх и покаяние суть путь возвращения человеку его изначальной онтологической открытости к диалогу с Богом, поэтому исходный акт в экзистенции страха — не боязнь, а любовь. Это вполне в духе Исаака Сирина, который пишет: «Бойся Бога из любви к Нему, а не по грозному Его имени» (цит. по: Там же, с. 69). Будучи началом пути к причастности онтологии спасения, страх Божий сменяется в аскетическом опыте истинной верой и любовью, потому как «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4: 18).

Экзистенциально-онтологическая мотивика страха в разных эпистемах и когнитивных комплексах имеет в целом общий знаменатель, который сводим к состоянию переживания нарушенных симметрий — онтологической, когнитивной, психологической, праксиологической, то есть того, что свидетельствует о нарушении связи между сущностной структурой человеческой природы и структурой бытия. С акцентом на христианскую онтологию, в которой бытие, или Сущее, есть «путь, истина и жизнь» (Ин. 14: 6), С.С. Хоружий характеризует это состояние следующим образом: «Страх же перед Сущим — тревожное состояние своей не-сущности или ничтожной сущности, бытийной “подвешенности”: сознание того, что я, хоть как будто бы тоже существую, однако безмерно и непостижимо далек от Сущего» (Там же, с. 70).

В плане когнитивной онтологии страх может рассматриваться как экзистенциально-эмотивная реакция на переход из одного онтологического модуса в другой. В рассказе Чехова этот переход фиксируется в когнитивной системе Дмитрия Петровича Силина как онтологическое нарушение, переживаемое им в экзистенции страха, в то время как его супруга Мария Сергеевна, перманентно пребывая в экзистенции скуки, бессознательно смиряется с этим переходом, принимая его как новую онтологическую норму. Об этом свидетельствует ее спокойная измена мужу с рассказчиком: когнитивно максимальное понятие супружеской верности в браке разрушается несмотря на то, что, выходя замуж за нелюбимого ей человека, Мария Сергеевна сказала ему: «Я вас не люблю, но буду вам верна» (Чехов 1974–1988, т. 8, с. 133).

Мы свидетели генезиса какой-то новой и загадочной реальности, в которой, в частности с точки зрения когнитологии, происходит пере-



структурирование традиционной когнитивной архитектоники, переформатирование модулярности сознания, что переживается Силиным как «болезнь жизни». Причин этой болезни он не понимает, в чем исповедуется тому, кого считает своим единственным другом и кто в конечном итоге соблазнит его жену, открытую для этого соблазна: «Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни... изо дня в день я отравляю себя страхом... я болен болезнью жизни» (Там же, с. 131). Страх, как и любой другой экзистенциал, имеет энергийно-информационную природу, будучи производным от какого-то исходного кода экзистировавшей системы, в терминах когнитивной науки — от какого-то когнитивного модуля в нейросистеме сознания. Когнитивная природа страха (а когнитология имеет дело прежде всего с информацией и энергией) обязывает исследователя обратиться к проблеме нейродинамики, рассматривая страх не только как экзистенциал, но и как нейродинамическую реакцию, как квантовую флуктуацию из среды системного кода, как кодовое действие, призывающее систему на устранение причины страха. Экзистенция страха — сигнал синхронистической гомологии той модулярности сознания, сущностная структура которой еще не перекодирована. Гомология показывает, как структура влияет на функции системы: страх — гомологическая функция от начавшейся деформации исходной структуры.

Силин, проявляя отсутствие необходимой силы ума и чувства, не понимает причины своего страха и не находит возможности ее устранения, о чем свидетельствует и финал рассказа. Но эта причина обусловлена опасностью разрушения сущностного кода универсальной логосной структуры не только человека, но и бытия в целом, что занимает в последнее время многих исследователей. Рассказчик также чувствует это, переживая не только вину перед Силиным и соблазненной женщиной, но и перед всей природой. В финале он пишет: «Страх Дмитрия Петровича... сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают» (Там же, с. 138).

Понятие сущностной структуры коррелирует с понятием пропозиции в логике, то есть ставит нас перед проблемой предиката, или пропозициональной функции, имманентной синхронистическому состоянию когнитивной системы экзистировавшего субъекта. В дискурсе рассказа страх — это онтологический предикат, связанный с тем агентивным аргументом, который не поддается прямому определению. Он загадочен и пугающе анонимен, но экзистенция страха свидетельствует о его перформативной силе, способной разрушить исходную пропозицию когнитивной системы и ввергнуть субъекта в динамику когнитивного коллапса, нарушающего логику мыслительных процессов в асимметрии бытия и сознания. «Зачем я это сделал? — спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. — Почему вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего это нужно было?..» — размышляет рассказчик, не находя ответа (Там же).

В отличие от гомологии, которая показывает, как структура влияет на функции системы, аналогия демонстрирует, как функция влияет на



структуру. В рассказе Чехова отражена опасность ее деградации по причине перекодировки исходного кода вплоть до опасности онтологического трансцензуса системы в антисистему, человека в античеловека. Уникальность функционального стиля прозы Чехова в том, что ему на экзистенциально-лингвистическом уровне присуща симптоматика этого перекодирования. «Энергия» (В. Гумбольдт) повествовательной структуры его произведений, включая композиционно-семантический план и образные характеристики, указывает на то, какой Дух пытается прорваться в «дом бытия» русского космоса. Этот Дух объективирует себя в пораженных энтропией микронарративах персонажей чеховских произведений, когда Николай Степаныч в «Скучной истории» отвечает «Не знаю» на мольбу своей воспитанницы «Что мне делать?» (Там же, т. 7, с. 309). Этот Дух побуждает Трешлева убить чайку и себя. Этот Дух губит сады русского мира, как в повести «Черный монах» или в комедии «Вишневый сад». Одно из губительных последствий вторжения этого Духа состоит в том, что он стремится разрушить иммунологию всей системы, заключенную в ее исходном коде.

Трудно не распознать присутствие этого Духа и в нарративной пневмосфере рассказа «Страх», однако, подобно и другим произведениям, его губительная сила не достигает предела окончательного эсхатологического убийства экзистенциального кванта Надежды, несмотря на скрытую и парадоксальную основу этого экзистенциала. Однако, как уже было отмечено выше, тотальное господство и напряжение экзистенции страха в хронотопе рассказа снимается наличием в его композиции христианского метахронотопа, персонифицированного в антиномичном образе Сорока Мучеников, которому, несмотря на его «пропойную» репутацию, Дмитрий Петрович «являет божескую милость» (Там же, т. 8, с. 133), взяв к себе в работники и спасая тем самым от голода. Сорок Мучеников, подобно Дмитрию Петровичу, мучим жизнью, которой он в ночной сырости темного сада ставит схожий с ним диагноз: «Ну, жизнь! Несчастливая, горькая жизнь!» (Там же, с. 137). Но, в отличие от протагониста рассказа Силина, Сорок Мучеников не позволяет этой жизни окунуться в экзистенцию парализующего Ужаса, который настигает обманутого другом и женой Дмитрия Петровича. В первом варианте рассказа, опубликованном в газете «Новое время» (1892), он, узнав правду, «сел в тарантас... со странным выражением» (Там же, с. 138). В более позднем издании в сборнике «Палата №6» (1893) — «со странным выражением ужаса» (Там же, с. 365). Антидотом против ужаса является для Сорока Мучеников не только известное средство русского народа, спасающегося от «тесного круга лжи» (Там же, с. 131) водкой, но и сознание своей греховности, «за которую должен дать ответ всемогущему Богу» (Там же, с. 129). В «Дневнике писателя» Достоевский пишет: «...мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой... Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства» (1989, с. 64). Сорок Мучеников вырывается из круга ужаса благодаря тому, о чем писал Достоевский, размышляя о «сердечном знании Христа» в



русском народе: «Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующих Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно» (Там же, с. 63). Сорок Мучеников соответствует этой характеристике Достоевского, и, видимо, то же самое чувствовал Чехов, когда включил этот образ в систему персонажей рассказа. «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит громадное поле...» (Чехов 1974–1988, т. 17, с. 224). Между «тесным кругом лжи», в котором пребывают главные герои, и другой крайностью, в которой пребывает Сорок Мучеников, «лежит громадное поле». «Русский пьяница любит пить с горя и плакать» (Достоевский 1989, с. 62)

О, но для него «есть Бог», а те, кто по ту сторону поля, «господа порядочны... но что-то скрыли, солгали Святому Духу». Это – в «Записной книжке» Чехова (1974–1988, т. 17, с. 212). Несмотря на разность художественных систем и неоднозначное отношение «к вкусу Достоевского», Чехов оказывается в примечательной близости к нему, что можно объяснить общностью той «высшей точки зрения» (Бердников 1974, с. 217), которая характеризует онтологический статус литературно-художественного процесса в России. На эту близость указывает, например, и выдающийся учитель Ю. А. Халфин (2019), подчеркивая в своей статье в журнале «Литература», что к подобному выводу подвигли его в том числе и размышления его учеников. О «неочевидных смысловых структурах», создающих общее смысловое сродство Достоевского и Чехова, пишет в своей книге и Л. В. Карасев: «Достоевский и Чехов оказались рядом не потому, что их объединяют какая-то общая идея или стилистические особенности. Объединение этих двух очень разных авторов в одной книжке продиктовано издательской необходимостью и как раз показывает, насколько они непохожи друг на друга. Что же касается “общего”, то им являются так называемые “неочевидные смысловые структуры”, которые обнаруживаются в текстах Достоевского и Чехова» (2016, с. 7).

В попытке междисциплинарной модернизации в свете Общей теории систем, которую пытается в своем подходе к Чехову использовать Вера Зубарева (2014), Сорок Мучеников можно охарактеризовать как эктропийный фактор в системе, которой грозит опасность погружения в энтропию термодинамической закрытости. В свете современных поисков в когнитологии Сорок Мучеников можно рассматривать как актора в нарративной структуре рассказа «Страх», что свидетельствует в пользу продуктивности того подхода в когнитивной лингвистике, который направлен на более интенсивное изучение проблемы недискретности в языке, поставленной в изысканиях А. А. Кибрика и включенной в список проектов Института языкознания РАН (Кибрик 2025).

В творчестве Чехова проблема недискретности решается в антиномии противостояния двух недискретностей – «недискретности смерти» с ее энтропийной природой и «недискретности жизни» с ее эктропийной сущностью. Представляется, что эта антиномия так и остается



неразрешимой для Чехова до конца на уровне его самосознания, о чем свидетельствует, например, то, что он не включил в рассказ «Три года» следующие слова, намеченные им в «Записной книжке 1» для одного из персонажей: «Он пишет о “русской душе”. Этой душе присущ идеализм в высшей степени. Пусть западник не верит в чудо, сверхъестественное, но он не должен дерзнуть разрушать веру в русской душе, так как это идеализм, которому [суждено] предопределено спасти Европу» (Чехов 1974–1988, т. 17, с. 22). Чехов-мыслитель верил больше в философию прогресса, чем в догмат о Божественном Промысле в истории, о чем, основываясь на документах, обоснованно пишет А. В. Блинова, цитируя письмо Чехова к С. П. Дягилеву от 30 декабря 1902 года: «Теперьшняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога — т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре»; «это, — заключает А. В. Блинова, — можно считать своеобразным заветом писателя» (2018, с. 32). По нашему убеждению, заветом не писателя Чехова, а честного гражданина, земского врача, публициста и общественного деятеля Чехова — но не писателя. И это по той причине, что Чехов-писатель есть в конечном итоге, как и Пушкин, Достоевский и другие гении России, функция от той «высшей точки зрения», о которой он, например, пытается рассуждать в уже упомянутом письме Суворину, отвечая на его упреки по поводу рассказа «Черти» («Воры»). Горький пишет в своей статье о рассказе Чехова «В враге»: «Все чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их неуменье жить, все красивее светит в них сострадание к людям и — это главное! — звучит что-то простое, сильное, примиряющее всех и вся. Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика и грабителя-лавочника, всех, кого она коснется. “Понять — значит простить”, — это давно сказано и, это сказано верно. Чехов понимает и говорит — простите! И еще говорит — помогите! Помогите жить людям, помогайте друг другу!..» (Горький 1900). В ноябре 1901 года Горький, находясь в Крыму и часто встречаясь с Чеховым, писал В. А. Поссе: «А. П. Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: “Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного”» (Горький 1901).

Кто — это? Другой, строгий и честный? С точки зрения таинства слова, не только молитвенного, но и художественного, этим Другим, Который прочтет каждое слово и каждую Книгу судьбы, является Христос. Вряд ли Чехов думал об этом, но в духовном осознании своего таланта понимал, как важно не солгать перед лицом Времени и Жизни. И перед нами — читателями! «Не обманываю ли я читателя, не зная, как ответить на важнейшие вопросы?» — эти слова Чехова особенно часто повторяют писатели. Известно, например, как они поразили Томаса Манна. Глубокое основание экзистенции страха в творчестве и судьбе Чехова связано именно с этим страхом — не солгать ни Духу Святому, как об этом в «Записной книжке», ни читателю, ни самому



себе. В нарративной структуре чеховских произведений ложь предстает как главная энергия дьявола, которая ведет к перерождению человека, к утрате его истинной сущностной структуры. В письме А. С. Суворину от 27 декабря 1889 года о романе П. Бурже «Ученик» Чехов пишет, что Бурже и ему подобные литераторы «третируют с высоты писательского величия совесть, свободу, любовь, честь, нравственность, вселяя в толпу уверенность, что все это, что сдерживает в ней зверя и отличает ее от собаки и что добыто путем вековой борьбы с природою, легко может быть дискредитировано “опытами”, если не теперь, то в будущем. Неужели подобные авторы “заставляют искать лучшего, заставляют думать и признавать, что скверное действительно скверно”? Неужели они заставляют “обновляться”? Нет, они заставляют Францию вырождаться, а в России они помогают дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами» (Чехов 1974–1988, Письма, т. 3, с. 308–309).

Поэтому, вспоминая сегодня Чехова, нам важно обрести особое мужество честности как перед самими собой, так и перед историей и, возможно, по-настоящему испугаться того, как легко не заметить дьявола, стремящегося овладеть нашими душами. Как не заметили, например, идеалист-интеллигент Лаевский и дарвинист-зоолог фон Корен, которого, по слову Самолейко, «немцы испортили» (Чехов 1974–1988, т. 7, с. 411), в рассказе «Дуэль»: во взаимной ненависти к друг другу они подошли к последней границе самоуничтожения. И только крик смешливого православного диакона спас их обоих «от величайшего из врагов человеческих» (Там же, с. 453), особенно Лаевского, осознавшего на этой границе страха перед смертью, что вся его жизнь была ложью.

Может быть, прочитывая рассказ Чехова «Страх» не за пять секунд, надо пережить то, что в своем парадоксальном переживании почувствовал рассказчик, глядя в ночном саду на «тощее, согнутое тело» Сорока Мучеников и слушая его «тяжелые, хриплые вздохи»: «Я вспомнил еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния» (Там же, т. 8, с. 137). Это — парадоксальный страх перед «сладострастием ада», в котором уже находился рассказчик. И этот страх не уберет его от соблазна измены другу и от восторга обладания его женой. И только потом, пустившись в бегство, он стал понимать всю глубину ужаса того «блаженного состояния», который побудил его окончательно разрушить две судьбы — Марии Сергеевны, умолявшей увезти ее, и Дмитрия Петровича, искавшего у него помощи в обстоятельствах, заключивших его жизнь «в тесный круг лжи» (Там же, с. 131). Драма прошедшей ночи побудила рассказчика к осознанию своей вины в создании этого «тесного круга лжи», что в конечном счете означает несвободу от дьявола. И поэтому рассказчик вряд ли серьезно отнесся, по его словам, к «пьяному вздору» Сорока Мучеников, который вез его в коляске на станцию и, сидя на козлах, кричал: «Я человек вольный!.. Эй, вы, малиновые!» (Там же, с. 138). И все же что-то в нем стало меняться: несмотря на то что «страх и трепет» (Кьеркегор) еще не подвигли его к истинной христианской вере, взгляд его упал «в зияющую бездну», и в пережива-



нии состояния, сравнимого с головокружением (Кьеркегор 1993, с. 160), ему «было странно и страшно» (Чехов 1974–1988, т. 8, с. 138) от того, что совершил.

Список литературы

Аристотель, 1984. Поэтика. *Сочинения в 4 т.* Т. 4. М., с. 645–680. [Aristotle, 1984. *Poetics*. In: *Essays in 4 volumes*. Vol. 4. Moscow (in Russ.).]

Бердников, Г. П., 1974. *Чехов*. М., 512 с. [Berdnikov, G. P., 1974. *Chekhov*. Moscow (in Russ.).]

Блинова, А. В., 2018. Ф. М. Достоевский в восприятии А. П. Чехова-читателя. *Вопросы русской литературы*, 1, с. 24–36. [Blinova, A. V., 2018. F. M. Dostoevsky in the perception of A. P. Chekhov as the reader. *Issues in the Russian literature*, 1, pp. 24–36 (in Russ.)] EDN: MHBZUG.

Бурханов, А. Р., 2011. Жан-Поль Сартр об экзистенциалах человеческого бытия. *Вестник Бурятского государственного университета*, 14, с. 42–47. [Burkhanov, A. R., 2011. Jean-Paul Sartre on the Existentials of Human Being. *Bulletin of the Buryat State University*, 14, pp. 42–47 (in Russ.)] EDN: OMSFVT.

Вирилио, П., 2002. *Информационная бомба: Стратегия обмана*. Перевод И. Окунева. М., 185 с. [Virilio, P., 2002. *Information bomb: A strategy of deception*. Translated by I. Okuneva. Moscow, 185 p. (in Russ.).]

Гагарин, А. С., 2001. *Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От Античности до Нового времени*. Екатеринбург, 372 с. [Gagarin, A. S., 2001. *Existential Aspects of Human Being: Loneliness, Death, and Fear. From Antiquity to the Modern Era*. Ekaterinburg, 372 p. (in Russ.).]

Горький, М., 1900. По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». *Нижегородский листок* (Литературные заметки), 30 янв., с. 2. URL: <http://nnov.ngounb.ru/node/19943> (дата обращения: 29.07.2025). [Gorky, M., 1900. Regarding A. P. Chekhov's new story "In the Ravine". *Nizhny Novgorod leaflet (Literary notes)*, Jan. 30, p. 2. Available at: <http://nnov.ngounb.ru/node/19943> [Accessed 29 July 2025] (in Russ.).]

Горький, М., Поссе, В. А., 1901. Письма. (Ноябрь, после 14 [27], 1901, Олеиз). URL: <https://gorkiy-lit.ru/gorkiy/pisma/pismo-174.htm> (дата обращения: 29.07.2025). [Gorky, M. and Posse, V. A., 1901. *Letters*. (November, after 14 [27], 1901). Available at: <https://gorkiy-lit.ru/gorkiy/pisma/pismo-174.htm> [Accessed 29 July 2025] (in Russ.).]

Грицанов, А. А., Можейко, М. А., сост., 2001. Вирилио. *Постмодернизм. Энциклопедия*. М., с. 118–121. [Gritsanov, A. A. and Mozheyko, M. A., eds., 2001. Virilio. In: *Postmodernism. Encyclopedia*. Moscow, pp. 118–121 (in Russ.).]

Джеймс, Г., 1982. Искусство прозы. *Писатели США о литературе: в 2 томах*. Том 1. А. Н. Николокин (сост.). М., с. 127–164. [James, G., 1982. *The Art of Prose*. In: A. N. Nikol'yukin, ed. *American Writers on Literature: in 2 Volumes*. Vol. 1. Moscow, pp. 127–164 (in Russ.).]

Достоевский, Ф. М., 1989. *Дневник писателя: Избранные страницы*. М., 557 с. [Dostoevsky, F. M., 1989. *Writer's Diary: Selected Pages*. Moscow, 557 p. (in Russ.).]

Зайцев, В. С., 2018. Для кого писал А. П. Чехов? Истинное и ложное в актуализации классики. *Обсерватория культуры*, 15 (4), с. 502–510. [Zaitsev, V. S., 2018. Whom did Anton Chekhov write for? The False and Truth in Classics Actualization. *Observatory of Culture*, 15 (4), pp. 502–510 (in Russ.)] EDN: YLGKWT, <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2018-15-4-502-511>.



Зубарева, В., 2014. Чеховская комедия нового типа в свете теории предрасположенностей. *Новый филологический вестник*, 3 (30), с. 8–22. [Zubareva, V., 2014. Chekhov's Comedy of a New Type in the Light of Predispositioning Theory. *The New Philological Bulletin*, 3 (30), pp. 8–22 (in Russ.)] EDN: TECZYZ.

Информационный портал Братской епархии РПЦ. Сорок севастиийских мучеников. URL: <https://pravbratsk.ru/sorok-sevastijskih-muchenikov-2/> (дата обращения: 29.07.2025). [Information portal of the Fraternal Diocese of the Russian Orthodox Church. *Forty Martyrs of Sebaste*. Available at: <https://pravbratsk.ru/sorok-sevastijskih-muchenikov-2/> [Accessed 29 July 2025] (in Russ.)].

Карасев, Л. В., 2016. Достоевский и Чехов. Неочевидные смысловые структуры. М., 335 с. [Karasev, L. V., 2016. *Dostoevsky and Chekhov. Non-obvious semantic structures*. Moscow, 335 p. (in Russ.)].

Катаев, В. Б., 2015. Чем неверующий Чехов интересен христианину. (Беседа с доктором филологических наук, заведующим кафедрой истории русской литературы филологического факультета МГУ, председателем Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры РАН Владимиром Борисовичем Катаевым, интервьюер Пущаев Юрий). *Фома*, 2 (142). URL: <https://foma.ru/chem-neveruyushhiy-chehov-interesen-hristianinu> (дата обращения: 29.07.2025). [Kataev, V. B., 2015. What makes Chekhov, an unbeliever, interesting to a Christian. (Interview with Vladimir Borisovich Kataev, Doctor of Philology, Head of the Department of Russian Literature History at the Faculty of Philology at Moscow State University, Chairman of the Chekhov Commission of the Council for the History of World Culture of the Russian Academy of Sciences, and Yuri Pushchaev, interviewer). *Foma*, 2 (142). Available at: <https://foma.ru/chem-neveruyushhiy-chehov-interesen-hristianinu> [Accessed 29 July 2025] (in Russ.)].

Кибрик, А. А., 2013. Недискретность в языке. *PostНаука*. URL: <https://postnauka.org/video/20877> (дата обращения: 29.07.2025). [Kibrik, A. A., 2013. Non-discreteness in Language. *PostNauka*. Available at: <https://postnauka.org/video/20877> [Accessed 29 July 2025] (in Russ.)].

Кьеркегор, С., 1993. Понятие страха. *Страх и трепет*. М., с. 115–248. [Kierkegaard, S., 1993. The Concept of Fear. In: S. Kierkegaard, ed. *Fear and Trembling*. Moscow (in Russ.)].

Лотман, Ю. М., 1994. Смерть как проблема сюжета. Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., с. 417–430. [Lotman, Yu. M., 1994. *Death as a Plot Problem*. Yu. M. Lotman and the Tartu-Moscow Semiotics School. Moscow, pp. 417–430 (in Russ.)].

Пронина, А. А., 2025. Страх (А. П. Чехов). Очень краткое содержание. URL: <https://dzodzo.ru/short/strah-a-p-chehov-ochen-kratkoe-soderzhanie/> (дата обращения: 29.07.2025). [Pronina, A. A., 2025. *Fear (A. P. Chekhov)*. Very brief summary. Available at: <https://dzodzo.ru/short/strah-a-p-chehov-ochen-kratkoe-soderzhanie/> [Accessed 29 July 2025] (in Russ.)].

Фрейд, З., 1999. Трудность на пути психоанализа. Основные психологические теории в психоанализе. *Очерк истории психоанализа*. СПб., с. 232–241. [Freud, S., 1998. Difficulties in the Path of Psychoanalysis. In: S. Freud, ed. *Basic Psychological Theories in Psychoanalysis. An essay on the history of psychoanalysis*. St. Petersburg, pp. 232–241 (in Russ.)].

Хайдеггер, М., 1993. Что такое метафизика. *Время и бытие: Статьи и выступления*. М., с. 16–27. [Heidegger, M., 1993. What is Metaphysics? In: M. Heidegger, ed. *Time and Being: Articles and Speeches*. Moscow, pp. 16–27 (in Russ.)].

Халфин, Ю. А., 2019. Чехов и Достоевский. *Литература*, 11 (795). URL: https://lit.lsept.ru/view_article.php?ID=200800610 (дата обращения: 29.07.2025). [Halfin, Yu. A., 2019. A. Chekhov and Dostoevsky. *Literature*, 11 (795). Available at: https://lit.lsept.ru/view_article.php?ID=200800610 [Accessed 29 July 2025] (in Russ.)].



Хоружий, С.С., 1998. *К феноменологии аскезы*. М., 352 с. [Khoruzhiy, S.S., 1998. *Towards the Phenomenology of Asceticism*. Moscow, 352 p. (in Russ.)].

Чехов, А.П., 1974–1988. *Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Сочинения в 18 т. Письма в 12 т.* М. [Chekhov, A.P., 1974–1983. *The Complete collection of works and letters in 30 volumes. Essays in 18 volumes. Letters in 12 volumes*. Moscow (in Russ.)].

Чудаков, А., 1996. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле... Чехов и вера. *Новый мир*, 9. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1996/9/mezhdu-est-bog-i-net-boga-lezhit-czeloe-gromadnoe-pole.html (дата обращения: 29.07.2025). [Chudakov, A., 1996. There is a huge field between “there is God” and “there is no God”... Chekhov and faith]. *New world*, 9. Available at: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1996/9/mezhdu-est-bog-i-net-boga-lezhit-czeloe-gromadnoe-pole.html [Accessed 29 July 2025] (in Russ.)].

Об авторах

Владимир Хамитович Гильманов, доктор филологических наук, профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.

ORCID ID: 0009-0008-6703-7816

SPIN-код РИНЦ: 7009-6272

E-mail: gilmanov.wladimir@rambler.ru

Александра Сергеевна Косинская, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-5893-8622

SPIN-код РИНЦ: 8410-0619

E-mail: aleksandra-hromo@mail.ru

Для цитирования:

Гильманов В.Х., Косинская А.С. Экзистенция страха в рассказе «Страх» А.П. Чехова // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 71–87. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-5.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

EXISTENTIAL DIMENSION OF FEAR IN ANTON CHEKHOV'S SHORT STORY "FEAR"

Vladimir Kh. Gilmanov, Alexandra S. Kosinskaya

Immanuel Kant Baltic Federal University,
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia

Submitted 14.06.2025

Accepted 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-5

The article examines the antinomic nature of the existence of fear in Anton Chekhov's works, with particular attention to the short story "Fear". The methodological framework combines the principles of New Criticism – treating the literary text as a self-sufficient



structure featuring an unreliable narrator – with approaches drawn from cognitive ontology. In addition, the analysis engages philosophical conceptions of fear developed by Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, and Jean-Paul Sartre, as well as the Christian understanding of fear articulated in the Patristic tradition. Applying a cognitive approach to existential fear in Chekhov's narrative raises the problem of the destruction of the ontological foundations underlying the characters' traditional cognitive architecture. The article argues that this destruction does not result in mere negation but rather in a transformation into a new existential quality. In particular, the collapse of the cognitively maximal concept of marriage is interpreted as a key symptom of ontological disorder: it leads, on the one hand, to an intensification of existential fear in the protagonist, and, on the other, to a growth of entropic indifference in the existence of the other characters. Special emphasis is placed on the antinomies embodied in the character of Gavryusha, nicknamed the Forty Martyrs, who emerges as a crucial entropic factor in the story, counteracting the total immersion of existence in horror. Finally, the article raises the question of how religious and non-religious agents influence the processes of encoding, decoding, and recoding a person's cognitive structure.

Keywords: Chekhov, cognitive architecture, devil, fear, God, neurosystem

The authors

Prof. Vladimir Kh. Gilmanov, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

ORCID ID: 0009-0008-6703-7816

E-mail: gilmanov.wladimir@rambler.ru

Dr Alexandra S. Kosinskaya, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-5893-8622

E-mail: aleksandra-hromo@mail.ru

To cite this article:

Gilmanov, V. Kh., Kosinskaya, A. S., 2026, Existential dimension of fear in Anton Chekhov's short story "Fear", *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 71–87. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-5.



ЛАГЕРНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МАНДЕЛЬШТАМА. ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ

В. В. Мерлин

Израиль, Иерусалим
Поступила в редакцию 24.01.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-6

В исследовании последнего стихотворения Осипа Мандельштама, записанного в пересыльном лагере с голоса поэта, ставятся две задачи – верификация авторства и реконструкция оригинала. Стихотворение рассматривается на фоне русской поэтической традиции и в контексте позднего творчества Мандельштама. Предлагается рассматривать дошедшую до нас запись не как фрагмент несохранившегося текста, а как полный текст – однострочную эпиграмму. Ритмической и фонетический анализ текста позволяет сблизить стихотворение с опытами античного стихосложения в «Камне». Столкновение ударных слогов выводит эти стихи за пределы дольника и тактовика. Поскольку урегулирован не только размер, но и количество слогов в стихе, предлагается использовать термин «силлабометрика», которым М.Л. Гаспаров определяет раннюю стадию древнегреческого стихосложения. Античная метрика трактуется поэтом как инструмент консервации времени, и поскольку время понимается как тюрьма, лагерная эпиграмма позволяет победить время, замкнув его в рамку стиха. При этом тюремная ситуация возникает в стихах поэта раньше, чем в биографической реальности. Эпиграмма продолжает поэтику Воронежа, что служит доказательством ее подлинности. Нет необходимости, чтобы лагерное стихотворение было сочинено в лагере: устность записана в самом тексте. Последнее стихотворение Мандельштама, рассмотренное в полном контексте, позволяет сблизить поэтику Мандельштама с модернистским проектом синхронизации истории.

Ключевые слова: античная метрика, гекзаметр, Мандельштам, поэтика, устная литература

Рассматриваемый текст известен нам по записи неизвестного лица, сохранившейся в архиве Е. Э. Мандельштама. В двухтомнике 1990 года он печатается в две строки:

Черная ночь, душный барак,
Жирные вши...

(1990, т. 1, с. 440)¹.

В трехтомнике 2009 года «Черная ночь» (ЧН) отсутствует, хотя там имеется раздел «Приписываемое». Под вопросом стоит не точность записи, а подлинность самого текста. Можно ли приписать Мандельштаму

¹ Здесь и далее цитаты из собраний сочинений Мандельштама даются с указанием соответствующих изданий в круглых скобках без указания фамилии автора.



текст, который не был им записан? Но и воронежские стихи записаны с *голоса* и не без ошибок (Мец 2011, с. 233). Вопрос решается в обоих случаях одинаково: авторство текста определяется из самого текста.

Прежде всего здесь обнаруживается размер — двустопный дактиль (Д2) с мужской клаузулой. В поэзии XVIII века короткие трехсложники связаны с жанром песни (Гаспаров 2012, с. 66). Двустопный дактиль соотносится с пейзажной лирикой, но это скорее пейзажи времени, чем пространства.

Звезды небес. / Тихая ночь!; Белорумяна / Входит заря / И разгоняет / Блеском своим / Мрачную тьму / Черныя ночи (Жуковский); Осень настала, / Листья падут, / Вянут цветочки, / Сохнет трава! (М. Олешев).

У самого Мандельштама Д2 встречаем в «Неаполитанской песенке»:

Правлю я с честью
Трудное дело;
Вольно и смело
Дышит рыбаки.
(1993–1999, т. 3, с. 159)

и в шуточных стихах:

Спит безмятежно
Юрий Вермель.
Август. Бесснежно.
Впрочем, апрель.
(2009–2011, т. 1, с. 353)

Ближе всего к лагерным стихам перевод стихотворения М. Бартеля «Колосья», где безглагольный синтаксис сочетается с мужской клаузулой:

Зыбь ветерка.
Утра костер.
Рожь высока.
Солнце в упор.
(2009–2011, т. 1, с. 406)

Если учитывать историю размера, ЧН нужно печатать в *три* строки, но этому мешает отсутствие рифмы и нечетное число строк, не позволяющее замкнуть строфу.

Возможна и другая трактовка. Перед нами цезурованный шестистопный дактиль, то есть не что иное как гекзаметр, и тогда это *одна* строка, подобная другим «триадам» (Кондаков 2018): «Бессонница. Гомер. Тугие паруса; Россия, Лета, Лорелея; Читателя! Советчика, Врача!». Если же считать, что синтаксическое членение совпадает с метрическим, то это хориямбический триметр — усеченный гекзаметр:

Черная ночь. Душный барак. Жирные вши.
– UU – / – UU – / – UU –



Хориямб – базовая структура античного стиха, восходящая к индо-европейскому четырехсложнику (Гаспаров 2003, с. 44 – 50). Согласно (Kiparsky 2018), гекзаметр возник из хореической вариации ямбического триметра. С этой точки зрения ЧН – устный прототип гекзаметра, его первичная и глубинная форма.

Поэтическую декламацию характеризует *рамочная тональная конструкция* – повышение интонации на первом ударном и понижение на последнем ударном слоге (Скулачева, Костюк 2020). Хориямб – метрическая запись интонационной рамки. Левую опору выделяет тяжелый – трехморный по (Prince, Smolensky 1993) – слоговой повтор:

Черная ночь. Душный барак. Жирные вши.

Правая опора тоже отмечена закрытым, просодически долгим слогом – за исключением последнего слова стиха. Чтобы замкнуть рамку, нужно закрыть слог: жирная ВОШЬ. Параллельную форму находим в стихотворении 1931 года: «Вошь да глушь у нее, тишь да мша» (2009 – 2011, т. 1, с. 158), где *вошь* уподобляется субстантивам *singularia tantum* *ложь, глушь, тишь, блажь*. Рамка замыкается фонетически:

Черная ноЧь
Жирная воШЬ

Учитывая, что в поздних стихах Мандельштама фонетика акцентирована, можно предположить, что слушатель ошибочно воспроизвел порядок фраз и оригинал звучал так:

Душный барак. Черная ночь. Жирная вошь.

Рифмоид *ночь – вошь* созвучен хориямбам 1931 года: «Бал-маскарад. Век-волкодав... Шапку в рукав. Шапкой в рукав». Если замыкающее слово стоит в единственном числе, то параллель со строкой Архилоха «Весь заеден *вшами*», предложенная П. Успенским (2022), становится беспредметной. Тюремная эпиграмма имеет мало общего с площадной сатирой, но область ее принадлежности указана верно – античная метрика.

Дериваты гекзаметра Мандельштам использует как в раннем, так и в позднем творчестве (Террас 1995, с. 20, 68; Сошкин 2015, с. 64 – 72; Орлицкий 2024, с. 244). Сюда относятся и *острожные* стихи 1931 года (цезурованный Д5):

Душно – и все-таки до смерти хочется жить.
С нар приподнявшиись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно *еще* озираясь вокруг,
Так вот бушлатник *шершавую* песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

(2009 – 2011, т. 1, с. 155)

Душный барак и жирная вошь здесь уже предсказаны: лагерные стихи родились раньше лагеря. Предсказан *шершавый* звук острожной



песни. «Драматическая структура самого рассказа вытекает из тембра, а вовсе не сам тембр подыскивается для нее и напяливается на нее, как на колодку» (2009–2011, т. 2, с. 190).

Духота — сквозной мотив 1930-х годов:

После бани, после оперы. — / Все равно куда не *шло*. — / Бестолковое, последнее / Трамвайное тепло; *Дышали шуб* меха. Плечо к плечу теснилось; Из густо отработавших кино / Выходят толпы. До чего они венозны...; И всегда одышкой болен Фета жирный карандаш (Там же, т. 1, с. 140, 192, 163, 178).

Но одышкой болен и Воронеж:

Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож.
(Там же, с. 198)

О, этот медленный, одышливый простор! —
Я им пресыщен до отказа, —
И *отдышавшийся* распахнут кругозор...
(Там же, с. 219)

Духота — знак *сгущения*, родственный сжатию. Жир отложился в «Неправде» — *вошь да глушь у нее, тишь да мша* — и в Д4 того же года.

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип *горожан*
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди *ж* назубок:
Шапку в рукав, *шапкой* в рукав —
И да хранит тебя Бог!
(Там же, с. 157)

Все нечетные строки здесь — хориямбы. В *сжатых* полустиптиях читаются и ночь, и барак, и тесный гроб — толкотня в гардероб.

Жир — это тоже инвариант:

Был от поленьев воздух *жирен*, Как гусеница на дворе; Что *возмужали* дождевые черви; Его толстые пальцы, как черви, *жирны*; О боже, как *жирны* и синеглазы Стрекозы смерти;... И масло *парижских* картин;... А с шеи каплет ожерелий *жир*;... в покоях бережных, безбрежных и счастливых; Ворочается счастье стержневое.

Умиращее время ползет, как гусеница. Насытившись солнцем, нежные медуницы превращаются в жирного шмеля: «Ты скажешь: Повара на кухне / Готовят жирных голубей; И в этом солнечном развале / Уже хозяйничает шмель» («Импрессионизм»). *Жирная вошь* принадлежит той же породе литературных насекомых.

Хориямб не редкая форма в поэзии Мандельштама, и это не только форма стиха, но и форма времени. Логаэды «Камня» — последовательное расширение хориямба:



– U U – U / –
Я ненавижу свет
Однообразных звезд

U – U U – / –
Сегодня дурной день
Кузнечиков хор спит.

– U – U U – / –
Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась.

Все эти тексты объединяет столкновение ударных слогов в конце стиха, то есть нулевой межиктовый интервал, что выводит их за пределы дольника и тактовика. При этом стихи изосиллабичны и в проекции на ось времени – изохронны. Здесь был бы уместен термин *силлабометрика*, которым М.Л. Гаспаров определяет раннюю стадию древнегреческого стихосложения (2003, с. 44). Силлабический принцип является общим для различных национальных форм гекзаметра (Лотман 2008, р. 30).

Речь идет не о теоретических определениях, а о *звучании* стиха как его слышит сам поэт:

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?
(2009–2011, т. 1, с. 125)

«Мандельштам прибегает к гекзаметрическому стиху... прежде всего для того, чтобы растянуть время» (Бродский 1998, с. 115). Первоначальное время стиха, *χρόνος πρότος*, становится мерой календарного времени:

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера,
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.
(Там же, с. 75)

Удлиненное звучание создают *трудные длинноты* – тяжелые моносиллабы: время измеряется и взвешивается. И если время со-измеримо, то нет разницы между стихами 1914 и 1934 годов: «Часто пишется казнь, а читается правильно – *песнь*». *Казнь* и *песнь* – метрически *тяжелые* слоги. Если третье слово в этом ряду – *жизнь*, то *черная* ночь и *жирная* вошь параллельны строкам: «О боже, как *жирны*, как *синеглазы*. Стрекоты *смерти*, как *лазурь черна*»; *жизнь*, *смерть* и *песнь* – фонетические и семантические сгустки времени. Математический проект Мандельштама – квантификация континуума¹.

¹ Об этом – моя неопубликованная статья «Ut calculara poesis: “Стихи о неизвестном солдате”» как трансфинитное исчисление» (Летняя школа по русской литературе. 2026. №1; в печати).



Один из последних воронежских текстов — «Если б меня наши враги взяли». За исключением трех стихов здесь выдержана схема:

– UU– / – UU– / – U

И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом...

(2009–2011, т. 1, с. 311)

Это тот же хориямбический триметр, но с каталектическим усечением, обозначенным как *сжатие*. Сочетанье двух ударных слогов образует двухпорную каденцию — «раскачку»: *стен голый, тьмы угол*. Стихотворение написано для голоса или написано голосом. Можно спорить о семантике метра, но нельзя отрицать того, что сказано прямым текстом. В тексте записан жест:

И, в легион братских очей *сжатый*,
Я упаду *тяжестью* всей *жатвы*,
Сжатостью всей *рвущейся* вдаль клятвы...

(Там же)

Тяжелое завершение стиха эквивалентно сильной цезуре. Между настоящим и будущим — обрыв, цезура судьбы.

Седиментом времени может быть *золотистого меда струя, тяжелые соты* или *полновесные слитки*, как в дактилических строках 1935 года:

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гёте манившее лоно, —
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

(Там же, с. 204)

Полновесные слитки ночей соотносятся со строками Мандельштама «У меня остается одна забота на свете: / *Золотая забота*, как времени бремя избыть» (2009–2011, т. 1, с. 106) и «...*золотая лень* / Из тростника извлечь богатство целой ноты» (Там же, с. 75) — это метрические единицы времени. «Римские элегии» Гёте написаны элегическим дистихом: первая строка двуступишия — гекзаметр, вторая — пентаметр. Шестистопный стих рассекается на два изометрических полуступишия: непрерывная длительность вмещается в меру стиха:

– UU– UU– // – UU– UU–

ЧН можно трактовать как следующую ступень усечения: семисложный период сжимается до четырехсложного. Важно и то, что схема зеркально симметрична — так же, как асклепиадов стих, хориямбический триметр и сам хориямб: время не только сжимается, но и обращается вспять.



Эпиграмма может состоять из одной строки цезурованного гекзаметра. Фактически это усеченный элегический дистих:

Города стены / — венец его; / ныне они погибли.
(Анакреонт, пер. В.Н. Ярхо)

Словно ущелья гор / обрывистых в молодости был я.
(Архилох, пер. В.В. Вересаева)

Рим золотой, / обитель богов, / меж градами первый.
(Авсоний, пер. В.Я. Брюсова)

Лагерная тройчатка — это тоже однострочная эпиграмма — не одна из строк несохранившегося текста, а все стихотворение, состоящее из одного стиха.

В греческом гекзаметре ритмическая единица (колон) совпадает с интонационной и синтаксической. Из таких же блоков состоит ЧН. Каждый хориямб — это синтаксическое единство и рамочная тональная конструкция. При этом все ударные слоги здесь закрытые, то есть просодически долгие. Если исходить из самого текста, следует отнести его к устной, квантитативной системе стихосложения, где слово не нуждается в письме, чтобы быть текстом, и текст не нуждается в голосе, чтобы быть песней (Bakker 1997). Нет необходимости, чтобы лагерное стихотворение было сочинено в лагере: устность записана в самом тексте. Лагерная тройчатка продолжает поэтику Воронежа, и это главное доказательство ее подлинности.

В. Тюпа выделяет в стихах Мандельштама 1937 года «нераспознанный жанровый инвариант» — *эвиденцию*, характеризуя его как «интенцию самоопределения» и «архитектонику присутствия» (Тюпа 2015). Когда поэт говорит «Я в львиный ров и крепость погружен», он погружен в львиный ров силой самого высказывания: его свидетельство не подлежит проверке и опровержению. Поэт погружен в крепость еще до того, как заперт в бараке, — прикреплен к месту, из которого он говорит.

Лагерная тройчатка — формула присутствия: в пространстве (*душный барак*), во времени (*черная ночь*) и в теле (*жирная вошь*). Фактичность навязана формулой. Если мы узнаем в этой формуле гекзаметр, то это не размер эпических поэм, а та мера, которой наделены изречения оракула. Изобретателем гекзаметра считается первая пифия. Гекзаметр — маркер божественного голоса (Blankenborg 2020) — не только письмо с голоса, но и пишущий голос: конструируя свою форму, голос себя инскрибирует.

Три изречения дельфийского оракула — Γνωθί σεαυτόν «познай себя», Μηδὲν ἄγαν «ничего сверх меры» и Ἐγγύρα πάρα δ' ἄτα «залог дает безумный» — образуют строку гекзаметра (Ibid., p. 134). Мера стиха познается в самом стихе. Изречения записаны как отдельные тексты, но читаются вместе — в актуальном времени чтения, так же как *Бессоница*, *Гомер*, *тугие паруса*.

В «Разговоре о Данте» «виолончельный голос Уголино <...> вызревает в коробке тюремного резонатора, — тут виолончель не на шутку



братается с тюрьмой. Il carcere — тюрьма — дополняет и акустически обуславливает речевую работу автобиографической виолончели» (2009–2011, т. 2, с. 188).

Голос виолончели воплощает муку времени: «Густота виолончельного тембра лучше всего приспособлена для передачи ожидания и мучительного нетерпения» (Там же, с. 187). Виолончель сближается с механическими часами как инструментом хронометрии и с дирижерской палочкой как осью синхронизации: «Эта неуязвимая палочка содержит в себе качественно все элементы оркестра» (Там же, с. 186).

Дирижерская палочка — острое времени, сжимающая звуки оркестра в момент совместного звучания. *Жир* — продукт удержания и сбережения. «Содержание <поэмы> есть совместное *держание* времени»; «Виолончель *задерживает* звук, как бы она ни спешила» (Там же, с. 179, 441; курсив мой. — В. М.). Поэт — держатель истории и хранитель времени: в этом состоит мессианский проект авангарда (Агамбен 2018; Probststein 2017). Тридцатые годы в поэзии Мандельштама — время экономии времени: время, достигшее полноты, становится неистощимым ресурсом.

Свои стихи О. М. всегда сопровождает хронологической пометой, даже если она неточна. Следуя этому правилу, можно датировать лагерный стих последним месяцем жизни поэта — декабрем 1938. В народном календаре это «волчьи дни», критическое время перехода, но эта конъюнктура уже выходит за пределы текста. Голос поэта «вызревает в коробке тюремного резонатора», но голос не заключен в тюрьме времени, поскольку заключает время в себе.

Список литературы

Агамбен, Дж., 2018. *Оставшееся время*. М. [Agamben, Gi., 2018. *Remaining time*. Moscow (in Russ.)].

Бродский, И., 1998. *Письмо Горацию*. М. [Brodsky, I., 1998. *Letter to Horace*. Moscow (in Russ.)].

Гаспаров, М. Л., 2003. *Очерк истории европейского стиха*. М. [Gasparov, M. L., 2003. *An essay on the history of European verse*. Moscow (in Russ.)].

Гаспаров, М. Л., 2012. *Метр и смысл*. М. [Gasparov, M. L., 2012. *Meter and meaning*. Moscow (in Russ.)].

Кондаков, И. В., 2018. Семантический кластер в поэтике О. Мандельштама. *Новый филологический вестник*, 4 (47), с. 16–25. [Kondakov, I. V., 2018. A Semantic Cluster in the Poetics of Osip Mandelstam. *The New Philological Bulletin*, 4 (47), pp. 16–25 (in Russ.)] EDN: YUPCBF, <https://doi.org/10.24411/2072-9316-2018-00060>.

Лотман, М. Ю., 2008. Становление античных размеров в русском стихе: аспекты когнитивной метрики. *Русский текст (19 век) и античность*. Будапешт; Тарту, с. 24–53. [Lotman, M. Yu., 2008. The Formation of Ancient meters in Russian verse: aspects of Cognitive metrics. In: *Russian text (19th century) and antiquity*. Budapest; Tartu, pp. 24–53 (in Russ.)].

Мандельштам, О., 1990. *Сочинения: в 2 т.* М. [Mandelstam, O., 1990. *Collected Works in Two Volumes*. Moscow (in Russ.)].

Мандельштам, О. Э., 1993–1999. *Собрание сочинений: в 4 т.* М. [Mandelstam, O., 1993–1999. *Collected works: in 4 volumes*. Moscow (in Russ.)].



Мандельштам, О.Э., 2009–2011. *Полное собрание сочинений в 3 т.* М. [Mandelstam, O., 2009–2011. *Complete works in 3 volumes.* Moscow (in Russ.).]

Мец, А.Г., 2011. *Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов.* СПб. [Mets, A.G., 2011. *Osip Mandelstam and His Time: Text Analysis.* St. Petersburg (in Russ.).]

Орлицкий, Ю., 2024. Роль стихотворных переводов в формировании релятивной стихотворной поэтики О. Мандельштама. *Мандельштам и его время.* М., с. 230–248. [Orlitskiy, Yu, 2024. The role of poetic translations in the formation of O. Mandelstam's relational poetic poetics. In: *Mandelstam and his time.* Moscow, pp. 230–248 (in Russ.)] EDN: AMVWMY.

Скулачева, Т.В., Костюк, А.Э., 2020. Лингвистические особенности стиха и их функции. *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание*, 19 (3), с. 155–168. [Skulacheva, T.V. and Kostyuk, A.E., 2020. Functions and Linguistic Peculiarities of Verse. *Science Journal of Volgograd State University. Linguistics*, 19 (3), pp. 155–168 (in Russ.)] EDN: TZSSLF, <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.3.14>.

Сошкин, Е.П., 2015. *Гипограмматика: Книга о Мандельштаме.* М. [Soshkin, E.P., 2015. *Hypogrammatiks: The book about Mandelstam.* Moscow (in Russ.).]

Террас, В.И., 1995. Классические мотивы в поэзии Осипа Мандельштама. *Мандельштам и античность: сб. ст.* Т. 7. О.А. Лекманов (ред.). М., с. 12–32. [Terras, V.I., 1995. Classical motifs in the poetry of Osip Mandelstam. In: O.A. Lekmanov, ed. *Mandelstam and antiquity: collection of articles.* Vol. 7. Moscow, pp. 12–32 (in Russ.).]

Тюпа, В.И., 2015. Нераспознанный жанровый инвариант в лирической поэзии Мандельштама (1937). *Новый филологический вестник*, 1 (32), с. 75–81. [Tyupa, V.I., 2015. Unrecognized Genre Invariant in Lyric Poetry by O. Mandelstam. *The New Philological Bulletin*, 1 (32), pp. 75–81 (in Russ.)] EDN: TQNWPJ.

Успенский, П., 2022. Лагерные стихи Осипа Мандельштама. *Новый мир*, 10. URL: <https://nm1925.ru/articles/2022/novyy-mir-10-2022/lagernye-stikhi-osipa-mandelshstama/> (дата обращения: 01.01.2025). [Uspensky, P., 2022. Camp poems by Osip Mandelstam. *New World*, 10. Available at: <https://nm1925.ru/articles/2022/novyy-mir-10-2022/lagernye-stikhi-osipa-mandelshstama/> [Accessed 01.01.2025] (in Russ.).]

Bakker, E., 1997. *Poetry in speech: Orality and Homeric discourse.* Ithaca (New York).

Blankenborg, R., 2020. The Rhythm of the Gods' Voice. The Suggestion of Divine Presence through Prosody. In: *Arys*, 18, pp. 123–154, <https://doi.org/10.20318/arys.2020.5310>.

Kiparsky, P., 2018. Indo-European Origins of the Greek Hexameter. In: D. Gunzel and O. Hackstein, eds. *Sprache und Metrik.* Leiden; Boston, pp. 77–128.

Prince, A. and Smolensky, P., 1993. *Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar.* New Brunswick.

Probststein, Ia., 2017. *The River of Time: Time-Space, History, and Language in Avant-Garde, Modernist, and Contemporary Russian and Anglo-American Poetry.* Brighton, MA.

Об авторе

Валерий Вольфович Мерлин, кандидат филологических наук, без объявленной аффилиации, Иерусалим, Израиль.

ORCID ID: 0000-0002-9327-4101

E-mail: merlinvster@gmail.com

**Для цитирования:**

Мерлин В.В. Лагерное стихотворение Мандельштама. Опыт реконструкции // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 88–97. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-6.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

MANDELSTAM'S CAMP POEM. AN ATTEMPT AT RECONSTRUCTION

Valery V. Merlin

Israel, Jerusalem

Submitted on 24.01.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-6

The article examines Osip Mandelstam's last poem, recorded from the poet's voice in a transit camp. Two main tasks are pursued: the verification of authorship and the reconstruction of the original text. The poem is analysed against the background of the Russian poetic tradition and within the context of Mandelstam's late work. It is argued that the extant record is not a fragment of a lost text, but a complete poem – a one-line epigram. Rhythmic and phonetic analysis brings this poem close to the experiments in ancient versification found in "Stone". The collision of stressed syllables places these verses beyond the limits of dol'nik and taktovik. Since the number of syllables is equal in each line, it is suggested to use the term syllabometric, employed by Mikhail L. Gasparov to designate the earliest stage of ancient Greek versification. For Mandelstam, ancient metrics serves as an instrument for the conservation of time; and since time itself is conceived as a prison, the camp epigram overcomes time by enclosing it within the frame of verse. The prison motif appears in his poetry before it becomes a biographical reality. The epigram continues the poetics of the Voronezh period and thus brings evidence for its authenticity. It is not necessary for the camp poem to be composed in the camp: orality is inscribed in the text itself. Considered within its full context, Mandelstam's last poem allows us to relate his poetics to the modernist project of synchronisation of history.

Keywords: ancient versification, hexameter, Mandelstam, oral literature, poetics

The author

Dr Valery V. Merlin, no affiliation declared, Jerusalem, Israel.

ORCID ID: 0000-0002-9327-4101

E-mail: merlinvster@gmail.com

To cite this article:

Merlin, V.V., 2026, Mandelstam's camp poem: an attempt at reconstruction, *Slovo.ru: Baltic Accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 88–97. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-6.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

**КАТЕГОРИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ»
В РОМАНЕ Ж. ВЕРНА «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»**

В. Г. Тылец¹, Т. М. Краснянская²

¹ Российская международная академия туризма,
Россия, 105187, Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4г-д, стр. 5

² Московский гуманитарный университет,
Россия, 111395, Москва, ул. Юности, 5

Поступила в редакцию 11.10.2024 г.

Принята к публикации 15.10.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-7

Выявлены семантические особенности представления категории «безопасность» в оригинальном (французском) тексте романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта». По результатам проведенного исследования установлено, что в романе «*Les enfants du capitaine Grant*» категория «безопасность» раскрывается на основе массива лексических единиц, включающих *adresse, apaisements, asile, assurance, calme, confiance, garantie, talisman, tranquillité, paix, précision, protection, justesse, fidélité, franchise, sûreté, sécurité, solidité*. Лексические единицы, обозначающие категорию «безопасность», в тексте романа встречаются неравномерно. В ядро семантического поля данной категории входят лексические единицы *confiance* и *calme*; в зону его ближней периферии – *sûreté, adresse, précision, protection, tranquillité, sécurité, paix, garantie, asile*; в зону дальней периферии – *assurance, fidélité, justesse, solidité, franchise*; в зону крайней периферии – *apaisements* и *talisman*. Использование в романе лексических единиц, обозначающих безопасность, сочетается с определенным массивом определений и глаголов. Использование в тексте романа глаголы характеризуются большей вариабельностью по сравнению со связанными с ними определениями. Наиболее часто в сочетании с лексическими единицами, обозначающими безопасность, автор использует определения *absolue, parfaite, telle, digne, toute, complet, grande*, а также глаголы *avoir, parler, faire, respirer, dépendre, être, chercher, trouver*.

Ключевые слова: безопасность, категория, лексическая единица, семантическое поле

Существенное возрастание темпа жизни и усложнение повседневного быта, сохранение значительного диапазона старых и появление новых, ранее неизвестных угроз требует от каждого представителя социума ускоренного формирования опыта в силу приоритетов витальности, прежде всего безопасности. Ограниченность условий его приобретения в индивидуальной жизни делает человека восприимчивым к внешним источникам подобного опыта, представленным, в частности, художественными произведениями различного жанра. Криминал, фэнтези, ужас, вестерн и др. – все они в том или ином объеме предполагают моменты нахождения человека в некоторых рискованных, угрожающих или опасных ситуациях, что увлекает и удерживает интерес читателя (Тылец, Краснянская 2020б).



Наибольшая вариативность описаний такого рода открывается в приключенческих романах. В них важно не только выстраивать динамику сюжета, но и обеспечивать максимальное «погружение» читателя в описание, будить воображение, создавать эмоциональный настрой, поддерживать внимание на протяжении всего текста, транслировать опыт, вызывать стремление приобщиться к неизведанному и благодаря этому расширять рамки привычной, устоявшейся жизни. С учетом того, что опасность стимулирует наибольший «накал» эмоций, требует от персонажей максимального напряжения интеллектуальных и физических сил, не дает однозначных решений, будучи часто сопряженной с этическим и духовным выбором, именно она активно привлекается авторами для построения сюжета приключенческих романов.

1. Постановка проблемы исследования

Жюль Верн, один из первых наиболее известных авторов приключенческих романов, в своих произведениях помещал персонажей в самые разные опасные ситуации — на воде и в воздухе, в подземельях и на вершинах горных массивов, в лесах и прериях. В XIX веке создаваемые писателем произведения не только пробуждали любознательность и жажду приключений, что было особенно актуально в эпоху зарождения туризма, но и в условиях ограниченности информационных источников предупреждали о рисках, ранее неизвестных обывателям угрозах, показывали, как себя вести в разных опасных ситуациях. Романы Ж. Верна на многие десятилетия стали популярным чтением для юношества и своеобразным образцом художественного описания опасности для его последователей, авторов произведений приключенческого стиля.

Исследование языковых особенностей творчества Ж. Верна, содержащего модели «социумов, этических и социально-политических идеалов» (Черняховская 2020, с. 258), на сегодняшний день продолжается на материале разных его романов — «Ледяной сфинкс» (Артемьева 2022), «Таинственный остров» (Варзинова, Трофимова 2023) и др. Исследователи осуществляют при этом выделение поэтических, стилистических и прочих особенностей его текстов, закономерностей использования языковых средств, нюансы их образовательного потенциала и пр. (Марченкова 2020). Между тем семантические особенности художественных текстов Ж. Верна, в первую очередь содержащих описание ситуаций преодоления героями различных угрожающих ситуаций и достижения безопасности, что составляет основу многих сюжетов, остаются неизученными.

Отметим, что во французском языке категория «безопасность» обозначается двумя основными лексемами — *sûreté* и *sécurité*, которые появились в нем соответственно в начале XII и в XIII веке (Dubois, Mitterand, Dauzat 2022, p. 754). Не войдя в активный оборот, они оставались малоиспользуемыми вплоть до 1945 года и начала XVII века соответственно. В XIII веке зафиксировано появление также прилагательного *sécuritaire*



«относящийся к безопасности», которое вскоре вышло из употребления, вернувшись в речь только около 1980 года (буквально: «относящийся к безопасности») (Ibid.). В этой связи представляет интерес, какими языковыми средствами данную категорию реализовывал в середине XIX столетия в текстах своих романов Ж. Верн, с использованием каких терминов ему удавалось донести до читателей полноту переживаний, которые испытывали его персонажи от преодоления захватывающих воображение опасных ситуаций.

Отсутствие соответствующих научных данных позволяет сформулировать *исследовательскую проблему* в виде следующего вопроса: каковы семантические особенности выражения безопасности во французском приключенческом романе XIX века?

2. Организация исследования

Исследовательским материалом для данной работы выступил текст одного из самых известных приключенческих романов Жюль Верна — романа «Дети капитана Гранта», который публиковался в 1865–1867 годах в *Magasin d'Éducation et de Récréation*, а отдельным изданием вышел в 1868 году. С того времени данный роман неоднократно переводился на русский язык и послужил основой для ряда отечественных (1913, 1936, 1962, 1986) и зарубежных (1970, 2012 и др.) экранизаций. Подчеркивая значимость романа, отметим также, что он выступил первой частью авторской приключенческой трилогии, в которую также вошли широко известные романы «Двадцать тысяч лье под водой» (1869–1870) и «Таинственный остров» (1874).

Известно, что по сюжету романа герои — лорд и леди Гленарван, майор Мак-Наббс, Жак Паганель, Мэри и Роберт Грант, Джон Мангль — предпринимают насыщенное многими опасностями путешествие к Южной Америке через Патагонию, по Австралии и Новой Зеландии, неуклонно придерживаясь 37-й параллели южной широты, чтобы найти капитана Гранта, ранее потерпевшего кораблекрушение. В ходе этого путешествия персонажи переживают страшный шторм, пересекают наполненные различными угрозами болота и стремительные реки, попадают в плен к кровожадным туземцам, отражают нападение диких хищников, поднимаются на высочайшие горные вершины, то есть справляются с широким диапазоном различных опасностей. Очевидно, чтобы описать подобные ситуации, автор был вынужден прибегать к различным языковым средствам, способным выразить его замысел и вызвать интерес читателей.

Целью исследования стало выявление семантических особенностей представления лексемы «безопасность» во французском тексте романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта».

Решались следующие *исследовательские задачи*: 1) определение семантического поля концептов *sûreté* и *sécurité* по лексикографическим источникам; 2) совмещение лексикографического поля концептов *sûreté*



и *sécurité* с их семантическим полем в тексте романа; 3) выявление семантических закономерностей категории «безопасность» в рассматриваемом художественном произведении.

Исследование состояло из двух этапов. На первом с использованием метода лексикографического анализа выявлялись аналоги концептов *sûreté* и *sécurité* во французских словарях. На втором этапе проводился контекстуальный анализ лексики романа на предмет выявления вариантов слов, обозначающих безопасность, а также их количественный и качественный анализ.

В исследовании устанавливался индекс яркости выделенных в романе лексических единиц, обозначающих во французском языке категорию «безопасность». Их индекс яркости вычислялся как отношение установленного в тексте романа количества конкретной лексической единицы к общему количеству встречающихся в нем лексических единиц, обозначающих категорию «безопасность». Лексические единицы с частотой выше 10,0% рассматривались как принадлежащие к ядру, с частотой 4,0–10,0% — к зоне ближней, с частотой менее 4,0% и до 2,0% — к дальней, с частотой менее 2,0% — к крайней периферии его семантического поля (Стернин, Рудакова 2011).

Для представления результатов анализа текста использован описательный метод. Исследование проведено методом сплошной выборки по французскому тексту романа (Verne web).

Имеющиеся в описании результатов исследования переводы с французского языка выполнены дословно, служа рабочим инструментом и не претендуя на передачу многозначности французских слов.

3. Результаты исследования и их обсуждение

Работа со словарными источниками (Le Petit Robert 2023; Dictionnaire Hachette 2022) показала, что во французском языке базовыми лексическими единицами для обозначения категории «безопасность» выступают существительные *sûreté* и *sécurité*. В их семантическое поле входят следующие лексические единицы: *adresse* («ловкость» — здесь и далее в скобках дается современный буквальный перевод), *protection* («защита»), *fidélité* («верность»), *justesse* («правильность»), *précision* («точность»), *solidité* («прочность»), *calme* («спокойствие»), *paix* («мир»), *tranquillité* («спокойствие»), *apaisement* («спокойствие»), *confiance* («доверие»), *assurance* («страхование»), *garantie* («гарантия»), *talisman* («талисман»), *asile* («убежище»), *franchise* («откровенность»). Обращение к русскоязычным исследованиям показывает, что семантическое поле существительных *sûreté* и *sécurité* в значительной мере совпадает с семантическим полем существительного «безопасность» (Тылец, Краснянская 2020а).

Рассмотрим частоту и характер использования лексических единиц, соответствующих категории «безопасность», во французском тексте романа “Les enfants du capitaine Grant” (далее — в тексте / в романе).



Анализ текста показал, что в нем с разной частотностью присутствуют не только базовые для категории «безопасность» лексические единицы *sûreté* и *sécurité*, но и все указываемые словарными источниками лексические единицы их семантического поля.

Общее количество лексических единиц, соответствующих категории «безопасность», в рассматриваемом произведении равно 97. Из них 12 образованы базовыми для нее на данный момент лексическими единицами: *sûreté* — 8 (8,3 % — здесь и далее индекс яркости) и *sécurité* — 4 (4,1 %). Кроме того, с разной частотой в тексте встречаются следующие лексические единицы их семантического поля: *confiance* — 22 (22,7 %), *calme* — 11 (11,3 %), *adresse* — 8 (8,2 %), *précision* — 8 (8,2 %), *protection* — 6 (6,2 %), *tranquillité* — 5 (5,2 %), *paix* — 4 (4,1 %), *garantie* — 4 (4,1 %), *asile* — 4 (4,1 %), *assurance* — 3 (3,1 %), *fidélité* — 2 (2,1 %), *justesse* — 2 (2,1 %), *solidité* — 2 (2,1 %), *franchise* — 2 (2,1 %), *apaisement* — 1 (1,0 %), *talisman* — 1 (1,0 %).

Исходя из полученных значений индексов яркости, ядро семантического поля концепта «безопасность» в тексте рассматриваемого романа Ж. Верна образовано двумя лексическими единицами — *confiance* и *calme*. В зону его ближней периферии вошли девять лексических единиц: *sûreté*, *adresse*, *précision*, *protection*, *tranquillité*, *sécurité*, *paix*, *garantie*, *asile*. Его дальняя периферия представлена пятью лексическими единицами: *assurance*, *fidélité*, *justesse*, *solidité* и *franchise*. В зоне крайней периферии находятся две единицы: *apaisement* и *talisman*.

Рассмотрим представление этих лексических единиц в тексте романа подробнее.

3.1. Анализ лексических единиц ядра семантического поля категории «безопасность»

Ядро семантического поля категории «безопасность» в тексте романа представлено существительными *confiance* и *calme*.

Лексическая единица *confiance* в тексте встречается 22 раза:

Glenarvan parlait avec conviction. Ses yeux respiraient une confiance absolue (Verne web, p. 30; далее ссылки на этот текст даются с указанием номера страницы в круглых скобках).

Le second, Tom Austin, était un vieux marin digne de toute confiance... (p. 65).

Mais sa confiance venait surtout du désir qui le tenait si fort au coeur de voir Miss Mary heureuse et consolée (p. 116).

Ni Mulrady, ni Wilson, ni moi, nous ne sommes capables de rejoindre Thalcave à son rendez-vous, tandis que nous marcherons avec confiance sous la bannière du brave Jacques Paganel (p. 279).

Thalcave nous a mis sur ses traces, et j'ai confiance en lui (p. 287).

Malgré la confiance de Thalcave, la nuit s'acheva pour le pauvre lord dans d'affreuses angoisses (p. 316).

On s'avancait avec ardeur et confiance (p. 323).

« *Confiance, mes amis, confiance!..* » (p. 443).

On attendait avec confiance la côte australienne (p. 464).

Seuls, le major et peut-être John Mangles, moins prompts à se rendre, se demandaient si les paroles d'Ayrton méritaient une entière confiance (p. 569).

C'est un homme loyal, digne de toute votre confiance (p. 576).



Je vous remercie, mylord, de la confiance que vous avez en moi, et j'espère m'en montrer digne (p. 577).

Une seule question, John, dit Glenarvan. Vous avez une confiance absolue dans votre second? (p. 588).

Il lui recommandait le quartier-maître comme un homme en qui il pouvait avoir toute confiance (p. 824).

Les naturels accouraient au-devant d'eux sans armes et cherchaient à leur inspirer une confiance absolue (p. 926).

– *Mon cher lord, mieux vaut défiance que confiance avec les Maoris* (p. 1038).

Glenarvan, malgré toute sa confiance et en dépit des plaisanteries de Paganel... (p. 1159).

Mais cette fois, lorsque Lady Helena reparut, ses traits respiraient la confiance (p. 1209).

Il était impossible de s'abandonner avec une plus parfaite confiance (p. 1215).

Tu auras, comme moi, confiance dans son dévouement! (p. 1237).

– *Oh! ce ne sera pas difficile! s'écria Robert avec sa confiance juvénile* (p. 1239).

Je mis ma confiance en Dieu, et je m'apprêtai à lutter résolument (p. 1256).

Анализ выделенных случаев использования существительного *confiance* показывает, что в тексте оно сочетается со следующими определениями — *absolue* (p. 30, 588, 926), *digne de toute* (p. 65, 576), *entière* (p. 569), *toute* (p. 824, 1159), *parfaite* (p. 1215), *juvénile* (p. 1239) и с глаголами *respiraient* (p. 30, 1209), *venait* (p. 116), *marcherons* (p. 279), *s'avavançait* (p. 323), *attendait* (p. 464), *méritaient* (p. 569), *remercie* (p. 577), *avoir* (p. 588, 824, 1237), *inspirer* (p. 926), *mis* (p. 1256). Рассматриваемое существительное неоднократно сочетается с *absolue*, *digne de toute*, *toute*, *respiraient*, *avoir*, *auras*.

В ядро семантического поля категории «безопасность» попадает также лексическая единица *calme*, которая в тексте встречается 11 раз:

Le froid piquait vivement malgré le calme absolu de l'atmosphère (p. 186).

Ses ailes puissantes le portaient sur le fluide aérien presque sans battre, car c'est le propre des grands oiseaux de voler avec un calme majestueux... (p. 214).

Si le major gardait son calme... (p. 268).

Thalcave parlait avec calme (p. 277).

Un calme complet régnait à l'intérieur de l'enceinte... (p. 298).

L'Indien souriait avec son calme accoutumé (p. 315).

Les couches atmosphériques conservaient un calme absolu (p. 410–411).

Lady Helena, tranquille en apparence, affectait un calme qui ne pouvait être dans son cœur (p. 1072).

...les hommes dissimulaient leurs angoisses sous un calme qui témoignait d'une énergie surhumaine (p. 1090).

Il reprit donc son interrogatoire, parlant avec une douceur extrême, et imposant le calme le plus complet aux violentes irritations de son cœur (p. 1199).

Ayrton parlait avec calme (p. 1211).

Установлено, что существительное *calme* в тексте сочетается с определениями *absolu* (p. 186, 410), *majestueux* (p. 214), *complet* (p. 298, 1199), *accoutumé* (p. 315) и глаголами *gardait* (p. 268), *parlait* (p. 277, 1211), *régnait* (p. 298), *souriait* (p. 315), *conservaient* (p. 410), *affectait* (p. 1072), *témoignait* (p. 1090), *imposant* (p. 1199). Таким образом, рассматриваемая лексическая единица неоднократно сочетается с *absolu* и *parlait*.



Обе лексические единицы ядра семантического поля категории «безопасность» неоднократно сочетаются с лексической единицей *absolu*.

3.2. Анализ лексических единиц ближней периферии семантического поля категории «безопасность»

Ближняя периферия семантического поля категории «безопасность» в тексте рассматриваемого романа представлена существительными *sûreté, adresse, précision, protection, tranquillité, sécurité, paix, garantie, asile*.

Лексическая единица *sûreté* в романе используется в восьми случаях, причем все они относятся к обозначению состояния безопасности:

Cette traversée de l'Amérique méridionale devait donc s'exécuter dans les conditions les meilleures, au point de vue de la sûreté et de la célérité (p. 154).

Et, quelques instants après, les dix fugitifs, sans savoir comment, sans y rien comprendre, étaient tous en sûreté à bord du Duncan (p. 338).

Là, le Duncan se fût trouvé dans une sûreté relative (p. 540).

La rivière offrit aux pieds des bœufs et des chevaux une pente remontante, et bientôt hommes et bêtes se trouvèrent en sûreté sur l'autre bord, non moins satisfaits que trempés (p. 635).

«Au chariot! au chariot!» cria John Mangles, et il entraîna Lady Helena et Mary Grant, qui furent bientôt en sûreté derrière les épaisses ridelles (p. 826—827).

L'animal paraissait fatigué, et, cependant, de la sûreté et de la vigueur de ses jambes dépendait le salut de tous (p. 848).

Un espoir restait encore. Peut-être Tom Austin avait-il cru devoir jeter l'ancre dans la baie Twofold, car la mer était mauvaise, et un navire ne pouvait se tenir en sûreté sur de pareils atterrages (p. 882).

John le tint pour dit, se réservant d'intervenir, de fait sinon de droit, au cas où la maladresse de l'équipage compromettrait la sûreté du navire (p. 904).

Таким образом, рассматриваемая лексическая единица сочетается с устойчивым выражением *au point de vue* (p. 154), определениями *tous* (p. 338), *relative* (p. 540) и глаголами *étaient* (p. 338), *se trouvèrent* (p. 635), *furent* (p. 826—827), *dépendait* (p. 848) *se tenir* (p. 882).

Базовая во французском языке для категории «безопасность» лексема *sûreté* используется в тексте рассматриваемого романа преимущественно для характеристики состояния персонажей («с точки зрения безопасности», «находиться в полной безопасности», «относительная безопасность», «безопасно разворачиваться» и т.д.), что соответствует трактовке этого термина в современных словарях (Le Petit Robert 2024, p. 2471).

Лексическая единица *adresse* в тексте романа используется восемь раз в номинативной функции:

Ce fut alors que la vigueur de Mulrady et l'adresse de Wilson eurent mille occasions de s'exercer (p. 177).

Ce surnom lui venait sans doute de son adresse à manier des armes à feu (p. 228).

L'écorcheur se transforme alors en toréador, et ce métier périlleux, il le fait avec une adresse et, il faut le dire, une férocité peu communes (p. 334).



Il fallait une grande adresse pour conduire cette machine étroite, longue, oscillante, prompte aux déviations, et pour guider cet attelage au moyen de l'aiguillon (p. 590).

Aussi les chasseurs emploient-ils toute leur adresse à s'emparer d'une pareille proie (p. 754).

Quoi qu'il en soit, on ne pouvait, en de certaines occasions, ne point admirer leur intelligence et leur adresse (p. 757).

Un élégant break destiné aux dames, et conduit à grandes guides, permettait à son cocher de montrer son adresse dans les savantes manœuvres du « four in hand » (p. 776).

Tout ce que pouvaient l'habileté, la force, l'adresse, le courage, ils le firent (p. 868).

Установлено, что существительное *adresse* используется в сочетании с устойчивым выражением *à manier des armes* (p. 228), с определением *grande* (p. 590) и глаголами *fait* (p. 334), *s'emparer* (p. 754), *admirer* (p. 757), *montrer* (p. 776), *pouvaient* (p. 868).

Существительное *précision* в тексте встречается восемь раз:

...il nivelait avec la précision d'une faux immense toutes les saillies du versant oriental (p. 202).

L'Indien les lance souvent à cent pas de distance sur l'animal ou l'ennemi qu'il poursuit, et avec une précision telle, qu'elles s'enroulent autour de ses jambes et l'abattent aussitôt (p. 235–236).

...ce fut de voir ces petits soldats manœuvrer à la française et exécuter avec une précision parfaite les principaux mouvements de la charge en douze temps (p. 339).

Il répondait aux mille questions dont il était assailli avec une intelligence et une précision remarquables (p. 568).

...le mensonge s'affirme par la précision des détails (p. 569).

– À sept heures un quart du soir, ajouta le major, qui aimait à chicaner Paganet sur la précision de ses dates (p. 609).

Déjà les combats étaient bien autrement redoutables, car les sauvages maniaient les armes à feu avec une remarquable précision (p. 916).

Les chefs célèbres se reconnaissent au fini, à la précision et à la nature du dessin qui reproduit souvent sur leurs corps des images d'animaux (p. 1043).

Анализ распределения в примерах лексической единицы *précision* показывает, что она сочетается с определениями *telle* (p. 236), *parfaite* (p. 339), *remarquables* (p. 568, 916), глаголами *nivelait* (p. 202), *exécuter* (p. 339), *était assailli* (p. 568), *s'affirme* (p. 569), *maniaient* (p. 916), *se reconnaissent* (p. 1043). Таким образом, рассматриваемая лексическая единица неоднократно использовалась с определением *remarquables*.

Существительное *protection* в тексте романа используется шесть раз:

Elle tenait par la main un garçon de douze ans à l'air décidé, et qui semblait prendre sa sœur sous sa protection (p. 43).

Ce district renferme environ quatre mille habitants, et son chef-lieu est le village de Tandil, situé au pied des croupes septentrionales de la sierra, sous la protection du fort Indépendance (p. 336).

Ceux-ci, habilement circonvenus, signèrent une lettre adressée à la reine Victoria pour réclamer sa protection (p. 1005).

La majorité des chefs, trouvant la protection trop chère, refusa d'y acquiescer (p. 1006).

Il était revêtu de la dignité de prêtre, et, comme tel, il pouvait étendre sur les personnes ou sur les objets la superstitieuse protection du tabou (p. 1084).



...et qu'il reprendrait avec eux les grands projets du capitaine, sous la haute protection de Lord Glenarvan! (p. 1272).

В повествовании лексическая единица *protection* сочетается с определениями *superstitieuse* (p. 1084), *haute* (p. 1272) и с глаголами *prendre* (p. 43), *situé* (p. 336), *trouvant* (p. 1006).

Лексическая единица *tranquillité* в тексте встречается пять раз:

...ils y arrivaient en murmurant et s'y confondaient dans une limpide tranquillité (p. 170).

Le silence y régnait encore, mais non la tranquillité (p. 299).

Déjà la plaine avait repris sa tranquillité... (p. 315).

La tranquillité de ces paisibles campagnes ne fut aucunement troublée... (p. 655).

L'immobilité du brick leur assurait quelques heures de tranquillité (p. 951).

Анализ выделенных примеров позволяет констатировать, что рассматриваемое существительное в тексте сочетается с определением *limpide* (p. 170) и глаголами *se confondaient* (p. 170), *régnait* (p. 299), *repris* (p. 315), *troublée* (p. 655), *assurait* (p. 951).

Лексическая единица *sécurité* в тексте используется в четырех случаях, устойчиво выполняя номинативную функцию:

Ils passèrent sans difficulté, ce qui indiquait une grande incurie ou une extrême sécurité (p. 338).

Cette disparition était trop singulière pour laisser une sécurité parfaite (p. 828).

Après avoir simulé des craintes à l'égard des Français, Takouri n'oublia rien pour les endormir dans une trompeuse sécurité (p. 926).

Il lui fallait conserver le plus de vitesse possible, car d'elle seule dépendait sa sécurité (p. 536).

Cette disparition était trop singulière pour laisser une sécurité parfaite (p. 828).

Таким образом, рассматриваемая лексическая единица, будучи существительным, используется со следующими определениями: *extrême* (p. 338), *parfaite* (p. 828), *trompeuse* (p. 926) и с глаголами *indiquait* (p. 338), *laisser* (p. 828), *dépendre* (p. 536), *endormir* (p. 926).

Лексическая единица *paix* в тексте встречается четыре раза:

Ils paraissaient voués à cette fainéantise spéciale des gens de guerre qui ne savent que faire en temps de paix (p. 160).

La plupart des tribus australiennes ne sont pas anthropophages, sans doute, en temps de paix... (p. 744).

C'est un redoutable instrument de guerre et un utile instrument de paix... (p. 749).

Tout ce monde ailé jouissait en paix des loisirs que lui laissait l'absence des hommes chassés... (p. 1053).

Анализ показывает, что в представленных примерах существительное *paix* входит в состав выражений *en temps de paix* (p. 160, 744), *instrument de paix* (p. 749), *jouissait en paix* (p. 1053) и сочетается с глаголом *faire* (p. 160).



Лексическая единица *garantie* в тексте встречается четыре раза:

Quelles que soient les garanties de succès que nous offre l'Australie, ne serait-il pas à propos de relâcher un jour ou deux aux îles Tristan d'Acunha et d'Amsterdam? (p. 461).

Sur sa garantie, on s'attendit à de merveilleuses choses (p. 605).

Quoi qu'il en soit, cet aveu d'Ayrton, qui se livrait, pour ainsi dire, sans garantie... (p. 1216).

On connaît son existence depuis plusieurs siècles, ce qui est une garantie (p. 1232).

Проведенный анализ показывает, что данное существительное входит в выражения *garanties de succès* (p. 461), *sur sa garantie* (p. 605), *dire sans garantie* (p. 1216) и сочетается с глаголом *est* (p. 1232).

Лексическая единица *asile* в тексте также встречается четыре раза:

Il s'agissait du salut commun. Si l'inondation croissait, où trouver asile? (p. 362).

Un de ces animaux, surpris par l'inondation, aurait parfaitement pu chercher asile entre les branches de l'ombu (p. 402).

À la côte orientale, à la baie Twofold, à la ville d'Eden, Harry Grant eût non seulement reçu asile dans une colonie anglaise... (p. 501)

Ce village n'est qu'une réunion de huttes indigènes, et loin d'y chercher asile, mon avis est de l'éviter prudemment (p. 1038).

В представленных примерах существительное *asile* сочетается с глаголами *trouver* (p. 362), *chercher* (p. 402, 1038), *reçu* (p. 501). Таким образом, данная лексическая единица неоднократно сочетается с глаголом *chercher*.

3.3. Анализ лексических единиц дальней периферии семантического поля категории «безопасность»

Дальняя периферия семантического поля категории «безопасность» в рассматриваемом тексте романа представлена существительными *assurance*, *fidélité*, *justesse*, *solidité* и *franchise*.

Лексическая единица *assurance* в тексте встречается три раза:

Malgré cette assurance du major, Lady Helena passa la nuit dans les craintes les plus vives et ne put prendre un moment de repos (p. 55).

Il ne fallait rien de moins qu'une telle assurance pour rendre l'espoir aux passagères du Duncan (p. 443).

Glenarvan lui parlait avec une telle assurance, qu'il craignit de s'être trompé en lisant cette lettre (p. 1186).

Анализ показывает, что *assurance* сочетается с определениями *du major* (p. 55), *telle* (p. 443, 1186) и глаголами *fallait* (p. 443), *parlait* (p. 1186).

Лексическая единица *fidélité* в тексте встречается два раза:

C'était un désespoir général. Seuls entre tous, les Glenarvan crurent que la fidélité liait les grands comme les petits... (p. 36).



Ces tombes sont ornées de statues de bois qui reproduisent avec une fidélité parfaite les tatouages du défunt (p. 1075).

При этом она сочетается с определением *parfaite* (p. 1075) и глаголами *liait* (p. 36), *reproduisent* (p. 1075).

Лексическая единица *justesse* в тексте встречается два раза:

Le silence de la nuit n'était interrompu que par les hululements du « morepork », qui donnait la tierce mineure avec une surprenante justesse comme les tristes coucous d'Europe (p. 802).

Les observations du major les frappaient par leur justesse (p. 457).

Будучи существительным, *justesse* сочетается с определением *surprenante* (p. 802) и с глаголом *frappaient* (p. 457).

Лексическая единица *solidité* в тексте встречается два раза:

...Lady Helena n'avait pas trop préjugé des qualités du Duncan; construit dans des conditions remarquables de solidité et de vitesse, il pouvait impunément tenter un voyage au long cours (p. 62).

...ils ne lui parurent pas offrir une grande solidité... (p. 1113).

В тексте представленных образцов рассматриваемая лексическая единица сочетается с определением *grande* (p. 1113) и с глаголами *construit* (p. 62), *offrir* (p. 1113).

Лексическая единица *franchise* в тексте встречается два раза:

...son insistance à mander le Duncan à la côte, la mort étrange des animaux confiés à ses soins, enfin un manque de franchise dans ses allures... (p. 830).

Il peut vous être tenu compte d'une franchise qui est votre dernière ressource (p. 1200).

Она сочетается с глаголами *manquer* (p. 830) и *tenir compte* (p. 1200).

3.4. Анализ лексических единиц крайней периферии семантического поля категории «безопасность»

Крайняя периферия семантического поля категории «безопасность» представлена существительными *apaisement* и *talisman*.

Лексическая единица *apaisements* в тексте встречается во фразе: *Le silence semblait plus profond dans ces apaisements momentanés (p. 851).*

Лексическая единица *talisman* в тексте встречается во фразе: *Là-dessus, le prince embrassa le vieillard, et s'enfuit à la recherche de son talisman (p. 406).*

Соответственно, они сочетаются с определением *momentanés* (p. 851) и глаголом *s'enfuir* (p. 406).

Обобщим установленные связи в сводной таблице.



**Распределение связей лексических единиц семантического поля
категории «безопасность» в романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта»**

Структура семантического поля	Элементы семантического поля	Связанные лексические единицы	
		определения	глаголы
Ядро	<i>confiance, calme</i>	<i>absolue</i> (5*), <i>digne</i> (3), <i>complet</i> (2), <i>toute</i> (2), <i>parfaite</i> (1), <i>entière</i> (1), <i>juvénile</i> (1), <i>majestueux</i> (1), <i>accoutumé</i> (1)	<i>avoir</i> (3), <i>parler</i> (2), <i>respirer</i> (2), <i>venir</i> (1), <i>marcher</i> (1), <i>s'avancer</i> (1), <i>attendre</i> (1), <i>mériter</i> (1), <i>remercier</i> (1), <i>inspirer</i> (1), <i>mettre</i> (1), <i>garder</i> (1), <i>régner</i> (1), <i>sourire</i> (1), <i>conserver</i> (1), <i>affecter</i> (1), <i>témoigner</i> (1), <i>imposer</i> (1)
Ближняя периферия	<i>sûreté, adresse, précision, protection, tranquillité, sécurité, paix, garantie, asile</i>	<i>parfaite</i> (2), <i>remarquables</i> (2), <i>telle</i> (1), <i>tous</i> (1), <i>relative</i> (1), <i>grande</i> (1), <i>superstitieuse</i> (1), <i>haute</i> (1), <i>limpide</i> (1), <i>extrême</i> (1), <i>trompeuse</i> (1)	<i>faire</i> (3), <i>dépendre</i> (2), <i>être</i> (2), <i>chercher</i> (2), <i>trouver</i> (2), <i>se trouver</i> (1), <i>se tenir</i> (1), <i>s'emparer</i> (1), <i>admirer</i> (1), <i>montrer</i> (1), <i>pouvoir</i> (1), <i>niveler</i> (1), <i>exécuter</i> (1), <i>assaillir</i> (1), <i>s'affirmer</i> (1), <i>manier</i> (1), <i>se reconnaître</i> (1), <i>prendre</i> (1), <i>situer</i> (1), <i>se confondre</i> (1), <i>régner</i> (1), <i>reprendre</i> (1), <i>troubler</i> (1), <i>assurer</i> (1), <i>indiquer</i> (1), <i>laisser</i> (1), <i>endormir</i> (1), <i>recevoir</i> (1)
Дальняя периферия	<i>assurance, fidélité, justesse, solidité, franchise</i>	<i>telle</i> (2), <i>parfaite</i> (1), <i>du major</i> (1), <i>surprenante</i> (1), <i>grande</i> (1)	<i>falloir</i> (1), <i>parler</i> (1), <i>lier</i> (1), <i>frapper</i> (1), <i>construire</i> (1), <i>offrir</i> (1), <i>manquer</i> (1), <i>tenir compte</i> (1)
Крайняя периферия	<i>apaisement, talisman</i>	<i>momentanés</i> (1)	<i>s'enfuir</i> (1)

Примечание: в скобках указано количество упоминаний указанной лексической единицы в связке с существительными, обозначающими в тексте романа категорию «безопасность».

Анализ выстроенной таблицы показывает, что в романе “Les enfants du capitaine Grant” лексические единицы, обозначающие безопасность, сочетаются с обширным списком определений и глаголов. При этом глаголы характеризуются большей вариабельностью, чем определения.

Наиболее часто в сочетании с лексическими единицами, обозначающими безопасность, автор использует такие определения, как *absolue*



(n=5), *parfaite* (n=4), *telle* (n=3), *digne* (n=3), *toute* (n=3), *complet* (n=2), *grande* (2). Среди глаголов, сочетающихся с ними, повторяются *avoir* (n=3), *parler* (n=3), *faire* (3), *respirer* (2), *dépendre* (2), *être* (2), *chercher* (2), *trouver* (2).

4. Заключение

По результатам проведенного исследования нами сделаны следующие основные выводы.

1. В романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта» категория «безопасность» раскрывается на основе массива лексических единиц, включающих *adresse*, *apaisement*, *asile*, *assurance*, *calme*, *confiance*, *garantie*, *talisman*, *tranquillité*, *paix*, *précision*, *protection*, *justesse*, *fidélité*, *franchise*, *sûreté*, *sécurité*, *solidité*.

2. Лексические единицы, обозначающие категорию «безопасность», в тексте романа встречаются неравномерно. В ядро семантического поля данной категории входят лексические единицы *confiance* и *calme*; в зону его ближней периферии — *sûreté*, *adresse*, *précision*, *protection*, *tranquillité*, *sécurité*, *paix*, *garantie*, *asile*; в зону дальней периферии — *assurance*, *fidélité*, *justesse*, *solidité*, *franchise*; в зону крайней периферии — *apaisement* и *talisman*.

3. Использование в романе лексических единиц, обозначающих безопасность, сочетается с некоторым массивом определений и глаголов. Используемые в тексте романа глаголы характеризуются большей вариабельностью по сравнению со связанными с ними определениями. Наиболее часто в сочетании с лексическими единицами, обозначающими безопасность, автор использует определения *absolue*, *parfaite*, *telle*, *digne*, *toute*, *complet*, *grande*, а также глаголы *avoir*, *parler*, *faire*, *respirer*, *dépendre*, *être*, *chercher*, *trouver*.

Значимость результатов данного исследования основывается на необходимости выявления семантических возможностей французского языка в описании лексемы «безопасность» в приключенческих текстах XIX века как познавательного ресурса о восприятии, реагировании и представлении соответствующего ей класса ситуаций. Установление лексических особенностей выражения категории «безопасность» в романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта» позволяет лучше понять традиции представления данной категории в работах авторов-последователей приключенческого жанра. Кроме того, данный материал может послужить основой для интерпретации психологических эффектов восприятия такого рода произведений любителями жанра.

Список литературы

Артемьева, И.Н., 2022. Роман Жюль Верна «Ледяной сфинкс» и поэтика высоких широт во французской литературе XIX века. *Древняя и Новая Романия*, 29, с. 106–124. [Artemieva, I., 2022. Jules Verne's Novel "The Ice Sphinx" and the Poetics of High Latitudes in French Literature of the XIX Century. *Ancient and New Romania*, 29, pp. 106–124] EDN: QOWUQW.



Варзинова, В. В., Трофимова, Л. В., 2023. Стилистические особенности приключенческого жанра на примере романа Жюль Верна «Таинственный остров». *Вестник науки*, 2 (59), с. 156–162. [Varzinova, V. V. and Trofimova, L. V., 2023. Stylistic features of the adventure genre on the example of Jules Verne's novel "The Mysterious Island". *Bulletin of Science*, 2 (59), pp. 156–162 (in Russ.)] EDN: RFJOIN.

Марченкова, И. С., 2020. Жюль Верн на уроке французского языка. *Иностранные языки в школе*, 2, с. 74–77. [Marchenkova, I. S., 2020. Jules Verne in a French lesson. *Foreign languages at school*, 2, pp. 74–77 (in Russ.)] EDN: YASAMX.

Стернин, И. А., Рудакова, А. В., 2011. Психолингвистическое значение и его описание. *Теоретические проблемы*. Саарбрюккен. [Sternin, I. A. and Rudakova, A. V., 2011. *Psycholinguistic meaning and its description. Theoretical problems*. Saarbrücken (in Russ.)] EDN: TEGIZR.

Тылец, В. Г., Краснянская, Т. М., 2020а. Психолингвистическое исследование концептов «опасность» и «безопасность» в языковом сознании студентов. *Вопросы психолингвистики*, 1 (43), с. 84–97. [Tylets, V. G. and Krasnyanskaya, T. M., 2020a. Psycholinguistic research of the concepts of "danger" and "safety" in the linguistic consciousness of students. *Questions of psycholinguistics*, 1 (43), pp. 84–97 (in Russ.)] EDN: ZZHWSC, <https://doi.org/10.30982/2077-5911-2020-43-1-84-97>.

Тылец, В. Г., Краснянская, Т. М., 2020б. Психологические особенности представлений любителей произведений фантастического и детективного жанров о субъекте безопасности. *Экспериментальная психология*, 13 (3), с. 180–193. [Tylets, V. G. and Krasnyanskaya, T. M., 2020b. Psychological features of the ideas of fans of works of fiction and detective genres about the subject of security. *Experimental Psychology*, 3 (13), pp. 180–193 (in Russ.)] EDN: EZHKMY, <https://doi.org/10.17759/exppsy.2020.130314>.

Черняховская, Ю. С., 2020. Ж. Верн и Г. Уэллс: две модели развития западного научно-технического романтизма. *Новый филологический вестник*, 4 (55), с. 258–270. [Chernyakhovskaya, Yu. S., 2020. J. Verne and H. G. Wells: Two Models of the Development of Western Scientific and Technical Romanticism. *The New Philological Bulletin*, 4 (55), pp. 258–270 (in Russ.)] EDN: BDGLSV, <https://doi.org/10.24411/2072-9316-2020-00123>.

Dictionnaire Hachette 2023, 2022. Paris.

Dubois, J., Mitterand, H. and Dauzat, A., 2022. *Dictionnaire étymologique et historique du français*. Paris.

Le Petit Robert de la langue française 2024, 2023. Paris.

Verne, J. Les enfants du capitaine Grant. In: *La Bibliothèque électronique du Québec*. Vol. 437. Available at: <https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Verne-Grant.pdf> [Accessed 12 August 2024].

Об авторах

Валерий Геннадьевич Тылец, доктор психологических наук, профессор, Российская международная академия туризма, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-5387-6570

SPIN-код РИНЦ: 2580-3118

E-mail: tyletsvalery@yandex.ru



Татьяна Максимовна Краснянская, доктор психологических наук, профессор, Московский гуманитарный университет, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-4572-6003

SPIN-код РИНЦ: 5043-8970

E-mail: ktm8@yandex.ru

Для цитирования:

Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Категория «безопасность» в романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта» // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 98–113. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-7.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

THE CATEGORY OF “SECURITY” IN JULES VERNE’S NOVEL “THE CHILDREN OF CAPTAIN GRANT”

Valery G. Tylets¹, Tatiana M. Krasnyanskaya²

¹ Russian International Academy of Tourism,
71 Izmailovskoe Shosse, Moscow, 105187, Russia

² Moscow University for the Humanities,
5 Yunosti St., Moscow, 111395, Russia

Submitted on 11.10.2024

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-7

The aim of the study was to identify the semantic features of the representation of the category of security in the French text of Jules Verne’s novel “Les Enfants du capitaine Grant” (“The Children of Captain Grant”). The results show that in Verne’s novel the category of security is verbalized by a set of lexical units, including adresse, apaisement, asile, assurance, calme, confiance, garantie, talisman, tranquillité, paix, précision, protection, justesse, fidélité, franchise, sûreté, sécurité, and solidité. Lexical units expressing the category of security occur unevenly throughout the text. The core of the semantic field is formed by the lexical units confiance and calme. The near periphery includes sûreté, adresse, précision, protection, tranquillité, sécurité, paix, garantie, and asile; the far periphery comprises assurance, fidélité, justesse, solidité, and franchise; and the extreme periphery is represented by apaisement and talisman. The use of lexical units denoting security in the novel is accompanied by a specific set of modifiers and verbs. The verbs display greater variability than the adjectives associated with these lexical units. Most frequently, the author combines security-related lexemes with the adjectives absolue, parfaite, telle, digne, toute, complète, and grande, as well as with the verbs avoir, parler, faire, respirer, dépendre, être, chercher, and trouver. Identifying the lexical features through which the category of security is expressed in “The Children of Captain Grant” makes it possible to gain a deeper understanding of the conventions governing its representation in works belonging to the adventure genre.

Keywords: category, lexical unit, security, semantic field



The authors

Prof. Valery G. Tylets, Russian International Academy for Tourism, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-5387-6570

E-mail: tyletsvalery@yandex.ru

Prof. Tatyana M. Krasnyanskaya, Moscow University for the Humanities, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-4572-6003

E-mail: ktm8@yandex.ru

To cite this article:

Tylets, V.G., Krasnyanskaya, T.M., 2026, The category of “Security” in Jules Verne’s novel “*The Children of Captain Grant*”, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 98 – 113. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-7.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

**«СТАРЫЙ АД, ПРЕТВОРЕННЫЙ В НОВОЕ ЧИСТИЛИЩЕ»:
ТРЕВОЖАЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ В РОМАНЕ
«ОТЕЛЬ С ПРИВИДЕНИЯМИ» У. КОЛЛИНЗА**

Р. Е. Соколов¹, А. Г. Степанов²

¹ Россия, Чебоксары

² Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
Россия, 428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 53

Поступила в редакцию 17.07.2025 г.

Принята к публикации 15.10.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-8

Цель статьи состоит в выявлении репрезентативных возможностей готического текста на примере повести Уилки Коллинза «Отель с привидениями: мистерия современной Венеции» (1878). При анализе произведения авторы опираются на герменевтическую методологию, направляя основное внимание на исторический подтекст повести, выраженный в ее образном строе, а также во множестве содержащихся в ней аллюзий и реминисценций, имеющих ярко выраженное историческое наполнение. Необходимость применения такой методологии продиктована основной задачей исследования: продемонстрировать возможность истолкования повести Коллинза как специфической исторической репрезентации. В результате анализа эксплицировано забуа-лированное историческое содержание повести, благодаря которому ее можно рассмат-ривать как специфическую репрезентацию исторической реальности, близкую к ре-презентации онейрической: исторические персонажи и события в ней претерпевают процесс символизации, напоминающий работу сновидения по Фрейдю, а само истори-ческое редуцируется до «семейного». Хотя такая редукция исключает историю как таковую, она предоставляет большие возможности для репрезентации смысла истори-ческих событий посредством изображения определенного исторического опыта. Наряду с фрагментарным готическим нарративом графини Нароны именно истори-ческий опыт (термин Франклина Р. Анкерсмита), присутствуя в повести подобно «сновидению в сновидении», раскрывает истину этого произведения с загадочным фи-налом. Финал повести, в котором открыто декларируется невозможность раскрытия «тайны отеля», играет роль триггера для иносказательного прочтения повести, ко-торое и предпринято в статье.

Ключевые слова: *викторианская литература, вытесненный исторический опыт, готическая фантазия, готические элементы в сенсационной литературе, катастро-фическое письмо, образ прошлого, онейрическая репрезентация, репрезентативные воз-можности реминисценции*

1. Введение

Степень соответствия между миром литературного текста и исто-рической реальностью является важным критерием дифференциации литературных жанров в связи с их способностью представлять челове-ческую историю. Так, исторический роман в этом отношении макси-



мально репрезентативен, поскольку его мир максимально приближен к миру реальной истории. Меньшая, но достаточно высокая репрезентативность отличает реалистические произведения. Еще меньшей репрезентативностью обладают произведения романтизма. И наконец, минимальная или даже нулевая репрезентативность у фантастической литературы, так как она предлагает «описание фантастического универсума, который не имеет... реальности вне языка» (Годоров 1999, с. 80). Эта простая схема, однако, перестает работать, когда мы говорим о репрезентации *смысла* исторических событий, поскольку его представление вовсе не предполагает буквальной передачи самих событий, а может происходить путем иносказания. В плане представления прошлого фантастическая литература в известном смысле даже *дополняет* исторические и реалистические литературные жанры, поскольку имеет в своем распоряжении целый арсенал художественных средств, которые у этих жанров отсутствуют. С их помощью писатель создает фантастический мир, отчасти напоминающий мир онейрических образов. В произведении реальные события переводятся в образный план, обретают символическую форму, «шифруются» и выступают своеобразным бэкграундом фантастических мотивов и сюжетов. Специфика таких произведений заключается в том, что они способны представлять *вытесненный исторический опыт*, подобно тому как в сновидении могут обретать манифестацию вытесненные желания. Благодаря наличию символической формы, маскирующей историческое содержание, у этих произведений появляется возможность обходить цензурные запреты — налагаемые не только обществом, но и самим автором, не позволяющим «себе затрагивать некоторые табуированные темы» (Там же, с. 127), — и говорить о наиболее травматических событиях, снимая их болезненный характер простым переводом в пространство фантастического и ирреального. Теоретически такой перевод может осуществляться и бессознательно, но, как правило, автор все-таки производит процесс символизации вполне осознанно и отдает себе отчет в том, какие исторические аллюзии и реминисценции содержатся в его творении.

Определение «исторического источника» такого рода сочинений путем герменевтической расшифровки их образного строя позволяет рассматривать эти сочинения как специфические *исторические репрезентации*. При этом важно не только установить связь между образом и его историческим референтом, но и определить характер отношений между имплицитно представленным в произведении прошлым и тем настоящим, из которого оно видится, чтобы понять, как в произведении осуществляется так называемый *исторический опыт*.

Понятие исторического опыта было разработано одним из представителей современной аналитической философии Франклином Р. Анкерсмитом. С его помощью он пытается решить сложную проблему — освободиться от «тирании» лингвистической парадигмы, господствующей ныне в историческом дискурсе. По мнению нидерландского философа, «лингвистический поворот», определивший вектор развития исторического знания в XX веке, привел к тотальной редукции истории



к текстам, то есть к забвению живого и конкретного характера исторической реальности. Для выхода из этого когнитивного тупика Анкерсмит предлагает вернуть уже «забытое» понятие *опыт*, наделив его историческими коннотациями. На взгляд философа, именно *исторический опыт* доносит до историка тот смысл, из которого рождаются затем его нарративы. Исторический опыт Анкерсмита можно сравнить с опытом, описанным в романе «В поисках утраченного времени». Разница лишь в том, что у Пруста содержанием описанного опыта является индивидуальное прошлое субъекта, возвращающееся к нему в «очищенном» виде вследствие случайной чувственной ассоциации, у Анкерсмита же в качестве содержания такого опыта выступает «аромат» ушедшей эпохи, улавливаемый историком как некое «историческое ощущение» в ходе восприятия им различных артефактов. Однако в некоторые переходные эпохи, когда социальные изменения обретают стремительный характер, исторический опыт могут испытывать не только историки, но и обычные люди. Но и в том и в другом случае речь идет об опыте «внутреннего раскола» между прошлым и настоящим, которые лишь на краткий миг могут сблизиться друг с другом, никогда полностью не сливаясь и в конечном счете дивергируя. Вот почему исторический опыт — это опыт «ностальгии» по утраченному прошлому, опыт невозможности соединиться с объектом своей «любви».

Однако прошлое далеко не всегда заключает в себе только «приятные моменты», оно, как нам всем известно, может быть также темным, тревожащим и даже пугающим. Радикальные изменения, происходящие в мире в периоды революционных потрясений, воспринимаются абсолютным большинством людей как катастрофические, несущие угрозу установившемуся в мире порядку и чреватые непредсказуемыми последствиями для их жизни. В истории Европы таким катастрофическим событием, совпавшим к тому же со стремительным развитием техники, была Французская революция 1789 года. Именно совпадение сразу двух революций (Французской и индустриальной), названное Хобсбаумом «двойственной революцией» (1999), оказало решающее влияние на историю западных стран.

Изменения, произошедшие в западном мире в период между 1789 и 1848 годами, привели к тому, что «впервые в истории прошлое обрело почти осязаемую реальность, а потому стало неизбежным предметом исследования» (Анкерсмит 2007, с. 209). Реакцией на катастрофический исторический опыт, поначалу казавшийся воплощением вековых надежд человечества, а затем обернувшийся чередой кошмарных событий, «стал историзм, предложивший способ обращения с таким незаурядным предметом опыта» (Там же, с. 210).

На протяжении XIX века историзм постепенно проникает во все области культуры, он не только находит свое выражение в исторических концепциях, возникших в этот период, но и окрашивает собой такие интеллектуальные сферы, как философия и литература. Причем речь идет не только об элитарных творениях (типа «Феноменологии духа» Гегеля), но и о продуктах массовой культуры. Одному из них — готиче-



ской повести Уилки Коллинза «Отель с привидениями: мистерия современной Венеции» (1878) — и посвящена данная статья. Проводя анализ этого произведения в качестве специфической исторической репрезентации, мы намерены продемонстрировать, как историзм вторгается в самые, казалось бы, далекие от него сферы культурного сознания, как он в них трансформируется и какое место здесь отводится *возвышенному историческому опыту*; на возвышенный характер этого опыта указывает, в частности, та литературная форма, в которой он представлен: готическая фантазмагория, ибо «обращение к воображению и неправдоподобию... является частью новой концепции... модерного возвышенного» (Павел 2025, с. 169).

Избрав для своего нового творения жанр готической повести с элементами детектива, Коллинз наверняка отдавал себе отчет в репрезентативных возможностях этого жанра, не допускающего подробного (реалистического) описания самих исторических событий, но в то же время позволяющего очень выразительно представить опыт их переживания, передав с помощью такого «обходного маневра» как сущность этих событий, так и собственное отношение к ним. Иными словами, жанр готической повести наилучшим образом подходил для передачи того тревожного или даже катастрофического опыта, которым стало для многих европейцев событие Французской революции. О катастрофическом характере этого события говорит хотя бы тот факт, что оно оставило «неизгладимый, травмирующий отпечаток на психике целого поколения» (Steinberg 2015, p. 39). Это нашло выражение как в общей невротизации населения Франции в этот и последующий периоды, так и в росте числа убийств, совершенных людьми, «чье детство прошло у подмостков Террора» (Ibid.). Разумеется, произошедшее тогда во Франции не оставило равнодушными и жителей других европейских стран (особенно тех, что располагаются по соседству), поскольку Французская революция не была локальным событием, а определила всю дальнейшую историю Европы. Сегодня хорошо известно, как эти события воспринимались на родине Коллинза, в Англии. С одной стороны, сама революция виделась англичанам как бы издалека, с безопасного расстояния; но с другой — ее результатом стало то, что их собственная страна оказалась вовлеченной в череду трагических событий (включая войну, бедствия, голод и связанный с ними усиливающийся раскол в обществе), грозящих не только ее благополучию, но, быть может, и самому ее существованию в качестве монархического государства.

В целом рецепцию Французской революции в Англии в этот период можно разделить на два этапа: 1) после взятия Бастилии: первоначальная эйфория и резкий подъем реформаторского движения и 2) после казни Людовика XVI: шок от этого известия и начало Континентальной войны. И в том и в другом случае сообщения о происходившем по ту сторону Ла-Манша вызвали в английском обществе сильный эмоциональный отклик. «Новости о событиях во Франции потрясли англичан, не ожидавших крушения монархии и разгула мятежей. Некоторые восприняли известия о Французской революции с подозри-



тельностью и тревогой, однако многие с нескрываемой радостью приветствовали поражение деспотизма и восстановление свобод. Многие усматривали сходство со “Славной революцией” 1688 года, когда был свергнут король Яков II из династии Стюартов. Вдобавок многие надеялись, что Франция будет слишком занята внутренними проблемами, а значит, не будет представлять угрозу английским интересам и торговле» (Акройд 2021, с. 460). Однако вскоре эти эйфорические ожидания сменились глубоким потрясением и «священным ужасом» (Томас Джефферсон), вызванным казнью французского короля 21 января 1793 года. «Лондонские театры закрылись, а все, кто мог позволить себе черное, облачились в траур. Даже Фокс, убежденный франкофил, назвал случившееся “возмутительным примером жестокости и несправедливости”. На каждом углу глашатаи кричали о новых и новых убийствах и бесчинствах во Франции. Когда король Георг III выехал из дворца, толпа встретила его с криками “Война с Францией!”. Сообщалось, что Парижем правят тигры» (Там же, с. 475).

Такая реакция на события во Франции может быть объяснена, с одной стороны, культурными особенностями Англии, а с другой — тем, что эти события воскрешали в памяти ее собственный травматический исторический опыт — революцию 1640–1649 годов, сопровождавшуюся казнью короля, гражданской войной, репрессиями и диктатурой Кромвеля. Как показывает представленный ниже анализ произведений Коллинза с революционной тематикой, несмотря на свою приверженность социалистическим идеям и «радикальную» позицию в вопросе прав женщин, в своей оценке революции писатель придерживался типично «английского», консервативного подхода к этому вопросу, не допускавшего оправдания никакого революционного террора. По словам Питера Акройда, «многие англичане едва ли последовали бы за Дантоном, Робеспьером и даже Бонапартом. Народ в своем большинстве поддерживал Георга III и Уильяма Питта, отстаивал полубожественное сосуществование короля и его подданных, пусть даже король сошел с ума, а страна находилась в бедственном положении» (Там же, с. 486). Думается, что отношение большинства англичан к Французской революции лучше всех выразил Эдмунд Бёрк, который связывал ее «с великим кризисом, затрагивающим не одну Францию, но и всю Европу, а может быть, и не только Европу» (Бёрк 2023, с. 16) и определил как «самое удивительное событие из всех случившихся в мире до сего времени» (Там же).

2. История вопроса

«Отель с привидениями» не принадлежит к числу самых известных произведений Уилки Коллинза, поэтому существует не так много работ, специально посвященных данному тексту. Среди них нет ни одной, в которой повесть Коллинза рассматривалась бы как попытка говорить об истории. Тем не менее имеется ряд трудов, которые помогли нам лучше увидеть имплицитную историческую проблематику данной



повести. Прежде всего следует назвать статью американской специалистки по викторианской литературе Ланьи Ламурии (Lamouria 2010), анализирующую некоторые тексты Коллинза, так или иначе затрагивающие недавнюю «революционную» историю, важнейшим из которых, по ее мнению, следует считать роман «Женщина в белом», поскольку именно в нем Коллинз показывает тот кардинальный исторический сдвиг, который отделяет эпоху революций от современной ему «эпохи частной жизни», в то же время отмечая парадоксальное сходство двух этих эпох. Ламурия обращает внимание на такие представленные в произведениях Коллинза темы, как насилие и террор в годы революции и Наполеоновских войн, отношение викторианских аристократов к Французской революции, судьбы бывших бунтарей в постреволюционном мире и, самое главное, «семейный террор», который, согласно Ламурии, был для самого Коллинза «субститутом» революционного террора в викторианском обществе.

Анализируя рассказ «Девять часов», Ламурия приходит к важному выводу, что Коллинз «задумал» это произведение «как средство исследования идеи о том, что Царство террора превратило готический мир сверхъестественной тайны и насилия в историческую реальность» (Ibid., p. 303). Коллинз сосредоточивает основное внимание на травматическом характере революционных событий, соединяя исторический нарратив с семейным (мотив родового проклятия) и представляя революцию в терминах готического хоррора. Преобразуя историческое повествование в готическое, он в действительности не удаляется от исторической реальности, а вскрывает ее подлинное травматическое содержание. «Умная готическая адаптация Коллинза напоминает нам, что Террор сделал истребление целых семей политическим императивом... он использует эту историю, чтобы продемонстрировать, что Революция превратила элементы готического кошмара (в данном случае родовое проклятие) в черты реальной жизни» (Ibid.). Тот же подход мы можем обнаружить и в других произведениях Коллинза, непосредственно связанных с событиями Французской революции и революционного террора, — «Сестра Роза» и «Женитьба Габриэля». В них, как и в большинстве текстов писателя, готические элементы вступают во взаимодействие с реалистическими, но общее ощущение тревоги и мрачная атмосфера сохраняются. В других произведениях, где действие происходит уже в середине XIX века, Коллинз не без иронии демонстрирует разрыв между революционной эпохой и современным стабильным и безопасным настоящим, чья стабильность и безопасность, однако, оказываются под вопросом, так как революционный террор не исчезает совсем, а лишь меняет форму, обретая черты террора семейного. Таким образом, статья Ламурии позволяет нам сделать вывод о том, что Коллинз воспринимал Французскую революцию (а вслед за ней и революцию вообще) в первую очередь как травматическое событие. Революция для Коллинза (если судить по его произведениям) — это готический кошмар, а вовсе не способ установления на земле свободы, равенства и справедливости.



В статье американской исследовательницы творчества Коллинза Натали Б. Кол (Cole 2007) анализируются некоторые аспекты пространственной организации повести, важные для нас в плане экспликации *точки сборки* исторического опыта. Такой точкой сборки в «Отеле с привидениями» выступают два номера в итальянском отеле «Палас». Хотя историческая тема не затрагивается прямо в данной работе, последняя все же позволяет понять связь между некоторыми мотивами «Отеля с привидениями» и аналогичными мотивами в других произведениях Коллинза, в которых они более явно включены в развертывание исторического дискурса. Примером может служить рассказ «Ужасно странная кровать» (1852), в котором «странная кровать», служащая изощренной машиной убийства и расположенная в спальне одного из злых мест Парижа, становится местом жуткого исторического опыта, в ходе которого герой буквально переносится во времена инквизиции с ее пыточными устройствами и механизмами. Анализ Кол, таким образом, помогает лучше понять, как в творчестве Коллинза осуществляется связь между готическими и историческими элементами текста.

Большой вклад в понимание скрытого смысла повести вносит книга американского филолога Элеанор Салотто (Salotto 2006, p. 200). Несмотря на наши расхождения с предпринятой ею феминистской трактовкой «Отеля с привидениями», ее блестящая деконструкция данного текста во многом способствовала нашему прочтению произведения Коллинза как имплицитной манифестации исторического опыта, о чем более подробно будет сказано непосредственно при анализе повести.

Не менее важной для нашего анализа произведения Коллинза стала концепция «готической фантазии» Уильяма Патрика Дэй (Day 1985, p. 210). В ней, в частности, содержится объяснение того, почему «обособленность» готического мира, его замкнутость в самом себе и оторванность от исторической реальности не препятствуют его рассмотрению как своеобразной репрезентации этой реальности. Именно Дэй подвел нас к идее понимания готических текстов как онейрических репрезентаций исторического опыта, обратив внимание на тесную связь между содержанием этих текстов и полуосознанными страхами и тревогами, испытываемыми «читателями девятнадцатого века» (Ibid., p. 5).

Другой важный для нас тезис Дэй состоит в том, что исторические феномены могут быть представлены в готическом произведении лишь путем их редукции к «семейным» феноменам, последние же, становясь частью готического сюжета, неизбежно подчиняются той «логике кошмара», которая движет этим сюжетом. Но, как будет показано в данной статье, такой редуцированный формат не мешает готическим текстам служить средством передачи определенного исторического опыта.

На преимущественно «готический» характер «Отеля с привидениями», в числе прочих, обращает внимание специалистка по творчеству Коллинза Дженни Бурн Тейлор. По ее мнению, в этой повести Коллинз



больше, чем где бы то ни было еще, следует готической традиции. Тейлор также подчеркивает, что «сверхъестественные мотивы играют в истории не меньшую роль, чем сенсация» (Taylor 2006, p. 87).

3. Методология исследования

Рассмотрение истории вопроса показало, что анализ «Отеля с привидениями» как репрезентации определенного исторического опыта сталкивается с рядом трудностей, преодоление которых предполагает обращение к герменевтической методологии. Следуя ее принципам, мы будем уделять внимание в основном не буквальному смыслу текста, а его «косвенному», или «скрытому», смыслу. Иначе говоря, будем исходить из установки, что изображенное в повести, не будучи «ясным и отчетливым, подобно чему-то очевидному, держится в непрозрачной светотени» (Wunenburger 2020, p. 36). Литературное произведение выходит за рамки своего буквального, непосредственно доступного содержания, «поскольку состоит из вложенного множества значений» (Ibid.). Наша задача — выявить определенную часть этого «множества». Для этого мы поместим произведение в определенный исторический контекст и прочитаем его с учетом этого контекста. Раскрыв таким образом репрезентативный смысл текста, мы будем трактовать его как манифестацию *вытесненного исторического опыта*, дошедшего до нас окольным путем готической фантазии.

4. «Отель с привидениями» как историческая репрезентация: герменевтический анализ текста

Центральным образом повести Коллинза (о чем говорит само ее название) является отель «Палас». Образ этого здания — это своего рода гибридное образование, соединяющее в себе признаки традиционного готического замка и современного отеля. И это неслучайно: именно благодаря такому «гибридному образу» происходит встреча двух нарративов в повести — готического (фантазийного) и реалистического (исторического). Будучи не чем иным, как «трансформацией» ветхого средневекового замка в современное фешенебельное здание, этот отель символизирует метаморфозу европейского мира: его переход от темного готического прошлого к новой буржуазной действительности, от средневековых суеверий к «рассчитывающему мышлению» (Хайдеггер 1991, с. 104) современного обывателя. Вот почему именно он становится местом протекания исторического опыта, причем речь в данном случае идет не просто о соприкосновении двух эпох европейской истории с разными ценностными ориентирами, но о встрече катастрофической эпохи, знаменующей собой агонию и гибель старого мира, с эпохой относительно стабильной и спокойной.

Однако прошлое в готическом нарративе, подобно графу Дракуле, умирает, не умирая (Day 1985, p. 33). Оно возвращается в виде призраков, которые так же внеисторичны, как и сам готический нарратив. По-



этому, говоря словами Г. Башляра, «все наше прошлое... оживает в новом доме» (2014, с. 42). Однако это прошлое существует не для всех обитателей отеля, а лишь для членов семьи Монтбарри. Только им довелось испытать тот жуткий «исторический опыт», который станет основным объектом нашего анализа. Такую избранность семьи Монтбарри легко объяснить с помощью мотива родового проклятия, имплицитно присутствующего в повести уже в силу ее причастности к готической традиции, но подспудно здесь проводится идея, что именно представители «проигравшего класса», как никто другой, способны глубоко ощутить всю катастрофичность исторического опыта. Здесь мы опять наблюдаем, как традиционный готический мотив обретает функцию исторической репрезентации, отсылая нас к реальному историческому феномену. Однако способность испытывать исторический опыт в данном случае — это не только проклятие, но и дар. Ибо она позволяет видеть ту сторону реальности, к которой слепы почти все остальные персонажи повести, живущие в плоском мире повседневных забот и денежных расчетов.

Тем не менее глубина исторического опыта и, главное, личное отношение к нему различаются у разных членов семейства Монтбарри. Определяющей здесь является степень погруженности в прошлое каждого из них. Чем выше эта степень, тем ярче и глубже оказывается их исторический опыт.

Первым из рода Монтбарри этот опыт испытывает Генри Уэствик. Остановившись в отеле «Палас», он поселяется в номер 14 — вероятно, число здесь намекает на дату взятия Бастилии — 14 июля, — постепенно подготавливая нас к пониманию того, что это место станет *точкой сборки исторического опыта*. Именно в этой комнате жил покойный лорд Монтбарри, затем она стала местом смерти подменившего его слуги Феррари. Несмотря на то что и уютная обстановка номера, и тихая венецианская ночь располагали «ко сну» (Collins 2023, p. 201), Генри так и не уснул, а наутро у него совершенно отсутствовал аппетит, который, однако, вернулся, как только он покинул отель.

Вторым членом семьи Монтбарри, ощутившим на себе таинственную власть прошлого, была миссис Норберри. Она тоже случайным образом оказалась в 14-м номере, но он подействовал на нее не так, как на брата Генри. Всю ночь ей снились кошмары, главным действующим лицом которых был ее брат, убитый лорд Монтбарри. «То его морили голодом в смрадной темнице; то за ним гнались убийцы и, догнав, закалывали ножами; то он тонул в темных пучинах; то лежал в постели, и его пожирал огонь; то какая-то призрачная фигура соблазняла его глотком воды, и он умирал от яда. Повторяемость этих ужасных видений так подействовала на нее, что она поднялась с рассветом и уже не решалась лечь в постель» (Коллинз 2021, с. 139). Затем миссис Норберри оставляет номер 14, сославшись на неудобство кровати, и при содействии управляющего переходит в номер 48 (бывшие апартаменты мнимого или настоящего брата графини Нароны, виновного в смерти ее мужа, лорда Монтбарри; очевидно, это число должно напомнить нам о



1848 году, когда революции прошли по всей Европе; более того, две эти даты — 14 июля 1789 года и 1848 год, — по всей вероятности, были для Коллинза реперными точками, отмечавшими границы «эпохи революций» — ее начало и конец). Кошмарные видения не оставляют миссис Норберри и здесь, и она посреди ночи выбегает из своей комнаты, разбудив при этом немало озадаченного швейцара. В чередке этих «встреч с прошлым» каждая последующая оказывается *интенсивнее* предыдущей, обнаруживается определенная *градация*, которая достигает наибольшей степени в кульминации повести.

Третьим исторический опыт переживает Фрэнсис Уэствик. Он отправляется в Венецию, уже зная о тех «испытаниях», которые перенесли его брат и сестра, и, будучи владельцем собственного театра, предвкушает создание готической драмы, название для которой — «Отель с привидениями» — он придумывает еще в вагоне поезда. В отеле его поселяют в тот же 14-й номер, но с новой табличкой — «13А», подразумевающей традиционный символ всего несчастливого и inferнального.

То, что пришлось пережить Фрэнсису, наиболее близко к тому описанию исторического опыта, которое дает Ф. Анкерсмит. Ибо, несмотря на то что нидерландский философ истолковывает исторический опыт как *интеллектуальный*, он в то же время всячески подчеркивает, что ключевую роль в этом опыте играет *ощущение*. Последнее, впрочем, интерпретируется им скорее как смутное предчувствие, в котором схватывается целостный дух той или иной эпохи, ее «аромат» (Анкерсмит 2007, с. 173). Хотя Коллинз, естественно, не мог читать Анкерсмита (а также Й. Хёйзингу, автора термина «историческое ощущение» (Huizinga 1950, p. 71), он тоже описывает исторический опыт в терминах ощущений, но уже в прямом и конкретном смысле, создавая гротескный и шокирующий образ такого опыта. Словно материализуя метафору Анкерсмита, он превращает его концепт в фантазмагорическое представление.

Фрэнсис один вошел в комнату. Вот она, роспись на стенах и потолке, о которой он столько слышал! Он уяснил это себе с первого взгляда, и в ту же минуту случилась такая мерзость, что он мог теперь заниматься только своими ощущениями. Он вдруг почувствовал, как комната наполнилась непонятно откуда взявшимся зловонием, гадже которого он в жизни своей не знал. В его состав, если такое возможно, входили два вполне различных запаха: слабый и малоприятный душок, замешанный на тошнотворном смраде. Не в силах вынести эту отраву, он распахнул окно и высунул голову наружу (Коллинз 2021, с. 146).

Интересно, что отвратительное зловоние, которое ощущает Фрэнсис Уэствик, состоит из двух запахов. Такой же двойной (но уже вполне *реальный*) запах ощущают члены назначенной после кончины лорда Монтбарри комиссии, расследующей обстоятельства этой кончины, когда спускаются в подвал замка. «Этот запах действовал как бы в два приема. Поначалу он был даже ароматный, но потом делался откоро-



венно тошнотворным» (Там же, с. 68). Поскольку запах здесь явно обретает символическое значение, то естественно предположить, что речь идет о двух периодах прошлого — «ароматной» эпохе революции, пробудившей идеалистические надежды на построение справедливого общества, и «тошнотворном» времени революционного террора, полностью похоронившего эти надежды. Мы видим, как за готическими элементами повести проступают черты исторического опыта европейцев (в частности, англичан) — эйфория, связанная со взятием Бастилии, и потрясение, вызванное известием о казни Людовика XVI. В пользу подобной трактовки говорит и еще одно «реальное» появление этого зловония в сцене нахождения отрубленной головы Монтбарри, когда из темного провала «потек и наполнил комнату тот дикий тошнотворный запах, что прежде отмечался в подвале палатки и спальне этажом ниже» (Там же, с. 198). Таким образом, мотив inferнального зловония — это очередной этап конкретизации манифестирующегося в повести исторического опыта. Перед нами постепенно прорисовываются контуры тех событий истории, на которые намекает этот одновременно таинственный и «тошнотворный» опыт, хотя сами эти события даже не упоминаются. Историческое здесь полностью перенесено из текста в подтекст.

Не все родственники лорда Монтбарри способны испытывать исторический опыт. Весьма далек от этого племянник Стивена Монтбарри, старший сын его сестры леди Барвилл, Артур Барвилл. Артур вместе со своей невестой, леди Холдейн, составляют счастливую пару, совершенно не связанную с inferнальным прошлым и принадлежащую исключительно настоящему. Эпоха исторических потрясений закончилась, началась эпоха частной жизни, в которой люди выглядят несколько «одномерными», но зато они счастливы. Рассказ о бракосочетании этой счастливой пары и описание того, как происходит обустройство венецианского «палатки», благодаря которому древний готический замок превращается в модную гостиницу, ведутся параллельно друг другу, как будто речь идет не о двух, а об одном событии, имеющем единый смысл. Сам Стивен, новый лорд Монтбарри, возможно, испытал бы исторический опыт, если бы оказался в одной из двух таинственных комнат, однако он представляет здесь тип человека, не только всячески избегающего исторического, но и старающегося оградить от него других: для него предпочтительнее все забыть, нежели хранить верность прошлому. В финале повести он бросает в огонь пьесу-исповедь графини Нароны, единственное свидетельство разыгравшейся в замке трагедии. Однако его старшая дочь, будучи еще ребенком, все же испытывает исторический опыт, случайно оказавшись в номере Агнес. Увидев бурое пятно на потолке, она испускает «воплъ ужаса», решив, что это кровь (Там же, с. 177–178).

Кульминационным моментом повести становится опыт, испытываемый одновременно Агнес Локвуд и графиней Нароной. Обе эти героини — одна из которых, видимо, олицетворяет старое «дворянство шпаги», которое было, по сути, предано Людовиком XVI, когда он со-



звал генеральные Штаты, другая же, напротив, символизирует новое «дворянство мантии», в конечном счете погубившее короля, подвигнув его на преобразования и допустив к власти Робеспьера, — изображаются как прочно связанные со своим прошлым, а следовательно (в подтексте), с европейской историей вообще. Агнес Локвуд хранит память о лорде Монтбарри, несмотря на то что он ее бросил. Точно так же графиня, даже в своем полубезумном состоянии, верна барону Ривару и как бы по его просьбе пишет пьесу, в которой объясняет обстоятельства совершенного вместе с ним преступления. На прочную связь Агнес с катастрофическим прошлым указывает также ее путешествие в Италию. Во-первых, сами «поездки» в эту страну для многих европейцев в XIX веке «были... еще и путешествием в прошлое, — в этом смысле выражение “опыт прошлого” мог иметь для них почти буквальный смысл» (Анкерсмит 2007, с. 214—215). Во-вторых, маршрут этого путешествия проходит по наиболее революционным пунктам Европы — Ирландии (как самого непокорного региона Великобритании, на всем протяжении своей истории не желавшего подчиняться английской короне), Парижа (объяснения излишни), Венеции (области Италии, дольше всего сопротивлявшейся австрийским войскам при подавлении восстания 1849 года, откликом на которое стало обращение Коллинза к революционной тематике). В-третьих, в Париже Агнес пребывает в состоянии подавленности, словно она перенеслась в прошлое этого города с его террором и убийствами. В ответ на очередное предложение Генри Уэствика заключить с ним брак она произносит фразу, имеющую двойной смысл: «Неужели ты не видишь, что это оставило след во мне на всю жизнь?» (Коллинз 2021, с. 132). В-четвертых, когда Агнес приезжает в отель «Палас», ее беспокойство еще больше усиливается, а сама она претерпевает настоящую метаморфозу, как будто через нее начинает говорить прошлое: она переживает те эмоции, которые были в ней подавлены.

Жуткий исторический опыт, который Агнес переживает в номере 13А, проходит как бы в несколько этапов. На первом она пересекает границу, отделяющую явь от сна, «проваливается в сон»: переходит из рационального мира в мир кошмара и мрака. То, что происходит вслед за этим, по своему содержанию напоминает галлюцинацию и могло бы ей быть, если бы не происходило в реальности. Агнес внезапно просыпается, не понимая, что ее разбудило. Она ощущает вокруг себя абсолютную тьму и какой-то «сумбур» в голове. Вдруг ее охватывает ужас — она обнаруживает, что в комнате не одна, что кто-то сидит в кресле; приглядевшись, она узнает спящую графиню Нарону. Попытки разбудить ее остаются безрезультатны. Агнес видит, что графиню «терзает кошмар». Затем она замечает в комнате еще одного «гостя», внешность которого говорит нам о том, что перед нами действительно описание *исторического опыта*, а не просто история в стиле хоррор: «Отделившись от потолка, над ней нависла словно ножом гильотины отрубленная голова» (Там же, с. 185). Упоминание гильотины здесь явно не случайно, оно вводит в готический нарратив историческую тему. Далее



следует подробное описание мертвой головы, которая начинает медленно опускаться на «простертую Агнес», и одновременно с этим «так же медленно стало заполнять комнату то сдвоенное зловоние, которое члены комиссии обнаружили в подвале палатцо, а Фрэнсис Уэствик, рискуя здоровьем, вдыхал в спальне нового отеля» (Там же, с. 186). В конце сцены призрачная голова, разлепив веки, с грозным видом устремляется к спящей женщине, и та просыпается. «Агнес видела этот взгляд, видела, как у живой так же медленно, по-мертвому разлепились веки, видела, как та поднялась, словно повинуюсь безмолвному распоряжению, — и дальше она ничего не видела» (Там же).

Исторический опыт Агнес обрывается именно на том месте, где он мог что-то прояснить, поэтому он ничего не прояснил, а лишь оставил ощущение жути и ужаса. Как замечает исследователь викторианской литературы Стивен Прикетт, такая непроясненность вообще характерна для готической литературы, поскольку в роли нарратора выступает здесь «литературный посредник, который не рассказывает нам историю, а скорее предлагает словесные образы. Готика боролась против чрезмерной рациональности строителей систем восемнадцатого века не с помощью последовательных аргументов, а с помощью вспышек, которые преследуют бодрствующий разум, как образы снов» (Prickett 2005, p. 74). Коллинз сохраняет этот идеологический критицизм в повести, неоднократно демонстрируя нам, что поведение людей подчиняется вовсе не их разуму, а темным инстинктам, и что подлинное знание о происходящем можно обрести лишь благодаря мистическому прозрению.

Отрицательное отношение к Просвещению в повести наиболее явно выражается при описании «Комнаты с кариатидами», в западном крыле отеля. Находящиеся под каминной доской фигуры кариатид, изготовленные в XVIII столетии, «в полной мере обличают тогдашний испортившийся вкус», а сам камин несет в себе «недобрую память» о «временах инквизиции» (Коллинз 2021, с. 193). Именно под этой комнатой Генри Уэствик обнаруживает секретный подвал, где находилась голова лорда Монтбарри, сохранившаяся лишь благодаря тому, что барон Ривар не успел растворить ее в кислоте вместе с остальными частями тела. Комнате, символизирующей здесь эпоху Просвещения, таким образом, отведена роль шкафа со скелетом, как, впрочем, и самому отелю — таинственной аллегории викторианской эпохи.

Редуцируя историю к семейной истории, а террор к семейному террору, Коллинз передает свое понимание отношения между «пристойным» викторианским настоящим и шокирующим «готическим» прошлым. Не выходя за рамки готического нарратива, он присваивает своим героям способность представлять обе эти эпохи: убитый лорд Монтбарри отсылает к казненному Людовику XVI, заключившему «мистический брак» со своим народом (Descimon 1992), но совершившему «предательскую» попытку бежать за границу; имеющий внешность типичного француза барон Ривар, пытающийся с помощью своих экспериментов добыть философский камень и очень нуждающийся в день-



гах, из-за чего и совершает преступление, отсылает равно к фигурам революционеров и просветителей; пассивная и верная старинным традициям Агнес Локвуд, обманутая своим женихом и бессознательно мстящая ему, невольно подталкивая к преступным действиям своих соперников, отсылает к «дворянству шпаги»; графиня Нарона, выступающая то как роковая женщина, то как жертва рока, олицетворяет не только «дворянство мантии», но и бежавших от революции аристократов, желавших донести до людей историческую правду в своих сочинениях о революции. Таким образом, все основные типы персонажей, заимствованные из арсенала готической литературы (такие как герой-злодей, невинная героиня в беде и т. п.), обретают определенную историческую коннотацию.

Одним из характерных приемов готического повествования является «рассказ в рассказе». Он также присутствует в повести, но выполняет здесь весьма специфическую функцию. Речь идет о незавершенной «пьесе» графини Нароны, которую Элеанор Салотто, анализируя викторианские нарративы в «дарвиновской парадигме», рассматривает как неудачную попытку женщины высказать свою правду о происходящем, вытесненную «мужскими нарративами». По ее мнению, текст «Отеля с привидениями» создавался Коллинзом как метанарратив, демонстрирующий подавление женского голоса в викторианском обществе. На наш взгляд, такая трактовка сужает смысл повести. Мы полагаем, что пьеса Нароны представляет собой не женский нарратив, а манифестацию исторического бессознательного, которое не может быть выражено в рациональном нарративе в принципе и требует иной формы выражения, например фрагментарного готического письма, практикуемого Нароной, само имя которой говорит о ее связи с *проблемой нарратива*, а в контексте нашего исследования — с проблемой соотношения *опыта* и *нарратива* и невозможности высказать в *письме* истину *опыта*. Поскольку, как показывает Анкерсмит, эта проблема встречается и у других писателей XIX века, в частности у Л. Н. Толстого (2007, с. 549), думается, что Коллинз тоже мог размышлять над этим вопросом и отразить свои размышления в данном произведении, введя в него «катастрофическое письмо» Нароны в качестве «безумного» нарратива, который рассказывает о таинственной стороне истории, недоступной рациональному пониманию. Включение в повесть этого нарратива по своей интенции сходно с включением в нее описания исторического опыта. Анализ последнего возвращает нас к «Толкованию сновидений» Фрейда — к тому месту, где объясняется феномен «сновидения в сновидении». Фрейд трактует его как «изображение реальности, истинное воспоминание; дальнейшее же сновидение — изображение лишь желаемого спящим» (2001, с. 304). В перспективе готического дискурса жизнь персонажей повести можно рассматривать как состояние сна, в том смысле что подлинная реальность, скрытая за приятным фасадом современной культуры, им неведома. Они обитают в своих невинных грезах, не задумываясь о том, какой «хаос» может «шевелиться» в основании этого здания. Их жизнь протекает в иллюзорном мире. Но есть и те, которые усвоили исторический опыт — увидели то самое «сновидение в сновидении».



дении», которое вернуло их к реальности. Обладая особым историческим чувством, они ощущают прочную связь с прошлым *адам*, и современный фешенебельный «дворец» для них не более, чем *чистилище*, предуготовленное для мучительной проработки катастрофического опыта прошлого.

5. Заключение

Наш анализ показывает, что исторической проблематике в «Отеле с привидениями» отводится центральное место. Будучи вынесен в подтекст повести, исторический дискурс придает ей ту идеологическую форму, благодаря которой проясняется как ее фантазмагорический сюжет, так и парадоксальный финал, что позволяет рассматривать данный текст как репрезентацию *смысла* определенных событий истории. Большое значение имеет здесь жанровое своеобразие повести. «Отедь с привидениями» — это готическое произведение с элементами детектива; неудивительно поэтому, что некоторые литературоведы считают его самым «страшным» произведением Коллинза. Как и в произведениях, непосредственно рассказывающих о временах революции, Коллинз прибегает здесь к повествовательным приемам и образности готических романов именно для того, чтобы воссоздать атмосферу ужаса, характерную для времен революционного террора. Готические элементы в этом смысле выполняют здесь репрезентативную (а не только экспрессивную или эмотивную) функцию. Более того, с помощью этих элементов осуществляется своеобразный «синтез без понятия» — от разговора об одной конкретной Революции автор переходит к разговору об «эпохе революций», то есть о революции вообще, уточняя основную проблематику повести, связанную с пониманием направления хода истории. В процессе репрезентации оказываются задействованы многие ключевые элементы готического нарратива: центральный символический образ отеля «Палас», основные персонажи (в значительной степени воспроизводящие традиционные готические амплуа), конфликт произведения (связанный с мотивом чудовищного преступления и наказания за него), мотив родового проклятия, фантастические сцены с участием призрака отрубленной головы с присущей им атмосферой жути и ужаса и т. п. Все эти элементы участвуют в репрезентации *смысла прошлого*. Помимо них на связь с историческими событиями указывает целая система реминисценций, отсылающих к историческому нарративу. Особое место в произведении занимает образ графини Нароны, чье понимание происходящего наиболее близко к авторскому и выражает идеологию повести: концепцию движения истории как «трансформации» «ада» прошлого в «чистилище» настоящего, управляемой не человеческим разумом, а темными и недоступными для нашего понимания силами. Нарона пишет пьесу (название которой совпадает с названием самой повести), полагая, что создает нечто вымышленное, хотя фактически описывает реальную историю. Вероятно, здесь Коллинз дает нам ключ к пониманию его готической сказки, намекая на то, как в действительности она должна быть прочитана.



Список литературы

- Акройд, П., 2021. *История Англии. Революция. От битвы на реке Бойн до Ватерлоо*. М. [Ackroyd P., 2021. *The history of England. The Revolution. From the Battle of the Boyne to Waterloo*. Moscow (in Russ.)].
- Анкерсмит, Ф., 2007. *Возвышенный исторический опыт*. М. [Ankersmit, F., 2007. *Sublime Historical Experience*. Moscow (in Russ.)] EDN: QOHHP.
- Башляр, Г., 2014. *Поэтика пространства*. Перевод Н. Кулиш. М. [Bashlyar, G., 2014. *The Poetics of Space*. Moscow (in Russ.)].
- Бёрк, Эд., 2023. *Размышления о революции во Франции*. М. [Burke, Ed., 2023. *Reflections on the Revolution in France*. Moscow (in Russ.)].
- Коллинз, У., 2021. *Отель с привидениями*. М. [Collins, W., 2023. *The Haunted Hotel: A Mystery of Modern Venice*. Moscow (in Russ.)].
- Павел, Т., 2025. *Жизнь романа: краткая история жанра*. М. [Pavel, T., 2025. *The Life of the Novel: A Brief History of the Genre*. Moscow (in Russ.)].
- Тодоров, Ц., 1999. *Введение в фантастическую литературу*. М. [Todorov, T., 1999. *The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre*. Moscow (in Russ.)].
- Фрейд, З., 2001. *Толкование сновидений*. М.; Харьков. [Freud, S., 2001. *The Interpretations of Dreams*. Moscow; Kharkov (in Russ.)].
- Хайдеггер, М., 1991. *Отрешенность. Разговор на проселочной дороге: сборник*. М., с. 102–111. [Heidegger, M., 1991. *Detachment. In: A conversation on the back road: collection*. Moscow, pp. 102–111 (in Russ.)].
- Хобсбаум, Э., 1999. *Век революции. Европа 1789–1848*. Ростов н/Д. [Hobsbawm, E., 1999. *Century of Revolution. Europe 1789–1848*. Rostov-on-Don (in Russ.)].
- Cole, N., 2007. A Bed Abroad: Travel Lodgings and the “Apartment House Plot” in Little Dorrit and The Haunted Hotel. *Wilkie Collins Society Journal. New Series*, 10, pp. 3–12.
- Collins, W., 2023. *The Haunted Hotel: A Mystery of Modern Venice*. Moscow.
- Day, W.P., 1985. *In the Circles of Fear and Desire: A Study of Gothic Fantasy*. Chicago; London.
- Descimon, R., 1992. Les fonctions de la métaphore du mariage politique du roi et de la république en France, XV–XVIII siècles. *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, 1, pp. 1127–1147.
- Huizinga, J., 1950. De taak der cultuurgeschiedenis. In: *Verzamelde Werken 7: Geschiedwetenschap, Hedendaagsche Cultuur*, pp. 35–94, <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.4731>.
- Lamouria, L., 2010. The Revolution Is Dead! Long Live Sensation!: The Political History of “The Woman in White”. *Dickens Studies Annual*, 41, pp. 299–321.
- Prickett, S., 2005. *Victorian Fantasy. Second Revised and Expanded Edition*. Waco.
- Salotto, E., 2006. *Gothic Returns in Collins, Dickens, Zola, and Hitchcock*. New York, <https://doi.org/10.1007/978-1-137-11770-0>.
- Steinberg, R., 2015. Trauma and the Effects of Mass Violence in Revolutionary France. *Historical Reflections*, 41 (3), pp. 28–46, <https://doi.org/10.3167/hrrh.2015.410303>.
- Taylor, J., 2006. The later novels. In: *The Cambridge Companion to Wilkie Collins*. Cambridge, pp. 79–96.
- Wunenburger, J.-J., 2020. *L'imaginaire*. Lyon.



Об авторах

Роман Евстратьевич Соколов, кандидат философских наук, доцент, без аффилиации, Чебоксары, Россия.

ORCID ID: 0009-0006-5958-3804

SPIN-код РИНЦ: 5616-4084

E-mail: stalex73@bk.ru

Алексей Георгиевич Степанов, кандидат философских наук, доцент, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-8001-1911

SPIN-код РИНЦ: 3755-2987

E-mail: stalex73@bk.ru

Для цитирования:

Соколов Р.Е., Степанов А.Г. «Старый ад, претворенный в новое чистилище»: тревожащий исторический опыт в романе «Отель с привидениями» У. Коллинза // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 114–131. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-8.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

“OLD HELL TRANSFORMED INTO A NEW PURGATORY”: THE DISTURBING HISTORICAL EXPERIENCE IN THE NOVEL “THE HAUNTED HOTEL” BY WILKIE COLLINS

Roman E. Sokolov¹, Alexey G. Stepanov²

¹ Cheboksary, Russia

² Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev,
53 K. Marx St., Cheboksary, 428000, Russia

Submitted on 17.07.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-8

The aim of the article is to identify the representative possibilities of the Gothic text using the example of Wilkie Collins’s story “The Haunted Hotel: A Mystery of Modern Venice” (1878). The authors rely on hermeneutic methodology, directing their attention to the historical subtext of the story, expressed in its figurative structure, as well as in the many allusions and reminiscences contained in it, which have a clearly expressed historical content. The need for such a methodology is dictated by the main objective of the study: to demonstrate the possibility of interpreting Collins’s story as a specific historical representation. As a result of the analysis, the veiled historical content of the story was explicated, thanks to which it can be considered as a specific representation of historical reality, close to oneiric representation: historical characters and events in it undergo a process of symbolization reminiscent of dream work, according to Freud, and the historical itself is reduced to the “family”. Although such a reduction excludes history as such, it provides great opportunities for representing the



meaning of historical events through the depiction of a certain historical experience. It is precisely this historical experience (Franklin R. Ankersmit's term), along with the fragmentary Gothic narrative of Countess Narona, present in the story like a "dream within a dream", that reveals the truth of this work with its puzzling ending. The story's ending, which explicitly declares the impossibility of uncovering the "secret of the hotel," functions as a trigger for the allegorical interpretation developed in this article.

Keywords: *catastrophic writing, gothic elements in sensation literature, gothic fantasy, image of the past, oneiric representation, representative possibilities of reminiscence, repressed historical experience, Victorian fiction*

The authors

Dr Roman E. Sokolov, Associate Professor, Cheboksary, Russia.

ORCID ID: 0009-0006-5958-3804

E-mail: stalex73@bk.ru

Dr Alexey G. Stepanov, Associate Professor, Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev, Cheboksary, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-8001-1911

E-mail: stalex73@bk.ru

To cite this article:

Sokolov, R.E., Stepanov, A.G., 2026, "Old hell transformed into a new purgatory": The disturbing historical experience in the novel "The Haunted Hotel" by Wilkie Collins, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 114 – 131. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-8.



**ЭПИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ ЭРНСТА ЮНГЕРА:
РОМАН «ЭВМЕСВИЛЬ»**

А. Н. Фатенков

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского,

Россия, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23

Приволжский исследовательский медицинский университет,

Россия, 603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1

Поступила в редакцию 13.02.2025 г.

Принята к публикации 15.10.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-9

Очерчивается поле реалистического дискурса и его видового многообразия. Выстраивается концептуальная матрица эпического реализма. Эксплицируются его характерные черты: индивидуализация коллективного опыта; перенесение монументальности прошлого на настоящее и будущее; мутирование монументальности, ведущее к проблематизации финальной безупречности автора произведения и, в первую очередь, его героя. В русле эпического реализма (индивидуалистической его вариации) рассматривается интеллектуальный роман Эрнста Юнгера «Эвмесвиль». Осмысливается мировоззрение и поведенческая линия главного героя, Анарха, как правофлангового свободы на плацу постистории и как арьергардного «другого Я» автора романа. Фигура Анарха соотносится с его мировоззренческими попутчиками и оппонентами, прежде всего с анархистом и партизаном. Текст Юнгера квалифицируется как верифицируемая концептуализация постисторического состояния человечества.

***Ключевые слова:** арьергардное «другое Я», герой-анарх, постистория, правофланговый свободы, «Эвмесвиль», эпический реализм, Эрнст Юнгер*

1. Концептуальное введение

Реализм есть акцентированное воспроизведение реальности — той, что существует за рамками человеческого сознания, в нем самом и в области пересечения внешнего и внутреннего опыта автора произведения. Видовой спектр реализма причудливо широк — от критического до магического и фантастического. Ни одному из них, мастерски выписанному, не откажешь ни в адекватной репрезентации чего-то всамделишного, ни в конструировании чего-то лишь возможного. Каждое «прилагательное» вносит в реалистический строй мысли свое особенное понимание реальности и реального, делая здесь крайне затруднительными корректные видовые сопоставления. Как отметил некогда Ален Роб-Грийе, французский прозаик и теоретик «нового романа», реализм — это не теория с недвусмысленным определением; это скорее



«идеология, которую каждый выставляет против своего соседа, и качество, которое каждый считает исключительно своим достоинством» (2000, с. 481). Небесспорное, но важное суждение.

Понятие *эпического реализма*, имеющее хождение в области изобразительного искусства, эвристически ценно, на мой взгляд, и при его экстраполяции на сферу словесного творчества. В акцентировке эпического реализма весомую долю смыслов дают, несомненно, коннотации эпоса. Реалистическая парадигма, признавая наличие доавторских смыслов и требуя вместе с тем их авторской достройки, способна органично включить в себя эпические смысловые оттенки.

В отличие от эпоса как такового эпический реализм:

- индивидуализирует коллективный опыт;
- переносит монументальность прошлого на настоящее и будущее, выражая в отображении и перспективе дух и телодвижения эпохи;
- но эта монументальность может быть уже как ценностно положительной, так и ценностно отрицательной;
- в любом случае она мутирует, содержит в себе трещины, сквозь которые просачивается хаос и само ничто;
- отсюда отголоски дионисийства и нигилизма в выстраиваемом тексте;
- его автор жаждет целостности (в смысле финальной безупречности), но остаться или стать таковым ему, как и его герою, проблематично: жизненные компромиссы дают о себе знать.

Представленная матрица эпического реализма концептуально согласуется с позицией Е. М. Мелетинского, фиксирующей значимые изменения, которые происходят при трансформации классического эпоса в постклассическую эпическую прозу, где уже нет гиперболизации героики. Для романа характерен эмансипированный герой; «эмансипация постепенно превращается в оппозицию личности по отношению к обществу» (2001, с. 77).

Нерв произведения с наличествующими чертами эпического реализма обнаруживается в явном или неявном стремлении автора и героя отстоять определенную дистанцию между собой и своим окружением. Мера отстранения, естественно, вариативна.

Эпический реализм может нести в себе разный пафос. Зримы минимум три его вариации. *Коллективистский пафос*: к примеру, в «Чевенгуре» Андрея Платонова, где в ожидании конца исторического времени (но не времени природного) люди живут, работая исключительно друг для друга (см.: Платонов 1988, с. 485, 526). Автору тут, пожалуй, труднее всего. Он не вправе сторониться коллективистского потока, не имея при этом надежной защиты от того, чтобы не оказаться поглощенным безбрежным течением. Выделяется далее *пафос неординарной корпорации* – скажем, окопного братства в романе-дневнике Эрнста Юнгера «В стальных грозах». В повествовании манифестируется сплоченность – но та, в которой каждый, находясь под воздействием «растущего азарта охотника и страха его жертвы», становится «неистов и непредсказуем» (см.: Юнгер 2000, с. 104, 271). Наконец, *индивидуалистический пафос* (не



путать с эгоистическим). Им пронизан юнгеровский «Эвмесвиль» (см.: Юнгер 2023), содержание которого и попадет в настоящей работе в фокус авторских размышлений.

Сразу подчеркну, что индивидуализм не инороден фронтовой сплоченности: без схватки один на один в серьезной битве не устоять. Различие эпического реализма «Стальных гроз» и «Эвмесвиля» никак не кардинально. Там и там, как и самим знаковым немецким интеллектуалом на протяжении всей его жизни, ответственно удерживается вечное дистанцирование от происходящего вокруг. По справедливой оценке Ю.Н. Солонина, автор «Стальных гроз» нашел «такую форму бесстрастного отношения к ужасам войны, к факту уничтожения и смерти, что его нельзя обвинить ни в цинизме, ни в безразличии» (2000, с. 32).

Сформулированная выше гипотеза — и касательно концептуальной матрицы эпического реализма, и касательно привязки к ней произведений Эрнста Юнгера — требует, разумеется, текстуального подтверждения, к которому и стоит, не откладывая, перейти.

2. Анарх: правофланговый свободы на плацу постистории

Герой — всегда проекция автора. Близкая к его мировоззрению и образу жизни — или удаленная. Дистанция тут не принципиальна. Важно, что нет ни одного героя, в роли которого автору не хотелось бы оказаться. Хотя бы раз. И не только в пространстве повествования, но и во внелитературном пространстве. Иначе вместо героя наткнемся на плоского персонажа. Вместе с тем никакая композиция проекций главного действующего лица, никакой ансамбль героев не откроет нам до конца содержание фигуры автора. Но в этом и нет нужды. Задача читателя — уловить *истину в мгновении*: в точечных, конкретных совпадениях и несовпадениях линии автора и линии героя. Такова фундаментальная интенция экзистенциального бытия. У Гёльдерлина — о ней:

...однажды

Жил я, как боги — чего же больше.

(Гёльдерлин 2011, с. 39).

Мартин Венатор, он же — просто Мануэль, Мануэло. А не просто — *Анарх*. Это последнее имя и оставлю в настоящем тексте за героем романа Эрнста Юнгера «Эвмесвиль» (см.: Юнгер 2023). Не забывая, конечно, что *venator* — охотник, наблюдатель, исследователь.

Знатокам жизненного пути и творчества Юнгера известно о его теплых отношениях с отцом и братом, Фридрихом Георгом (см., в частности: Веннер 2019, с. 21–23). У героя романа, напротив, отношения натянутые; реплики по адресу членов семьи полны иронии. В его общении с женщинами прагматика контролирует, как правило, чувственные порывы. Типаж выбран автором, думается, с вполне определенной целью — провести мысленный эксперимент, который позволит выявить предельно допустимую дозу цинизма в мировоззрении и образе жизни человека, по праву сохраняющего уважение к себе.



Анарх с характерным для него пониманием природы, общества и своего места в исторической, вернее, постисторической реальности — тот же не теряющий достоинства индивид, но уже не бескомпромиссный бунтарь, каким был *Уходящий в Лес* (см.: Юнгер 2020), а человек, ради сохранения главного в себе допускающий отказ от открытой конфронтации с обществом и государством. Анарх — арьергардное «другое Я» Юнгера, фигура последнего рубежа с приемлемыми еще компромиссами. Да, не былинный герой — герой нашего времени.

Вот она, главная для анарха тема: как может человек, предоставленный самому себе, противостоять могущественным силам, будь то силы государства, общества или природной стихии, и, не подчиняясь, придерживаться их правил игры (Юнгер 2023, с. 338).

В правилах и нормах наличествует смысл, если кто-то способен их нарушать. Роль включенного исключения, уравниваемого с привилегированной марионеткой, — уже, возможно, по ту сторону представлений о суверенности человеческого индивида. Если, разумеется, понимать суверенность абсолютистски, в идеализированном, скорее даже солипсистском варианте. Добавив реализма, трезвого учета никак не отменяемого воздействия на нас некоторых внешних факторов, мы перестаем носиться с недостижимым, выясняя попутно, что и достигать-то его не было особой нужды. Теперь мы озабочены отысканием и сбережением того конкретного суверенитета, который позволит надежно разграничить включенное исключение и *vip*-марионетку, в действительности исключением не являющуюся. Юнгеровским Анархом, а через него и автором романа указанная задача и решается.

В Эвмесвиля, как и повсеместно сейчас, правила задает постисторический декаданс, похоже, уже отчаявшийся прийти к некогда рекламируемому порядку из хаоса. Он насыщен противоречиями и продолжает источать их. Как продуктивные (при их незапоздалом снятии), так преимущественно и контрпродуктивные: вряд ли вообще решаемые, а если и поддающиеся какому-то решению, то с тенденциозно деструктивным результатом. Причем граница между теми и другими противоречиями размыта, и дело приходится иметь по обыкновению с их кентаврической сцепкой.

Отсюда недалеко до жесткой юнгеровской констатации: общественные ценности давно стали пародией (см.: Там же, с. 66). Соглашусь: состояние постистории откровенно пародийно. Оно, в частности, гипертрофирует политический аспект человеческой жизни, и без того изрядно преувеличенный собственно историческим ее этапом и доминирующим в социальных практиках историографическим вектором (см.: Фатенков 2024). На разоблачение гегемонии истории и политики направлен и метаисторический подход Юнгера и его Анарха.

Норман Рудольф Салиба показывает, что метаисторическая стратегия «Эвмесвиля» нацелена на переподчинение исторического формата человеческого существования формату природному (но не доисторическому), подтверждением чему служит финал произведения (см.: Sali-



ба 2020). Да, Анарх оставляет в итоге и тщательно подготовленный укромный уголок на периферии постисторической социальности, и ведение дневниковых записей. Автор романа, напротив, дорожит и тем, и другим, и своими опытами по трансцендированию за рамки удручающей обыденности: состязанием с *госпожой Удачей* во время войны и опробованием разного рода снадобий после кровопролитных баталий.

Фокусировка метаисторической оптики на текущую постисторическую данность дает картину, детерминирующую компромиссную, не более того, обратную реакцию наблюдателя.

Великие идеи, которым были принесены в жертву миллионы людей, в наши дни вконец истерлись... (Юнгер 2023, с. 98).

Жизнь слишком коротка и прекрасна, чтобы жертвовать ею ради идей, хотя этой заразы не всегда удается избежать. Но шапку долой перед мучениками (Там же, с. 395).

Мученичество свято. Оно вне времени и вне исторической конъюнктуры, по ту сторону всегда утилитарной общественной морали. Анарх возводит последний надежный барьер, оберегающий человека от падения в цинизм.

Только вневременное придает ценность прошлому. Только редкая суверенная событийность значима. Ее нелепо подводить под договорную и оттого априори шаткую моральную шкалу. Нелепо отдавать на откуп анатому. Чревато вручать и историку. Осмысливается она — по-этом. Отчасти — метаисториком: поэтом с контролируемой чувственностью. Таков герой «Эвмесвиля». Его подход к рассмотрению прошлого содержит два главных требования: «отвлечься от воли, сохранить непредвзятость» и трактовать факты не морально, а «по присущему им эросу» (Там же, с. 224, 86). Факт является действительно историческим, если к нему *невольнo влечет*. Неплохо! Подход может быть назван объективно-эротическим (в понимании эроса здесь есть нечто от Людвига Клагеса: эротический настрой позволяет «чувствовать другое существо», а вероятно — и какое-то событие, преодолевая пространство и время (см.: Клагес 2018, с. 101)). Соответствующий термин не стал бы инородным в лексиконе Анарха, но автора романа он все-таки покоробил бы, хотя саму метаисторическую стратегию Юнгер, без сомнения, принимает, включая ее в свою метафизическую парадигму.

Да, он метафизик. Но не тот, что оперирует эйдетическими абстракциями, уподобляясь одной из них, а тот, кто способен подобно поэту схватить и выразить помимо интеллигибельных еще и чувственные смыслы. Метафизик — это поэт, мыслящий чувственно-мыслимое. Вольно или невольнo он структурирует поэтический хаос. Реалистически рецензирует поэта... но никогда не поучает его. Язык метафизика, как и всякого философа, взращен в порубежье литературного слога и научного дискурса (см.: Фатенков 2003), однако несциентистский канон ему, безусловно, ближе. В метафизике Юнгер наделяет онтологическим приоритетом пространство, не время, и сам событийно воспринимается на плацдарме (в крайнем случае — на плацу), а не в погоне за секундной стрелкой.



Оставаясь вне времени, выпадая из него, события скрепляют прошлое. Встроенные во время и становясь историческими, они уже не в силах препятствовать расплыванию того, что минуло. Нигилистические веяния добираются и до него.

...после каждой смены власти всемирную историю переписывают в соответствии с текущим моментом. Учебники более не устаревают, они просто приходят в негодность (Юнгер 2023, с. 34).

Неуверенность в прошлом — отголосок фатальной неустойчивости каждого теперешнего состояния, неизбежно сменяющегося следующим теперешним. Даже метафизически, без учета социально-политической суеты, невозможно навсегда стянуть время в мгновение и выйти тем самым к настоящему как таковому, к подлинной, нередуцируемой реальности. Тут никак не обойтись без изощенной композиции проекций сущего. Без реализма, замещающего собой реальность. В подтверждение — гениального порядка мысль Юнгера об исходном прообразе: он «есть образ и зеркальное его отражение» (Там же, с. 326). Первозданное не исчезает, оно лишь скрывается от докучливых взоров.

Погружаясь в социально-политическую эмпирию, пусть и не сливаясь с ней, пусть отстраняясь от чего-то в ней неприемлемого, индивиду приходится пробираться к подлинному, отсекая неизбежно наносящее ему раны неподлинное. Целостность, в смысле финальной непогрешимости героя, остается в эпическом прошлом. Одиссей возвращается на родину. Этим своим неоспоримо ценным поступком он купирует все лукавства и шалости путешественника. А в реалистически опознаваемом здесь и сейчас, включая ситуацию с эпическим реализмом, непогрешимость героя небесспорна ни в процессе развития сюжета, ни в эпилоге повествования. Таков Анарх, отвергающий за безнадежный консерватизм идею возвращения, делая исключение лишь для могущего произойти однажды возвращения вечного.

Будучи анархом, я преисполнен решимости ни во что не вмешиваться, ничто не принимать всерьез — но не в нигилистическом смысле, а скорее на манер пограничного стража, отгачивающего зрение и слух, прогуливаясь по ничейной земле меж приливами и отливами (Там же, с. 117).

Анарх не горит желанием броско отличаться от окружающих. Задача: быть немного глубже их — не более. И трезво воспринимать: и окружающих, и самого себя.

Левая рука сжата в кулак, правая протянута за подаванием — вот так люди проходят по миру (Там же, с. 171).

Демонстративное фрондерство бесперспективно, какой бы общественный строй ни поджидал тебя за окном. Анарху, впрочем, не симпатичен ни один из них. Он то ставит на одну доску тиранов и демагогов, то, упрощая ситуацию, различает лишь вариации единственно существующей тирании — формально законной, но нелегитимной



по существу. Однако не стремится противопоставлять себя ни тирану, ни монарху, предпочитая выстраивать с ними отношения дополнителности.

Монарх хочет повелевать многими, даже всеми; анарх — только самим собой. Это сообщает ему объективное и, пожалуй, скептическое отношение к власти... (Там же, с. 52).

Компромиссы налицо. Но они не фатальны. Реализм «Эвмесвиля» остается эпическим реализмом. Герой романа остается в своем — героическом — статусе. Он обороняет свободу и достоинство человека в условиях, которые не в состоянии изменить. Несмотря на декларативное отстранение от систематизированных идейных конструкций, Анарх намечает свою собственную, выстраивая ее в оппозициях к тем мировоззренческим установкам, которые чем-то или практически всем отличаются от присущей ему самому.

Наиболее любопытна и дискуссионна, бесспорно, оппозиция *Анарх* — *анархист*. Причин тому несколько. И главная, думается, не столько в том, что известный сегодня постанархический дискурс (см., в частности: Ньюман 2022) представляет собой опроценную версию размышлений юнгеровского Анарха, сколько в том, что эти размышления, — а не исключено, и ориентиры самого «позднего» Юнгера, — могут быть квалифицированы как *правый анархизм*. Анархическое в них — в непризнании подлинно легитимной ни одной внешней власти. Исключение делается, пожалуй, да и то с оговорками, лишь для власти, исходящей от божественной инстанции. Отсюда и правый уклон: бытийна — иерархия; равенство — нигилистично, оно держится тем, что «каждый может убить каждого» (Юнгер 2023, с. 53). Однако и вертикаль, и любой авторитет нуждаются в проверке на достоверность (см.: Там же, с. 132, 345).

Свобода для Анарха «не самоцель — она его достояние» (Там же, с. 394). И этой свободой в себе и для себя он вполне удовлетворен, не надеясь на утверждение ее в качестве общественной ценности и нормы. Индивидуальная свобода, по его представлениям, никак не нуждается в удостоверении и подпорке со стороны социальной свободы. Анархисту, напротив, без свободного общества не обойтись. В нем он и надеется, вероятно, получить гарантии индивидуальной свободы, возможно и присущей ему, хотя юнгеровский Анарх (и нынешний постанархист) тут иного мнения.

Словами своего героя Юнгер указывает на два существенных изъяна в позиции анархизма (я уточнил бы: левого, коллективистского анархизма). На поспешную аксиоматизацию исходной доброты человека (куда надежнее здесь не аксиома, а гипотеза). И на чрезмерность ожиданий от социального сплочения и политических действий.

Анархист — противник монарха и замышляет его уничтожение. Он стреляет в личность, но укрепляет династию (Там же, с. 52).



Анарх намеренно выдерживает дистанцию между собой и правителем. Анархист, всеми силами пытаясь ликвидировать ее, превращается незаметно для себя в двойника правителя. И тому, по уму, подобная ситуация на руку. Ведь, вспоминая мысль Антонена Арто, «любой тиран по существу — только анархист, который захватил корону и поверг мир к своим ногам» (2006, с. 103).

Еще одну значимую оппозицию линии Анарха в романе составляет линия *партизана*. Здесь сразу угадывается полемический отклик на одноименную теорию Карла Шмитта (см.: Шмитт 2007).

Анарх ближе к бытию. Партизан действует внутри социальной или национальной группы, партии, анарх же стоит вне ее. Хотя и не может уклониться от партийности, потому что живет в обществе (Юнгер 2023, с. 191).

Партизан хочет его (закон. — А. Ф.) изменить, преступник — нарушить, а анарх не желает ни того ни другого. Он ни за закон, ни против него. Даже не признавая закон, анарх все же пытается познать его, как познают законы природы, и соответственно подстроиться (Там же, с. 204).

Тут совершенно точно: анарх — человек Юнгера, партизан — человек Шмитта. Отношения между этими двумя немецкими интеллектуалами редко выходили за рамки уважительного и деликатного общения, хотя нетождественность их вариаций консервативно-авангардистского умонастроения обоим была ясна (см.: Эрнст Юнгер. Отражения 2019). Юнгеровская доля авангардизма заметно превышает шмиттовскую.

Наконец, еще оппозиция (не случайно — частичная), которую при чтении романа не обойти стороной: *Анарх — Лесной отшельник (скиталец)*.

...нельзя путать лесного отшельника и партизана; партизан борется в обществе, скиталец — в одиночку. С другой стороны, не надо путать лесного скитальца с анархом, хотя оба они порой могут быть очень похожи, а экзистенциально и почти неотличимы друг от друга.

Разница заключается в том, что лесного скитальца выдавили из общества; анарх, напротив, выдавил общество из себя. Он был и остается вольным рыцарем в любых обстоятельствах (Юнгер 2023, с. 206).

Вновь Анарх используется Юнгером для демаркации его собственного мировосприятия периода написания «Ухода в Лес» (там фигуры героя и автора почти тождественны) и одной из проекций своего мировосприятия в период работы над «Эвмесвилем». В романе фигуры автора и героя, как уже отмечал, не совпадают, но пересекаются.

3. Автор и его герой (несколько строк в завершение)

Совсем иначе видит ситуацию Петер Козловски. В его интерпретации, герой романа — анархистствующий денди и гностик, чуть ли не пародийно выписанный автором, потому что сам Юнгер дендизм преодолел (см.: Козловски 2002).

Позволю себе не согласиться. Юнгер не из тех, кто готов к предательству, даже под вывеской «эволюции взглядов». А отбросить элемен-



ты дендизма для него — значит предать свою молодость, когда он, окопный лейтенант, шел со своей штурмовой группой на вылазку, держа в руке трость, а на груди готовый к съемке фотоаппарат. Изменить «гностицизму» — значит расписаться в ошибочности всех произведенных им опытов, которые не укладываются в стандарты новоевропейского рационализма, и согласиться с тривиальной спиритуалистической трактовкой гностического учения, где тело считается темницей души. И это мужчине, сохранившему стройность до почтенных лет?!

Анарх как *арьергардное «другое Я»* Юнгера: эту метафору оставляю приоритетной для описания характера отношений автора и героя романа «Эвмесвилль». Другая метафора — *правофланговый свободы на плацу постистории* — контекстуально приложима к обеим фигурам: и Анарха, и самого Юнгера.

Список литературы

Арто, А., 2006. *Гелиогабал, или Коронованный анархист*. Перевод Н. Пригузовой. Тверь, 208 с. [Artaud, A., 2006. *Heliogabalus or, Crowned Anarchist*. Translated by N. Prituzova. Tver, 208 p. (in Russ.)].

Веннер, Д., 2019. *Эрнст Юнгер. Иная европейская судьба*. Перевод А.М. Иванова. М., 226 с. [Venner, D., 2019. *Ernst Jünger, Another European Destiny*. Translated by A. M. Ivanov. Moscow, 226 p. (in Russ.)].

Гельдерлин, И.Х.Ф., 2011. *Стихотворения*. Перевод Н. Самойловой. М., 256 с. [Hölderlin, J. Ch.F., 2011. *Poems*. Translated by N. Samoilova. Moscow, 256 p. (in Russ.)].

Клагес, Л., 2018. *Космогония Эроса*. Перевод А.В. Васильченко. М., 224 с. [Klages, L., 2018. *Of Cosmogonic Eros*. Translated by A.V. Vasilchenko. Moscow, 244 p. (in Russ.)].

Козловски, П., 2002. *Миф о модерне: Поэтическая философия Эрнста Юнгера*. Перевод М.Б. Корчагиной, Е.Л. Петренко, Н.Н. Трубниковой. М., 239 с. [Koslowski, P., 2002. *The Myth of Modernity: The Poetic Philosophy of Ernst Jünger*. Translated by M.B. Korchagina, E.L. Petrenko and N.N. Trubnikova. Moscow, 239 p. (in Russ.)].

Мелетинский, Е.М., 2001. *От мифа к литературе. Курс лекций «Теория мифа и историческая поэтика»*. М., 168 с. [Meletinsky, E.M., 2001. *From myth to literature. Lecture course "Theory of myth and historical poetics"*. Moscow, 168 p. (in Russ.)] EDN: YORZTC.

Ньюман, С., 2022. *Постанархизм*. Перевод О.Л. Грабовской. М., 208 с. [Newman, S., 2022. *Post-Anarchism*. Translated by O.L. Grabovskaya. Moscow, 208 p. (in Russ.)].

Платонов, А.П., 1988. Чевенгур. *Ювенильное море: повести, роман*. А.П. Платонов (сост.). М., с. 188–551. [Platonov, A.P., 1988. Chevengur. In: A.P. Platonov, ed. *The Juvenile Sea: novellas, novel*. Moscow, pp. 188–551 (in Russ.)].

Роб-Грийе, А., 2000. От реализма к реальности. *Собрание сочинений. Дом свиданий: Романы. Рассказы*. А. Роб-Грийе (сост.). Перевод О. Акимовой. СПб., с. 481–492. [Robbe-Grillet, A., 2000. From realism to reality. In: A. Robbe-Grillet, ed. *Collected works. The House of Dates: Novels. Short stories*. Translated by O. Akimova. St. Petersburg, pp. 481–492 (in Russ.)].

Солонин, Ю.Н., 2000. Эрнст Юнгер: от воображения к метафизике истории. *Юнгер Э. В стальных грозах*. СПб., с. 11–34. [Solonin, Yu.N., 2000. Ernst Jünger: From Imagination to the metaphysics of history. In: *Jünger E. In steel thunderstorms*. St. Petersburg, pp. 11–34 (in Russ.)].



Фатенков, А.Н., 2003. Языки философии, литературы и науки в аспекте смысла. *Философские науки*, 9, с. 50–69. [Fatenkov, A.N., 2003. Languages of Philosophy, Literature and Science in the Aspect of Meaning. *Russian Journal of Philosophical Sciences*, 9, pp. 50–69 (in Russ.)] EDN: KLEYOU.

Фатенков, А.Н., 2024. Пародийный характер постистории. *Философский журнал*, 17 (3), с. 121–134. [Fatenkov, A.N., 2024. The parodic character of posthistory. *The Philosophy Journal*, 17 (3), pp. 121–134 (in Russ.)] EDN: SBXLSR, <https://doi.org/10.21146/2072-0726-2024-17-3-121-134>.

Шмитт, К., 2007. *Теория партизана*. Перевод Ю.Ю. Коринца. М., 301 с. [Schmitt, K., 2007. *Theory of the Partisan*. Translated by Yu. Korinets. Moscow, 301 p. (in Russ.)] EDN: QONSOZ.

Эрнст Юнгер. *Отражения*, 2019. Перевод А. Игнатьева. М., 160 с. [Ernst Jünger. *Reflections*, 2019. Translated by A. Ignatiev. Moscow, 160 p. (in Russ.)].

Юнгер, Э., 2000. *В стальных грозах*. Перевод Н.О. Гучинской, В.Г. Ноткиной. СПб., 331 с. [Jünger, E., 2000. *In Stahlgewittern*. Translated by N.O. Guchinskaya and V.G. Notkina. St. Petersburg, 331 p. (in Russ.)].

Юнгер, Э., 2020. *Уход в Лес*. Перевод А. Климентова. М., 144 с. [Jünger, E., 2020. *Der Waldgang*. Translated by A. Klimentov. Moscow, 144 p. (in Russ.)].

Юнгер, Э., 2021. *Эвмесвиль*. Перевод А. Анваера. М., 544 с. [Jünger, E., 2021. *Eumeswil*. Moscow, 544 p. (in Russ.)].

Saliba, N.R., 2020. *Collecting and Writing in Ernst Jünger's Heliopolis, Gläserne Bienen, and Eumeswil*. PhD thesis. Nashville.

Об авторе

Алексей Николаевич Фатенков, доктор философских наук, профессор, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-8628-2413

SPIN-код РИНЦ: 6226-1098

E-mail: fatenkov@fsn.unn.ru

Для цитирования:

Фатенков А.Н. Эпический реализм Эрнста Юнгера: роман «Эвмесвиль» // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 132–142. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-9.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVELICENSES.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

ERNST JÜNGER'S EPIC REALISM: THE NOVEL "EUMESWIL"

Aleksey N. Fatenkov

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,
23 Gagarin Prospekt, Nizhny Novgorod, 603022, Russia
Privolzhskiy Research Medical University,
10/1 Minin Sq., Nizhny Novgorod, 603005, Russia

Submitted on 13.02.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-9

This paper delineates the field of realistic discourse and its internal diversity. It develops a conceptual matrix of epic realism and explicates its key features: the individualisation of collective experience; the transposition of the monumentality of the past into the present and



the future; and the transformation of monumentality that results in a problematization of the presumed final impeccability of the author and, ultimately, of the hero. The study examines Ernst Jünger's intellectual novel "Eumeswil" through the lens of epic realism in its individualistic variant. It conceptualises the worldview and mode of action of the protagonist, the Anarch, portraying him as a right-flank soldier of freedom on the parade ground of post-history, as well as a rearguard incarnation of the author's "other self". The figure of the Anarch is shown in relation to his ideological companions and adversaries, most notably the anarchist and the partisan. Jünger's text is ultimately interpreted as a rigorously articulated conceptualisation of the post-historical condition of humankind.

Keywords: *epic realism, Ernst Jünger, "Eumeswil", post-history, rearguard other self, right-flank soldier of freedom, the anarch hero*

The author

Prof. Aleksey N. Fatenkov, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; Privolzhskiy Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-8628-2413

E-mail: fatenkov@fsn.unn.ru

To cite this article:

Fatenkov, A.N., 2026, Ernst Jünger's epic realism: the novel "Eumeswil", *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 132–142. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-9.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ: КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ТРАНСЛЯЦИИ СМЫСЛОВ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕВ. И. Заботкина¹, Е. А. Боярская^{1, 2}, Е. И. Коростиченко³¹ Российский государственный гуманитарный университет,
Россия, 125993, Москва, Миусская площадь, 6² Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Россия, 236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14³ Институт философии РАН,
Россия, 101000, Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1

Поступила в редакцию 16.08.2025 г.

Принята к публикации 15.10.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-10

Исследован феномен культуры отмены как современной формы социального ostracism и механизма дискурсивной манипуляции в англоязычном медиадискурсе. Особое внимание уделено ее взаимосвязи с вокизмом, который выступает в качестве идеологического и аксиологического основания, формирующего систему ориентированных на равенство, инклюзивность и социальную справедливость ценностей. В данном контексте культура отмены функционирует как инструмент закрепления ценностей, реализующийся через публичное осуждение, бойкот, стигматизацию и символическое исключение. Оба феномена рассматриваются как взаимосвязанные компоненты единого механизма, обеспечивающего трансляцию, консолидацию и закрепление аксиологических смыслов. На материале современного англоязычного медиадискурса выявляются и анализируются концептуальные механизмы, лежащие в основе формирования и закрепления смыслов в нарративах культуры отмены. К ним относятся фрейминг, структурирующий дискурс через бинарные оппозиции и оценочные схемы; скриптизация, репрезентирующая повторяющийся событийный сценарий 'нарушение – разоблачение – наказание'; эмоционализация, при которой аффективные реакции (гнев, возмущение, солидарность, моральное удовлетворение) выступают катализаторами, способствующими закреплению смыслов, а также «мультимодальное» восприятие, объединяющее вербальные, визуальные и иные каналы поступления информации с целью повышения когнитивной выразительности, эмоциональной вовлеченности и убедительности воздействия. Взаимодействие данных механизмов формирует устойчивый фрейм ОТМЕНА, реализующийся в прототипическом когнитивном сценарии: нарушение нормы → публичное выявление → обвинение → медиатизация → мобилизация аудитории → санкция → фиксация результата. Динамическое взаимодействие между аффирмативными стратегиями вокизма (актуализация ценностей справедливости, равенства, инклюзивности) и санкционирующими стратегиями культуры отмены (бойкот, исключение, ostracism) образует двунаправленный когнитивный процесс. С одной стороны, он обеспечивает воспроизводимость и легитимацию новых моральных норм, с другой – способствует укоренению коллективных когнитивных паттернов, определяющих новые границы социальной идентичности, моральной оценки и идеологической дифференциации в цифровом публичном пространстве. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию того, как мультимодальный медиадискурс функционирует как пространство аксиологического фреймирования, коллективного концептуального согласования и когнитивного регулирования социальных ценностей.

Ключевые слова: аксиологические нормы, вокизм, когнитивные механизмы, культура отмены, сценарий, фрейм события



1. Введение

Современное медиaprостранство представляет собой динамичную среду, в которой непрерывно формируются и конкурируют различные системы смыслов. Потоки информации не просто информируют, но оказывают прямое воздействие на процессы концептуализации, категоризации, интерпретации, осмысления и переосмысления событий, тем самым внося изменения в индивидуальную и коллективную картину мира коллективного экспериенсера (van Dijk 2006; Fairclough 2010). В этих условиях особую актуальность приобретает изучение концептуальных механизмов трансляции системы смыслов, обеспечивающих закрепление тех или иных интерпретационных паттернов в сознании экспериенсера.

Современные исследования вокизма и культуры отмены рассматривают эти феномены прежде всего в аксиологическом и дискурсивно-манипулятивном измерении. При этом большинство авторов подчеркивают их взаимосвязанность: вокизм предстает как идеологическая база, формирующая ценностно-идеологические основания, тогда как культура отмены выступает практическим механизмом их реализации через практики публичного осуждения и исключения. В этой логике вокизм трактуется как идеологическое обоснование культуры отмены, а их связка рассматривается как единый дискурсивный механизм трансляции и закрепления определенного набора аксиологических ценностей (Фефелов 2022).

Необходимо отметить, что культура отмены обладает более широкой историко-культурной значимостью, чем простое следование актуальным тенденциям цифровой коммуникации. Культура отмены может быть рассмотрена как современная вариация практик социального ostrакизма, известных и широко применяемых в различных культурах на определенном этапе их развития, в особенности в Античности и Средневековье. Так, в Древней Греции практиковалось изгнание как форма ostrакизма (ostrakismos) а в Риме — лишение права пользоваться водой и огнем (aquae et ignis interdictio) (Cartledge web). В Средние века в Европе практиковались экскоммуникация, позорные столбы, предание анафеме, то есть исключение из церковного общения, которое символизировало духовное изгнание и форму морального наказания. В иудаизме формой социального ostrакизма был херем (ивр. חרם) (Ratzbani web), а в исламской культуре — такфир (араб. تكفير) влекущий духовное отчуждение. В Индии практиковалось кастовое изгнание за нарушение религиозных и социальных норм, в Китае существовал обычай «лишения лица» (кит. мианци, 面子 'лицо'), а в Японии — коллективного избегания члена общины, нарушившего нормы и правила поведения (яп. мурахатибу, 村八分). Двадцатый век породил новый механизм регулирования и формирования аксиологических норм — цифровой ostrакизм в форме вокизма и культуры отмены. Современ-



ная цифровая среда, активное развитие соцсетей лишь усилили эти процессы за счет привлечения глобальной аудитории и высокой скорости распространения информации.

Выражение *культура отмены* является терминологической новацией в русском языке: по данным Национального корпуса русского языка, первое упоминание зафиксировано в 2016 году. Несмотря на широкое распространение феноменов вокизма и культуры отмены в общественном и медиадискурсе, они пока недостаточно исследованы в лингвистике. Наибольшее внимание в российской науке до сих пор уделялось проблеме феноменологической основы данного явления и его истокам (Былевский, Цацкина 2022; Дунас и др. 2023).

Рассмотрение проблем, связанных с культурой отмены и вокизмом как феноменами, присущими англосаксонской культуре, проводится преимущественно исследователями из США, особенно по анализу феномена вокизма. Культуре отмены и ее проявлениям посвящены, в частности, исследования Роберта Самюэlsa, Саманты Хаскел, Максина Ваани, Пиппы Норрис, Евы Нг и других исследователей (Haskell 2021; Waani, Wempe 2021; Norris 2021; Ng 2020; 2022a; 2022b). Однако в работах этих авторов вокизм и культура отмены хотя и анализируются достаточно подробно и в сходном ключе, но вне связи с лингвистикой.

В целом анализ существующих исследований показывает, что феномен культуры отмены получает разные интерпретации в зависимости от дисциплинарного подхода. В социолингвистике культура отмены трактуется как социальная практика, основанная на манипулятивном использовании языка и направленная на исключение индивида с неполиткорректным поведением из общества (Былевский, Цацкина 2022; Дунас и др. 2023; Федорова 2023). Такой подход акцентирует внимание на речевых стратегиях стигматизации и языковой природе исключения. В философии и культурологии культура отмены осмысливается как новая социальная реальность, формирующая образ новой этики и задающая моральные ориентиры будущего. Здесь акцент смещается на нормативное измерение и аксиологическую функцию данного явления. Социология и медиа исследования рассматривают культуру отмены как дискурсивную практику, которая проявляется в языковых и культурных маркерах массовой коммуникации, включая проекты «Слово года», мемы и хештеги (Федорова 2023; Фефелов 2022). Именно это направление подчеркивает роль цифрового дискурса и лингвистических индикаторов в закреплении данного феномена как эффективного инструмента социального ostracism. В политическом дискурсе культура отмены интерпретируется как инструмент социальной манипуляции, политической борьбы и удержания власти (Былевский, Цацкина 2022). Здесь особое внимание уделяется ее функциональной роли в механизмах контроля и перераспределения влияния. В зарубежных исследованиях дискурс вокизма (и, соответственно, культура отмены) чаще всего рассматривается как механизм онлайн-манипуляций и инструмент публичного давления, тесно связанный с движением вокизма (Marantz 2019; Pluckrose et Lindsay 2022). В цифро-



вом медиапространстве дискурс вокизма и культуры отмены функционируют как элементы единой идеологической экосистемы. Если вокизм ориентирован на повышение чувствительности к вопросам социальной справедливости, гендерного равенства, инклюзивности и защиты уязвимых групп, то культура отмены выступает как его практический инструмент санкционирования — система социальных и символических наказаний за несоответствие этим ценностям (Ng 2020; 2022a; 2022b). Данный подход фиксирует причинно-следственную связку 'вокизм + культура отмены', подчеркивая их взаимную обусловленность. Таким образом, в междисциплинарной перспективе культура отмены представляет собой форму социального остракизма и манипуляции, проявляющаяся в публичном осуждении, стигматизации и символическом изгнании индивида или группы индивидов за действия или поведение, противоречащие актуальным аксиологическим смыслам, а в когнитивной перспективе — как механизм формирования, трансляции и закрепления аксиологических норм в сознании коллективного экспериенса.

Возвращаясь к анализу вокизма и культуры отмены в медиадискурсе, многие исследователи подчеркивают мультимодальный механизм распространения культуры отмены. Именно мультимодальность, а в особенности мультимодальность цифровой среды, позволяет не только транслировать информацию, но и создавать сложные когнитивные конструкции, интегрирующие визуальные образы, эмоциональные триггеры и дискурсивные сценарии. В когнитивной перспективе это обеспечивает более глубокое закрепление смыслов благодаря синхронной активации различных каналов восприятия. Мультимодальные знаковые системы выступают ключевым инструментом формирования концептуальной картины мира в условиях цифровой коммуникации и повышают вероятность интеграции информации в долговременную память, делая ее более доступной для последующего воспроизведения. Кроме того, комбинация модусов позволяет создавать когнитивно-сценарные структуры, в которых смысловые элементы связываются в целостные нарративы. Это не только повышает эффективность смысловой трансляции, но и усиливает ее манипулятивный потенциал, поскольку адресат оказывается вовлеченным в комплексное переживание, снижающее уровень критической рефлексии (Заботкина, Боярская 2025). Особый интерес представляет комбинация стратегий, когда, например, эмоциональные триггеры подкрепляют фреймовую интерпретацию событий, а мультимодальные средства усиливают нарративное погружение. Именно такие комплексные формы манипуляции обладают наибольшей эффективностью, так как воздействуют одновременно на рациональный и эмоциональный уровни обработки информации (Там же).

Цели данного исследования заключаются в выявлении и описании когнитивных механизмов, посредством которых взаимосвязанные феномены вокизма и культуры отмены функционируют в современном англоязычном медиадискурсе, а также в анализе их роли в качестве ин-



струментов трансляции ценностных смыслов, определяющих формирование когнитивных паттернов, лежащих в основе формирования, изменения и закрепления аксиологических нормы в коллективном сознании. Задачи исследования состоят, во-первых, в описании аксиологических оснований вокизма и его анализе как стратегии фреймирования социальных ценностей; во-вторых, в выявлении роли мультимодальных знаковых систем, а именно текстов, визуальных образов и иных медийных форматов для усиления когнитивного и манипулятивного потенциала связки 'вокизм + культура отмены'. Наряду с этим задачи включают сравнительный анализ когнитивной эффективности 'позитивных' стратегий вокизма, направленных на актуализацию ценностей социальной справедливости и равенства, и 'негативных' стратегий культуры отмены, основанных на бойкоте и маргинализации, в формировании коллективных когнитивных моделей и аксиологических норм современного общества. Материалом исследования послужили тексты англоязычных новостных изданий и новостных ресурсов (*The Guardian, The Independent, The Daily Mail, CNN, Fox News*), а также материалы корпуса NOW (news on the Web). Поиск статей из англоязычной прессы, послуживших источником отдельных примеров, осуществлялся с использованием поисковых запросов в *Scholar AI* и *GPT Plus 5.2*.

2. Результаты исследования

Когнитивная лингвистика акцентирует внимание на связи между языковыми структурами и ментальными репрезентациями. Дискурсивные стратегии, реализуемые в медиапространстве, можно рассматривать как формы когнитивного моделирования реальности, где выбор языковых средств определяется задачами воздействия – убеждением, эмоциональной мобилизацией или манипуляцией.

Проведенный анализ материала показал, что в англоязычных цифровых СМИ вокизм и культура отмены (wokism, cancel culture, callout culture) выполняет функцию «цифрового ритуала очищения», в котором моральное клеймо становится инструментом коллективного контроля и конструирования границ допустимого. Семиотически эта динамика выражается в том, что темы вокизма предлагают «позитивные» сценарии, основанные на аксиологических смыслах и нормах справедливости, солидарности, равенства, в то время как материалы, посвященные культуре отмены, призваны актуализировать негативные сценарии в сознании коллективного реципиента. Подобно пуританским практикам прошлого, они опираются на уже сформированные бинарные аксиологические дихотомии 'добро vs зло', 'свой vs чужой', 'добродетель vs грех', 'истина vs ложь', однако при этом фактически отказывают в праве на реабилитацию или же диалог. То есть культура отмены реализует «негативные» сценарии (социальное исключение, публичное наказание, стигматизация), что формирует бинарную структуру когнитивного воздействия. В этом заключается взаимосвязь феноменов вокизма и культуры отмены, их когнитивное взаимодействие, ре-



презентируемое в рамках дискурса: один феномен формирует интерпретационные рамки, другой обеспечивает их социальное воспроизводство.

Как показал проведенный анализ материала англоязычных СМИ, к числу наиболее распространенных причин отмены относятся случаи сексуального насилия, домогательств, связанные с гендерной проблематикой нарушения, проявления расизма, антисемитизма и этнической нетерпимости, использование агрессивной и оскорбительной риторики в социальных сетях, а также формы социального поведения, противоречащие устоявшимся моральным и культурным нормам. Наиболее показательными примерами отмены, широко освещаемыми в англоязычных СМИ, стали скандалы, связанные с Харви Вайнштейном (послуживший катализатором зарождения движения #MeToo, 2017), Кевином Спейси (в результате которого ведущие кинопроекты и платформы разорвали с ним отношения, 2017), Джеймсом Ганном (закончившийся его увольнением из *Disney*, 2018), Эллен ДеДженерес (обвиненной в создании токсичной атмосферы на шоу и за сценой, 2020), Дж. К. Роулинг (после ее высказываний о гендерной идентичности, 2020), Канье Уэстом (в связи с антисемитскими высказываниями, повлекшими разрыв контрактов с брендами *Adidas*, *GAP* и др., 2022). К числу последних резонансных случаев можно отнести также кампанию против Дэйва Шапелла после выхода его стендапов (2021–2022), отмену Джонни Деппа, который временно потерял ключевые роли в крупных франшизах вследствие скандального судебного процесса (2020–2022), а также многочисленные примеры бойкота брендов и медийных личностей, связанные с нарушением норм политкорректности или высказываниями, которые противоречат устоявшимся аксиологическим смыслам и нормам, идеям социальной справедливости. Эти и многие другие примеры показывают, что культура отмены перестала быть локальной реакцией отдельных сообществ, превратившись в глобальный медиадискурсивный феномен, оказывающий реальное влияние как на карьеру и репутацию отдельных индивидуумов, так и на стратегии поведения индустрии и общества в целом.

В медиадискурсе аксиологические основания вокизма и культуры отмены закрепляются посредством ряда концептуальных механизмов, обеспечивающих фиксацию интерпретационных паттернов в сознании индивидуального и коллективного экспериенсера, к которым относятся фрейминг, скриптизация, эмоционализация и мультимодальность. В работах, посвященных исследованию когнитивных механизмов манипуляции, было дано развернутое определение некоторых понятий из этого ряда (Заботкина, Боярская 2025). Ниже представлена трактовка данных понятий в контексте данного исследования.

Фрейминг представляет собой ключевой механизм когнитивной организации дискурса, позволяющий структурировать события и явления, встраивая их в готовые концептуальные интерпретационные схемы. Как указывалось ранее, механизм фрейминга активизируется праймом-стимулом, который формирует концептуальный базис для



восприятия и интерпретации информации. Именно фреймы задают набор «правильных» категорий и ролей (например, жертва, агрессор, защитник), облегчая понимание и усвоение информации. В контексте вокизма и культуры отмены фрейминг работает через актуализацию аксиологических бинарных оппозиций 'справедливость vs несправедливость', 'свой vs чужой', 'добро vs зло' и др. Эти фреймы апеллируют к устойчивым ментальным моделям, эмоциональной вовлеченности и предсказуемым сценариям восприятия, что также подчеркивалось в публикациях других авторов (Kahneman 2011).

Скриптизация, понимаемая в рамках данного исследования как сценарная предсказуемость, есть повторяемость типичных сюжетов (нарушение – разоблачение – наказание – последствия). Скриптизация создает представление о последовательности действий или событий и возможных причинно-следственных связях между ними. Благодаря закрепленным сценариям любые новые случаи отмены легко интерпретируются в рамках уже сформированного скрипта или сценария, что существенно снижает когнитивную нагрузку и усиливает эффект вовлечения индивидуума. Подобная сценарная «предсказуемость» способствует эффективной когерентности, то есть эмоциональной согласованности между фактом, ожиданием и реакцией. Для активизации сценария или скрипта необходим прайм-триггер, который в значительной степени определяет характер восприятия информации и путей ее интерпретации. Необходимо отметить, что процесс формирования скриптов, рано как и информация, которую они фиксируют, варьируется в зависимости от личного опыта и знаний экспериенсера.

Эмоционализация (эмоциональный импринтинг) рассматривается как эмоциональное воздействие, катализатор трансляции или активизации системы аксиологических смыслов. Негативные эмоции (гнев, негодование, возмущение) усиливают эффект отмены, тогда как позитивные (солидарность, чувство справедливости) закрепляют в сознании аксиологическую «привлекательность» информации. Повышенная эмоционализация способствует глубинному закреплению смыслов в сознании экспериенсера. Эмоционализация представляет собой намеренное насыщение манипулятивного текста словами и выражениями, которые несут значительную долю прагматически окрашенной информации. Эмоционализация событий является одним из наиболее эффективных приемов манипуляции, так как эмоциональные триггеры вызывают немедленную реакцию, которая соответствует целевой установке агенса, то есть инициатора события отмены.

В данной работе мультимодальность понимается как механизм реализации «мультимодальной» когниции. Сенсорное восприятие информации посредством нескольких каналов, обработка и интерпретация текста, изображений, видео, мемов и обеспечивает более прочное закрепление аксиологических смыслов благодаря именно многоканальной обработке информации. Мультимодальные ресурсы синхронизируются, усиливая как собственно сенсорное восприятие, так и эффект эмоционального воздействия. Эмоционализация и «мультимодальная»



когниция способствуют более быстрому закреплению стигм в концептуальной картине мира экспериенсера. Таким образом, когнитивные механизмы трансляции системы смыслов опираются на комбинацию интерпретационных рамок, эмоционального воздействия, сценарной предсказуемости и мультимодальной когниции, что делает процессы фиксации и распространения аксиологических смыслов особенно эффективными. При этом ключевым фактором их эффективности выступает именно мультимодальная природа медийного воздействия, сочетающая текст, визуальные образы и цифровые форматы для закрепления новых норм и границ допустимого в коллективном сознании.

Анализ материалов англоязычного медиадискурса показал, что «позитивные» стратегии вокизма, направленные на актуализацию ценностей справедливости и равенства, обеспечивают легитимацию и привлекательность этих ценностей для широких социальных групп. В то же время «негативные» стратегии культуры отмены, основанные на бойкоте, осуждении и маргинализации, оказываются более действенными в плане закрепления данных норм в коллективных когнитивных моделях за счет высокой эмоциональной интенсивности и предсказуемости нарративов.

В рамках данного исследования было выполнено моделирование структуры событийного фрейма ОТМЕНА, который может быть представлен следующим образом:

Агнс — инициатор отмены, индивид или группа индивидов, выступающие за отмену (активисты, онлайн-сообщества, аудитория в соцсетях).

Пациенс — объект отмены, индивид или группа индивидов, действия или высказывания которых признаны нарушающими ценности (медийная личность, компания, политик и т. д.).

Причина отмены — действие, высказывание или поведение, интерпретируемое как неприемлемое (оскорбительное выражение, дискриминационное высказывание, неподобающий поступок).

Ценность — аксиологическая ценность, на основании которой определяется нарушение (любая аксиологическая норма, закреплённая в коллективном сознании).

Отмена — действие (я), направленные на «исключение».

Форма отмены — палитра средств, реализующих акт исключения (бойкот, лишение контрактов, стигматизация, удаление аккаунтов, деплатформинг и др.).

Коллективный экспериенсер — социум, для которого реализуется акт отмены и который участвует в его трансляции и закреплении.

Постэффект — социальное или символическое исключение, символическая «смерть», репутационные потери, маргинализация объекта и закрепление ценности.

Контрагнс — индивидуум или группа индивидуумов, препятствующая акту отмены и выступавшая в защиту пациенса, объекта отмены.



Анализ текстов англоязычных СМИ показал, что в медийном дискурсе слоты фрейма ОТМЕНА могут иметь следующее языковое наполнение:

Агенс: activists, Twitter users, online community, outraged fans, social media backlash, netizens, petition organizers, campaigners, protest groups.

Пациент: celebrity, comedian, politician, author, influencer, public figure, brand, company, organization, academic.

Причина отмены: offensive remark, racist comment, sexist joke, homophobic tweet, problematic statement, cultural appropriation, harassment allegation, insensitive behaviour, hate speech.

Ценность: social justice, equality, inclusivity, human rights, anti-racism, gender equality, respect for minorities, cultural diversity, freedom from discrimination.

Отмена: cancelled, face cancellation, calls to cancel, cancelled on social media, drop someone, cut ties with, removed from, fired from, boycott, call for boycott, lose sponsorships, deplatformed, banned, suspended account, public shaming, ostracised, blacklisted.

Форма отмены: boycott, fired from job, dropped from project, lose sponsorship, removed from platform, cancelled contract, public shaming, deplatforming; pressure campaigns, disruptive protest actions, event disruption or forced cancellation, boycotts and economic sanctions, institutional cancellation, performative cancellation, economic cancellation, symbolic cancellation.

Коллективный экспериенсер: the public, social media users, fans, online community, general audience, society at large, followers, viewers, supporters.

Постэффект: career ruined, publicly shamed, symbolic death, loss of reputation, lost millions of followers, marginalised figure, blacklisted, cautionary tale.

Контрагенс: supporters defended, critics of cancel culture, free speech advocates, defenders, allies, opponents of the boycott, backlash against cancel culture.

Фрейм ОТМЕНА в англоязычных СМИ реализуется через устойчивые лексико-дискурсивные маркеры, а именно — прагматически окрашенную лексику с негативной коннотацией (offensive, shameful и др.), обозначающую нарушение нормы; перформативные выражения, указывающие на коллективные действия по отмене и выборе ее формы (calls to cancel, boycott, cut ties with, dropped, career ruined, publicly shamed, deplatformed, blacklisted); метафорические конструкции, которые усиливают эмоциональный эффект воздействия и, как следствие оценочность; номинацию коллективного агенса действия (the public, social media users, activists, online community, netizens), акцентирующую массовый характер реакции. Помимо собственно лексических дискурсивных маркеров эффективным стимулом активизации и данного фрейма являются мультимодальные элементы, к которым можно отнести визуальные мемы, короткие видео, скриншоты публикаций, а также хештеги (#MeToo; #BoycottBrand, #CallOutCulture; #BoycottNetflix, #BoycottDisney, #BoycottAdidas; #TimesUp; #DeplatformHate). В совокупности



данные приемы обеспечивают синергетический эффект воздействия, ускоряя тем самым когнитивное закрепление сценария отмены, в котором перформативный акт отмены выступает инструментом закрепления определенной ценности, однако одновременно усиливает тенденции к поляризации.

На основе данного фрейма представляется возможным выполнить моделирование когнитивного сценария события ОТМЕНА, который может быть представлен следующим образом: нарушение нормы → публичное выявление → разоблачение → обвинение → медиатизация → активизация коллективного экспериенсера → санкция → фиксация результата. Приведенные ниже примеры из англоязычных СМИ иллюстрируют стадии развития сценария события ОТМЕНА.

Нарушение нормы: объект совершает действие или позволяет высказывание, которое воспринимается как противоречащее ценностям справедливости, инклюзии или политкорректности: *Stand-up comedian sarcastic response to critics calling him out for making a domestic violence joke has been branded 'disrespectful' and 'offensive'*¹.

Публичное выявление: факт нарушения становится достоянием публики благодаря сообщениям очевидцев, публикациям или же обращениям активистов: *Screenshots of the politician's offensive remarks quickly circulated online; 'Arrogant and offensive,' read the tweet from the @UKCivilService account... The post spread like wildfire before being deleted*².

Разоблачение: инициаторы формулируют обвинение, приписывая объекту нарушение норм и представляя его действия как недопустимые: *Twitter users accused the influencer of spreading hate speech [CNN, 2020]. However, his streaming debut became embroiled in controversy after the 28-year-old comedian opened the special, titled Natural Selection, with a joke about domestic abuse*³.

Выход в медиaprостранство: информация распространяется в СМИ, через социальные сети, хэштеги, мемы, приобретая массовый резонанс: *The hashtag #CancelJKRowling trended worldwide within hours. Harry Potter and the author who lost all her fans. I know it sounds like s*t, but so does @jk_rowling with her hateful rhetoric. #canceljkrowling*⁴.

Активизация коллективного экспериенсера: аудитория вовлекается эмоционально, поддерживает обвинение, формируется эффект «народного суда»: *Fans flooded Instagram with calls to boycott the star's upcoming shows [Los Angeles Times, 2019]; Many social media users felt Rife's fake apology was in poor taste, with one person writing: "There's a difference between an edgy joke and just being disrespectful and distasteful"*⁵.

¹ URL: <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/comedy/news/matt-rife-sexist-netflix-natural-selection-b2450891.html#> (здесь и далее дата обращения: 16.08.2025).

² URL: <https://www.theguardian.com/politics/2020/may/24/can-you-imagine-having-to-work-with-these-truth-twisters?>

³ URL: <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/comedy/news/matt-rife-sexist-netflix-natural-selection-b2450891.html#>

⁴ URL: <https://adage.com/article/year-review/9-biggest-cancels-2020/2299066/>

⁵ URL: <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/comedy/news/matt-rife-sexist-netflix-natural-selection-b2450891.html>



Применение санкции: объект подвергается исключению, потере контрактов, публичному осуждению и символическому изгнанию: *Netflix dropped the actor from its upcoming project after public backlash* [Variety, 2020]; *Those canceled are typically first called out on social media to magnify public knowledge of the perceived offense, whereupon the campaign to cancel ensues*¹.

Фиксация результата: закрепляется образ «отмененного», а сама практика усиливает значимость ценностей и норм, ради которых была совершена отмена: *The YouTuber lost millions of subscribers within days, becoming a cautionary tale* [BuzzFeed News, 2018]; *Several X/Twitter users called Rife out for the “misogynistic” joke about domestic abuse – especially considering his online fan base is predominantly comprised of women*².

Анализ сценария и структуры фрейма ОТМЕНА наглядно демонстрирует, что феномен отмены выступает не только как совокупность отдельных прецедентов или локальных актов публичного осуждения, но и как чрезвычайно устойчивый когнитивный сценарий, институционализированный в медиадискурсе. Его воспроизводимость и узнаваемость обеспечиваются частой повторяемостью нарративов, практически суггестивной, эмоциональной вовлеченностью широкой аудитории и мультимодальной репрезентацией, что способствует закреплению соответствующих концептов в коллективном сознании. В результате культура отмены формирует когнитивные паттерны, задающие новые аксиологические ориентиры и модели социального взаимодействия. Кроме того, закрепление фрейма ОТМЕНА в сознании коллективного экспериенсера способствует формированию коллективной идентичности: участие в актах отмены не только «наказывает» нарушителя, но и формирует принадлежность к определенной группе общества. Тем самым культура отмены выполняет функцию символического конструирования сообществ, объединенных вокруг определенных аксиологических смыслов.

Чрезвычайно интересным трендом, о котором нельзя не упомянуть, является так называемый «антивоук-дискурс», который может функционировать как стратегия нормализации альтернативных нарративов, что подтверждается анализом дискурсивных практик в академической среде (Mampaey, Huisman 2025). Антивоук-дискурс представляет собой ответную реакцию на вокизм и культуру отмены. Он фокусируется, среди прочего, на критике избыточной политкорректности и навязывании мнений в публичном пространстве. Это наглядно демонстрируют хештеги #GoWokeGoBroke (компании, играющие на вок-повестке, должны потерять и прибыль, и репутацию), #WokeMadness, #WokeInsanity (высмеивание чрезмерности, крайних проявлений вокизма), #StopWoke, #EnoughIsEnough (призывы к прекращению эксплуатации темы вокизма). Наглядным примером антивоук-дискурса являются статьи в цифровых СМИ, где открыто выражается осуждение эксплуатации вок-повестки ради повышения собственного статуса, привлечения внима-

¹ URL: <https://www.britannica.com/procon/cancel-culture-debate>

² URL: <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/comedy/news/matt-rife-sexist-netflix-natural-selection-b2450891.html>



ния к собственной личности и т. д. Так, например, недавняя статья “You are playing the woke violin”, в которой в мельчайших деталях пересказывается содержание конфликта ведущих передачи “Good Morning, Britain”, где женщина занимает позиции вокизма в контексте #MeToo (“This idea of woke, what do you think woke means? Woke means being aware of social injustice and other people's lived experiences. That's all woke means”), в то время как мужчина-ведущий яро защищает свою антивоук-позицию, утверждая, что «исполнение роли вечной жертвы» унижает человеческое достоинство (*But that's the point, you're not poor A. You're a strong woman, independent woman!*¹). Данный пример отражает конфликт двух интерпретационных схем, в которых по-разному структурируются причинно-следственные связи между социальным неравенством, личной ответственностью и символическим признанием: вок-фрейм активизирует оценку событий через призму бинарной аксиологической оппозиции *injustice vs justice*, в то время как антивоук-фрейм фиксирует оппозицию *obedience vs independence*. В данном случае символический конфликт представляет собой арену публичного столкновения противоположных мнений. В условиях цифрового медиапространства подобные публичные столкновения мнений часто трансформируются в элементы «частичной отмены», проявляющейся в форме комментариев в социальных сетях. Интересно, что опрос, проведенный газетой, показал, что 93 % респондентов выступают против чрезмерной эксплуатации повестки вокизма в СМИ.

3. Выводы

Проведенный анализ показал, что вокизм и культура отмены представляют собой взаимосвязанные феномены, функционирующие в современном медиапространстве как элементы единого когнитивного механизма трансляции аксиологических смыслов. Вокизм выступает стратегией фреймирования социальных ориентиров, связанных с равенством, инклюзией и справедливостью, тогда как культура отмены обеспечивает их когнитивное закрепление посредством публичного осуждения и символического исключения.

Анализ материала исследования продемонстрировал, что трансляция системы смыслов в медиадискурсе осуществляется через ряд когнитивных механизмов, закрепляющих интерпретационные паттерны в сознании коллективного экспериенсера. К ключевым относятся фрейминг, структурирующий дискурс через бинарные оппозиции ‘справедливость / несправедливость’, ‘свой / чужой’ и др.; скриптизация, обеспечивающая устойчивость когнитивных схем ‘нарушение — разоблачение — наказание’; эмоциональная вовлеченность, усиливающая закрепление ценностей через отрицательные (гнев, возмущение) и положительные (солидарность, чувство справедливости) эмоции; повторяемость, интегрирующая ключевые нарративы, а также мультимодаль-

¹ URL: [DailyMail.co.uk/tv/article-15215983/](https://www.dailymail.co.uk/tv/article-15215983/)



ная репрезентация, где сочетание текста, изображения и видео обеспечивает многоканальное восприятие и усиление когнитивного воздействия.

На основе этих механизмов формируется устойчивый фрейм ОТМЕНА, а событийная структура 'отмена' воспроизводится в типичном и устойчивом когнитивном сценарии: нарушение нормы → публичное выявление → разоблачение → медийное распространение → привлечение аудитории → применение санкции → фиксация результата. Взаимодействие позитивных стратегий вокизма и негативных стратегий культуры отмены формируют двунаправленный когнитивный процесс. С одной стороны, это обеспечивает воспроизводимость и устойчивость новых аксиологических норм, с другой — способствует закреплению коллективных когнитивных паттернов, формирующих новые линии социальной идентичности и разграничения.

Эмпирические наблюдения позволяют выявить значительные культурные различия в реализации культуры отмены. В англоязычном медиадискурсе культура отмены институционализируется через массовые движения (#MeToo, #BlackLivesMatter), реализуемые, в частности, через мультимодальные форматы (мемы, хештеги, визуальные символы). В российском дискурсе, напротив, акцент смещается на оценочность и аксиологическую нормативность, в то время как масштабные медийные кампании встречаются гораздо реже.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением динамики когнитивных маркеров в разных языках и культурах, сравнением реализации фрейма ОТМЕНА в офлайн- и онлайн-дискурсах, а также анализом долгосрочных последствий для формирования аксиологических норм и моделей социальной идентичности. Особого внимания также заслуживает прогноз дальнейшей эволюции анализируемого феномена. Развитие искусственного интеллекта, алгоритмических систем модерации и децентрализованных платформ социальных сетей может трансформировать механизмы отмены. Алгоритмы способны усиливать эффект эхо-камер и ускорять процессы остракизма, а появление новых цифровых форматов (deepfake, виртуальные аватары, метавселенная) открывает новые возможности для изучения мультимодальных когнитивных стратегий в рамках связки 'вокизм + культура отмены'.

Таким образом, феномены вокизма и культуры отмены выходят за рамки сугубо лингвистического анализа и должны рассматриваться в междисциплинарном контексте, объединяющем когнитивную лингвистику, социологию, философию, культурологию и медиаисследования. Их когнитивный и аксиологический потенциал делает эти практики важнейшими инструментами структурирования коллективного сознания в условиях цифровой эпохи.

Публикация подготовлена в рамках проекта РНФ 22-18-00594 «Когнитивные модели идентификации и противодействия манипуляциям в медийном пространстве».



Список литературы

Былевский, П. Г., Цацкина, Е. П., 2022. Феноменологический анализ явления «культура отмены». *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки*, 2 (857), с. 162–169. [Bylevsky, P.G. and Tsatskina, E.P., 2022. Phenomenological analysis the notion “cancellation culture”. *Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities*, 2 (857), 162–169 (in Russ.)] EDN: SCWOWZ, https://doi.org/10.52070/2542-2197_2022_2_857_162.

Дунас, Д. В., Гуреева, А. Н., Киреева, П. А., 2023. Формируя теоретическую рамку «культуры отмены»: концептуальные истоки и актуальные интерпретации. *Вестник НГУ. Серия: История, филология*, 22 (6), с. 70–81. [Dunas, D.V., Gureeva, A.N. and Kireeva, P.A., 2023. Forming the Theoretical Framework of the “Cancel Culture”: Conceptual Roots and Current Interpretations. *Vestnik NSU. Series: History and Philology*, 22 (6), pp. 70–81 (in Russ.)] EDN: ZZQAPY, <https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-6-70-81>.

Заботкина, В. И., Боярская, Е. Л., 2025. Концептуальное проецирование как основа манипулятивного воздействия. *Слово.ру: балтийский акцент*, 16 (1), с. 24–38. [Zabotkina, V.I., Boyarskaya, E.L., 2025. Conceptual projection as the basis for manipulative influence. *Slovo.ru: Baltic accent*, 16 (1), pp. 24–38 (in Russ.)] EDN: NRKOPU, <https://10.5922/2225-5346-2025-1>.

Федорова, М. С., 2023. Культура отмены как речевая практика современного медиадискурса. *Ломоносов-2023: Материалы XXIX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых*, с. 211–212. [Fedorova, M.S., 2023. Cancel culture as a speech practice of contemporary media discourse. In: *Lomonosov-2023: Proceedings of the XXIX International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists*, pp. 211–212 (in Russ.)] EDN: RMJNWU.

Фефелов, А. Ф., 2022. Дискурс вокруг cancel culture как объект лингвокультурного и переводческого анализа: логика против «логики». *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*, 20 (1), с. 126–144. [Fefelov, A.F., 2022. The Discourse around Cancel Culture as an Object of Linguocultural and Translation Analysis: Logic vs “Logic”. *Vestnik NSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication*, 20 (1), pp. 126–144 (in Russ.)] EDN: HPGCVR, <https://doi.org/10.25205/1818-7935-2022-20-1-126-144>.

Cartledge, P., 2006. Ostracism: selection and de-selection in ancient Greece. In: *Policy Papers*. Available at: <https://historyandpolicy.org/policy-papers/papers/ost-racism-selection-and-de-selection-in-ancient-greece/> [Accessed 16 August 2025].

Fairclough, N., 2010. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. 2nd ed. London, 608 p.

Haskell, S., 2021. *Cancel culture: A qualitative analysis of the social media practice of canceling*. Boise, <https://doi.org/10.18122/td.1851.boisestate>.

Kahneman, D., 2011. *Thinking, Fast and Slow*. New York, 499 p.

Mampaey, J. and Huisman, J., 2025. Backlash against wokeness in contemporary organisational fields: a critical discourse analysis of anti-woke discourses in relation to Flemish and Dutch academia. *Culture and Organization*, 31 (5), pp. 420–438, <https://doi.org/10.1080/14759551.2025.2481043>.

Marantz, A., 2019. *Antisocial: Online Extremists, Techno-Utopians, and the Hijacking of the American Conversation*. New York, 400 p.

Ng, E., 2020. No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation. *Television & New Media*, 21 (6), pp. 621–627, <https://doi.org/10.1177/1527476420915994>.

Ng, E., 2022a. Cancel culture, popular media, and fandom. In: *Cancel culture: A critical analysis*. Pp. 13–37, https://doi.org/10.1007/978-3-030-97374-2_2.



Ng, E., 2022b. Cancel culture, Black cultural practice, and digital activism. In: *Cancel Culture: A Critical Analysis*. Pp. 39–72, https://doi.org/10.1007/978-3-030-97374-2_3.

Norris, P., 2021. Cancel Culture: Myth or Reality? In: *Harvard Kennedy School Discussion Paper*, RWP21–004, 27 p., <https://doi.org/10.2139/ssrn.3684706>.

Pluckrose, H. and Lindsay, J., 2022. *Cynical Theories: How Universities Made Everything about Race, Gender, and Identity – and Why This Harms Everybody*. Durham, 352 p.

Ratzbani, H. *What Is Herem? The traditional ban separating a person from the Jewish community*. Available at: <https://www.myjewishlearning.com/article/herem/> [Accessed 16 August 2025].

Samuels, R., 2024. Cancel Culture, Free Speech, and the Center-Right. In: *Culture Wars, Universities, and the Political Unconscious*. Pp. 59–76, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-61227-5>.

van Dijk, T.A., 2006. Discourse and Manipulation. *Discourse & Society*, 17 (3), pp. 359–383, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0957926506060250>.

Waani, M.S. and Wempi, J.A., 2021. Cancel culture as a new social movement. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5 (7), pp. 266–270.

Об авторах

Вера Ивановна Заботкина, доктор филологических наук, профессор, проректор по международному сотрудничеству, руководитель научно-образовательного Центра когнитивных программ и технологий, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-6674-8052

SPIN-код РИНЦ: 7756-6370

E-mail: zabotkina@rggu.ru

Елена Леонидовна Боярская, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия; научный сотрудник, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0003-0179-8643

SPIN-код РИНЦ: 9075-8210

E-mail: Eboyarskaya@kantiana.ru

Екатерина Игоревна Коростиченко, кандидат философских наук, Институт философии Российской академии наук, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-7018-6301

SPIN-код РИНЦ: 4832-8099

E-mail: ek.korostichenko@gmail.com

Для цитирования:

Заботкина В.И., Боярская Е.Л., Коростиченко Е.И. Культура отмены: когнитивные механизмы трансляции смыслов в медийном дискурсе // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 143–159. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-10.



CANCEL CULTURE: COGNITIVE MECHANISMS
OF MEANING TRANSMISSION IN MEDIA DISCOURSEVera I. Zabotkina¹, Elena L. Boyarskaya^{1, 2}, Ekaterina I. Korostichenko³¹ Russian State University for the Humanities,
6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russia² Immanuel Kant Baltic Federal University,
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia³ Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences,
12 Goncharnaya St., Building 1, Moscow, 101000, Russia

Received on 16.08.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-10

This article investigates the phenomenon of cancel culture as a contemporary manifestation of social ostracism and a mechanism of discursive manipulation within English-language media discourse. Particular emphasis is placed on its interrelation with wokeism, which operates as an ideological and axiological framework shaping a system of values centred on equality, inclusivity, and social justice. Cancel culture, in this context, functions as a pragmatic instrument of value enforcement, realised through public condemnation, boycotts, stigmatisation, and symbolic exclusion. Both phenomena are conceptualised as interdependent components of a unified conceptual-cognitive mechanism facilitating the transmission, consolidation, and normalisation of axiological meanings in the media sphere. Drawing on contemporary English-language media discourse, the study identifies and analyses several cognitive mechanisms underlying the construction, interpretation, and stabilisation of meaning within cancel culture narratives. These include conceptual framing, which structures discourse through binary oppositions and evaluative schemata; scripts, representing the recurrent event “violation – exposure – punishment”; emotional construal, in which affective responses such as anger, indignation, solidarity, and moral satisfaction act as cognitive catalysts enhancing entrenchment; and multimodal integration, which combines verbal, visual, and digital semiotic resources to increase salience, emotional resonance, and persuasive force. The interaction of these mechanisms gives rise to a stable CANCEL frame, instantiated in a prototypical cognitive scenario: norm violation → public exposure → accusation → media amplification → audience mobilisation → sanction → outcome fixation. The dynamic interplay between the affirmative strategies of wokeism (foregrounding justice, equality, and inclusivity) and the sanctioning strategies of cancel culture (boycott, exclusion, ostracism) constitutes a bidirectional cognitive process. On the one hand, it ensures the reproducibility and legitimisation of emergent moral norms; on the other, it contributes to the entrenchment of collective cognitive patterns that delineate new boundaries of social identity, moral evaluation, and ideological differentiation within the digital public sphere. The findings contribute to a broader understanding of how multimodal media discourse functions as a site of axiological framing, collective conceptual alignment, and cognitive regulation of social values, offering analytical perspectives relevant to the study of digital communication, manipulative discourse strategies, and critical media literacy.

Keywords: axiological norms, cancel culture, cognitive mechanisms, event frame, wokeism

The authors

Dr Vera I. Zabotkina, Professor, Acting Vice-Rector for International Cooperation, Head of the Scientific and Educational Centre for Cognitive Programmes and Technologies, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-6674-8052

E-mail: zabotkina@rggu.ru



Dr Elena L. Boyarskaya, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia; Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0003-0179-8643

E-mail: Eboyarskaya@kantiana.ru

Dr Ekaterina I. Korostichenko, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-7018-6301

E-mail: ek.korostichenko@gmail.com

To cite this article:

Zabotkina, V.I., Boyarskaya, E.L., Korostichenko, E.I., 2026, Cancel culture: cognitive mechanisms of meaning transmission in media discourse, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 143 – 159. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-10.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ АНТРОПОНИМОВ В ВОДСКОМ И ИЖОРСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А. В. Дмитриев

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Россия, 195251, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Академическое,
ул. Политехническая, д.29 литера Б
Институт лингвистических исследований РАН,
Россия, 199053, Санкт-Петербург,
Поступила в редакцию 22.01.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-11

*В современной прибалтийско-финской ономастике особую значимость приобретает вопрос о путях и механизмах адаптации иноязычных заимствований в близкородственных языках. На материале антропонимических систем води и ижоры рассматриваются процессы фонетической и морфологической трансформации личных имен христианского происхождения. Исследование направлено на установление типологических особенностей адаптационных механизмов и выявление универсальных и специфических черт каждого из исследуемых языков. В работе применен комплексный подход, сочетающий методы сравнительно-исторического языкознания, типологического анализа и системной реконструкции. Эмпирическую базу составили материалы полевых исследований, архивные документы и лексикографические источники XX–XXI веков. Выявлены основные стратегии фонологической и морфологической адаптации заимствований, определены доминантные модели трансформации антропонимов. Установлено, что значительная часть водских и ижорских форм имен восходит не к каноническим христианским именам, а к их русским диалектным вариантам, что свидетельствует о сложном характере межъязыкового взаимодействия. Выявлены различия в функционировании адаптационных механизмов в водском и ижорском языках, обусловленные особенностями их фонологических и морфологических систем. Особое внимание уделено анализу вокалической и консонантной адаптации, геминации согласных, палатализации и эпентезы. Описаны морфологические особенности адаптации, включая функционирование древнего прибалтийско-финского суффикса *-oi и его вариантов. Полученные результаты способствуют углублению понимания процессов языкового контактирования и могут быть использованы при разработке мер по сохранению языкового наследия малых прибалтийско-финских народов.*

Ключевые слова: антропонимические системы, морфологическая трансформация, прибалтийско-финские языки, сравнительно-сопоставительная лингвистика, теория языковых контактов, типология заимствований, фонологическая адаптация, языковая адаптация

1. Введение

Исследования прибалтийско-финской антропонимии, как известно, были начаты в конце XIX века с изучения дохристианского именованослова по писцовым книгам XVI века, что в свое время показали Н. Д. Чечулин,



Н. Н. Харузин и А. В. Форсман, а в XX столетии их наработки систематизировал Д.-Е. Стёбке (Stoebke 1964).

В XIX веке вышла первая заметка и по некоторым некалендарным финским антропонимам прихода Лииссиля Ингерманландии, которую написал финский врач и переводчик В. Килпинен (Kilpinen 1857), чьи наблюдения впоследствии получили развитие в трудах О. Лоухелайнен (Louhelainen 1913), Э. Хиетакари (Hietakari 1944), Ю. Мустонен (Mustonen 1938), В. Ниссиля (Nissilä 1943).

Послевоенный труд С. С. Гадзяцкого по некалендарной антропонимии Водской пятины XVII века (Гадзяцкий 1947) дал новый импульс для дальнейшего развития изучения древнерусской антропонимии в трудах уже советских ученых. Параллельно развивалось изучение карельской антропонимии, существенный вклад в которое внесли Я. Калима (Kalima 1942) и В. Ниссиля, создавший фундаментальный словарь христианских карельских антропонимов XVI–XX веков (Nissilä 1976).

Позднее были даны первые систематические описания антропонимиконов малочисленных прибалтийско-финских этносов – карелов, вепсов, ижоры, води и ливов (Karlova 2007; Mullonen 2007; Joalaid 2007a; 2007b; Halling, Joalaid 2007), а в наши дни аналогичное сравнительное исследование водского, ижорского и сетусского антропонимикона выполнила Э. Саар (Saar 2015). Продолжаются исследования карельской календарной и некалендарной антропонимии, что отражено в многочисленных трудах Я. Саарикиви, А. И. Соболева, Д. В. Кузьмина, А. А. Макаровой, И. А. Кюршуновой, О. А. Карловой и других ученых – представителей Петрозаводской школы прибалтийско-финской ономастики.

Настоящее исследование дополняет имеющийся опыт изучения календарного прибалтийско-финского антропонимикона. Особую актуальность работе придает критическое состояние водского и ижорского языков, находящихся под угрозой исчезновения. Систематизация и анализ антропонимического материала способствуют сохранению важного пласта культурного наследия этих народов.

Таким образом, целью исследования является проведение сравнительно-сопоставительного анализа процессов адаптации христианских антропонимов в водском и ижорском языках с выявлением основных фонетических и морфологических закономерностей их трансформации при заимствовании из русского языка. Статья направлена на выявление специфики фонетической и морфологической адаптации заимствованных христианских имен, определение основных способов их структурного преобразования, анализ особенностей вокализма и консонантизма, изучение словообразовательных моделей и суффиксальных систем, а также установление общих закономерностей развития антропонимических систем води и ижоры.

В теоретическом плане исследование вносит существенный вклад в развитие сравнительно-исторического языкознания, предлагая системное описание механизмов фонетической и морфологической адаптации заимствований в родственных прибалтийско-финских языках. Ме-



тодология анализа антропонимических систем может быть экстраполирована на изучение других языковых контактов, что имеет большое значение для теоретической лингвистики.

Прикладной аспект работы связан с созданием комплексной классификации способов адаптации христианских антропонимов, которая может быть использована в лексикографической практике при составлении словарей личных имен прибалтийско-финских народов. Результаты исследования также значимы для разработки методов сохранения и ревитализации исчезающих языков, поскольку антропонимическая система является важным компонентом языковой идентичности.

2. Методология и материал исследования

В статье применяется комплексный подход к изучению адаптации христианских антропонимов в водском и ижорском языках. Сравнительно-сопоставительный метод, применяемый в работе, позволяет установить типологические особенности адаптационных процессов в исследуемых языках. Комплексный анализ фонетических и морфологических изменений при заимствовании антропонимов дает возможность построить типологию адаптационных механизмов, характерных для прибалтийско-финских языков в целом. Еще одним методологическим принципом выступает системная реконструкция, позволяющая восстановить этимологию утраченных форм через выявление доминантных фонетико-морфологических моделей именной деривации. Исследование опирается на обширную эмпирическую базу, включающую полевые материалы автора, архивные документы, лексикографические источники и научные публикации. Все это позволило выявить и проанализировать 165 мужских и 50 женских имен.

3. Общая характеристика процесса заимствования русских имен в водский и ижорский языки

Современная ситуация с водской и ижорской антропонимической системой характеризуется существенной трансформацией традиционного именника, обусловленной двумя ключевыми факторами — отсутствием устойчивой письменной традиции и интенсивными ассимиляционными процессами среди води и ижоры. В результате этих процессов произошло замещение исконных водских и ижорских форм христианских имен русскими каноническими именами и их диалектными вариантами. Данная тенденция усилилась в послевоенный период, когда наблюдалась общероссийская тенденция к обновлению антропонимического фонда. Следствием этих процессов стала утрата семантической прозрачности значительного количества антропонимических единиц, зафиксированных в историографических и полевых исследованиях.

Методология системной реконструкции представляется эффективным инструментом для восстановления этимологии утраченных форм.



Данный подход предполагает первичное выявление доминантных фонетико-морфологических моделей именной деривации на основе сохранившихся прозрачных антропонимических данных с последующей экстраполяцией полученных закономерностей на этимологически неясный материал. Применение данной методологии позволяет не только прояснить происхождение сохранившихся антропонимических форм, но и реконструировать предположительно существовавшие, но утраченные варианты имен.

Принципиальное значение для исследования имеет признание генетической вторичности водского и ижорского христианского антропонимикона по отношению к русской антропонимической системе. Эмпирический материал демонстрирует, что значительная часть разговорных форм личных имен води и ижоры восходит не к каноническим христианским именам непосредственно, а к их русским диалектным вариантам, характерным для сопредельных территорий, что отмечается и для карельского именослова (Кузьмин 2016).

Данное обстоятельство обусловило фиксацию в водской и ижорской антропонимии фонетических особенностей русских диалектов. Русское влияние также прослеживается в структурной организации водских и ижорских народных форм имен, которые преимущественно характеризуются двусложностью и редукцией определенных фонем относительно исходных канонических вариантов, что иллюстрируется следующими примерами: водск. *Ulaska* — Власий; водск. *Var'u* — Варвара; иж. *Marjuska* — Мария; иж. *Outuška* — Евдоким.

Первое, на что необходимо обратить внимание, это четкая дифференциация в формах водских и ижорских имен относительно русского языка:

1. Имена, соответствующие полным (официальным) формам русских имен: *David* < Давид; *Ol'eksandra* < Александра.
2. Имена, соответствующие гипокористическим формам русских имен: *Ondruška* < Андрюшка; *Opraska* < Парашка.
3. Имена, которые имеют не свойственную для современного русского языка форму: *Ivo* < Иван; *Pal'u* < Пелагея.

Безусловный интерес представляют антропонимы из групп 2 и 3, поскольку заимствованные официальные (полные) русские имена были довольно редки среди водского и ижорского населения. В свое время Ю. Мягисте подметил, что с точки зрения структуры календарных русскоязычных антропонимов, заимствованных в прибалтийско-финские языки, в большинстве случаев русский уменьшительный суффикс заменялся собственными средствами, то есть использовалась оригинальная производная от прибалтийско-финского языка. Полученные таким образом формы имени, как правило, были короче исходной именной формы. В прибалтийско-финских языках при деривации чаще всего использовались только первые два слога заимствованного слова, реже ударный последующий слог заимствованного слова, путем добавления к одному из них гипокористического признака (Mägiste 1928, p. 227), что справедливо и для водского и ижорского языков (Кузьмин 2016),



причем отличительной особенностью именно водского именослова является то, что водский язык заимствовал не исходные имена, а их гипокористические варианты, которые в дальнейшем находили свою обработку на почве водского языка, в котором, кроме того, нет такого количества диминутивных суффиксов, образующих гипокористические формы имен (Рожанский 2014, с. 305).

Необходимо подчеркнуть, что процесс сокращения имен до двухсложной формы в большинстве случаев происходил уже на почве русского народного именослова, и водский и ижорский языки заимствовали уже готовые русские гипокористики (или «квалитативы», «модификаты», принятые для изучения славянской антропонимии). Это объясняет многие особенности фонетического облика водских и ижорских антропонимов. Исследования А. И. Толкачева, анализирующие древнерусские источники, показывают разнообразие двухсложных модификатов, многие из которых впоследствии послужили основой для прибалтийско-финских антропонимов. Например, он пишет, что в личных именах известен целый ряд образований от сокращенных квалитативных основ: *Вас-юха*; жонку *Васюху*. Исх.: (*Вас-илиса*, менее вероятно *Васса*) > *Вас'-а*; *Емел'-юха*: *Емелюха*. Исх.: *Емел'-а*; *Ол'-юха*: *Захар Олюхин*. Исх., вероятно, *Ол-екса* или *Ол-ександр*, а не *Ольга*, поскольку форма *Олюхин*, указывает на родственное отношение к отцу, а не к матери; ср. вариант *Люха*; *Пол-уха*: *Полуха*; *Иван Полуха*. Исх., возможно, *Пол-уил*, но не *Пол-укарп*, от которого, скорее всего, получался квалитатив *Карп-уха* (так же, как и от *Карп-*): ср. совр. *Карп* — *Карпуша* — *Карпуха*; *Степ-уха*: *Степуха*. Исх.: (*Степ-ан*) > *Степ-а* > *Степ-уха*; *Т-юха*: *Тюха Пантелеев*. Исх.: (*Евтухи*=*Евтюхи*) > *Евтюха* > *Евт-юх-а* > *Т-юх-а* (Толкачев 1977).

Таким образом, если следовать приведенной выше тенденции в образовании гипокористик, такие формы как *Var'u* происходят не напрямую от *Варвара*, а от русского гипокористического *Варя*; *On'o* — от *Оня* (< *Анисим*); *Nar'o* — от *Харя* (< *Харитон*); *Ort't'u* — от *Ортя* (< *Артемий*); *Vas'o* — от *Вася* (< *Василий*); *Fed'o* — от *Федя* (< *Федор*) и т. д.

При анализе русских календарных имен в водском и ижорском языках можно выделить два типа адаптации заимствований. Первый тип — это адаптация, обусловленная влиянием языка-донора (русского). Она проявляется в сохранении диминутивных суффиксов русского языка: суффикса *-ушк-* (*Павлиšk*, *Tarušk*), *-ошк-* (*Teroška*), а также более простого диминутивного форманта *-к-* (*Mikifk*). Кроме того, сохраняется палатализация согласных, характерная для русских гипокористических форм: *Fed'a*, *Kol'a*.

Второй тип — это адаптация, происходящая по внутренним законам языков-реципиентов (водского и ижорского). На морфологическом уровне наблюдается присоединение характерных для прибалтийско-финских языков суффиксальных формантов. Доминирующую позицию в системе антропонимических формантов занимает суффикс *-oi*, однако существенную роль играют также такие деривационные элементы, как *-u*, *-ne(n)* (*-ñe*, *-ñi*), *-t's* (*-t'š*) *-k(ka)* (*-kas*), *-kki* и др., демонстрирующие различную степень распространенности в отдельных прибалтийско-финских языках.



На фонетическом уровне отмечается ряд регулярных изменений: геминация интервокальных согласных (*Markko, Markku, Titto*), субституция начальных консонантов (*Федор > Fed'o/ VeDotta*). В области вокализма наблюдается появление долгих гласных фонем *ā, ū, ō, ē, ī* (*Sāv, Mihāl, Jōkoi*), что является характерной особенностью фонологических систем прибалтийско-финских языков.

Далее мы более детально опишем основные фонетические и морфологические особенности заимствованных из русского языка личных календарных имен в водский и ижорский языки с опорой на следующие материалы:

— полевые материалы автора исследования, записанные в ходе экспедиций в Кингисеппский район в период с 2003 по 2012 год;

— списки неофициальных имен жителей деревень Котлы, Маттия и Ундово, записанных В. Алава в ходе экспедиции в 1901 году (Alava 1901);

— собрание П. Аристе "Vadja etnologia", хранящееся в Архиве эстонского фольклора Эстонского литературного музея;

— лексикографические материалы — словарь ижорского языка Р. Нирви (Nirvi 1971) и словарь по кракольскому диалекту водского языка Д. Цветкова (Tsvetkov 1995);

— различные (к сожалению, немногочисленные) научные статьи эстонских, финских, российских исследователей по теме календарной антропонимии воды и ижоры.

4. Фонетические особенности водской и ижорской христианской антропонимии

4.1. Характер вокализма и сингармонизм

Как и карелоязычные формы христианских имен (Кузьмин 2016), формы водских и ижорских имен имеют заднерядный вокализм. Это во многом связано с тем, что в русском языке, из которого водь, ижора и карела заимствовали эти формы, нет таких гласных, как *ii, ä, ö*.

Будучи языками с вокальной гармонией гласных, водский язык имеет *ä-, ii-* и *ō-*гармонию¹ (при нейтральной гласной *i*), а ижорский, наряду с карельским и финским, *ä-, ii-* и *ö-*гармонию (при нейтральных гласных *e* и *i*, которые могут встречаться в словах как с гласными переднего, так и заднего ряда). Однако при заимствовании в прибалтийско-финские языки русской основы сингармонизм может быть обусловлен палатализацией или *i-* и *j-*окружением (Lauerma 1993, с. 193). Поэтому в заимствованных в водский язык календарных именах часто наблюдается отклонение от канонической прибалтийско-финской вокальной гармонии: *Елисей > водск. Jelja; Фёдор > иж. сойк. Vōdra*. Заметим, что подобное явление с передними гласными можно наблюдать и

¹ Наибольшую *ō-*гармонию имеет язык сету (Saar 2015, р. 174).



в некоторых карельских календарных именах: *Denissä* < Денис, *Döröi* < Дорофей, *Hilippä* < Филипп, *Kirilä* < Кирилл, *Krestinä* < Крестина, *Simä* < Семён, *Temitä* < Демид и т. д. (Кузьмин 2016).

В водском языке большую роль играет отсутствие *ö*-гармонии, поэтому к предвокальной части существительного может присоединяться продуктивный суффикс **-oi* > *-o*: *Vera* > водск. *Ve'ro*; Феодор > водск. *Fed'o*, *Fet'o*. В случае с *ö*-гармонией в водском языке при заимствовании имен имеется всего несколько таких примеров, причем все они отмечены в нижнелужском ижорском ареале из деревни Ванакюля: *Лукурья* > *Lukkõ* и *Варвара* > *Varvõ*. Более того, среди заимствованных имен в водском и ижорском языках отсутствуют также примеры *ü*-гармонии.

Э. Саар полагает, что имеет смысл говорить только о двух продуктивных вокальных гармониях: *ä*- и *ö*-гармонии для ижорского языка и *ä*-гармонии для водского языка.

ä-гармония (самая продуктивная): *Илья* > водск. *Īiä*, иж. *Ījä*; Кирилл > иж. *Kirilä*; Людмила > водск. *Lüsä*; Петр > водск. *Pet'ä*; Феодор ~ Фёдор > водск. *Füderä*, иж. сойк. *Vüterä*, *Vütärä*; Фекла ~ Фёкла > иж. сойк. *Vöglä*.

ö-гармония (встречается, как правило, в именах сойкинского диалекта ижорского языка): Прокофий > *Prökkö*, *Prökköi*; Феодор ~ Фёдор > *Vöttöi*, *Vütöi*, *Vüttö*, *Vüttöi*; Фекла ~ Фёкла > *Vögöi*; Артемий > *Ärtöi*, *Ärttö*, *Ärttöi* (Saar 2015, p. 174).

4.2. Сокращения многосложных имен (апкопа / афферезис)

В русском языке распространено явление, когда безударная гласная или даже целый слог или слоги выпадают в некоторых именах; таким образом, наблюдаются явления апкопы: *Уля* < Ульяна, *Ира* < Ирина и афферезиса: *Катя* < Екатерина, *Саша* < Александр.

Многие прибалтийско-финские языки также переняли эту модель, когда многосложные имена усекались. В прибалтийско-финских языках, в частности водском и ижорском, происходит либо прямой перенос ударения: *Гаврил* > водск. *Gäbre*, *Ga'ro*, иж. *Kaurila*, *Kaurula*; Спиридон > водск. *Pirkko*, *Spirka*, иж. *Pirkka*, либо заимствование части имени из ударного слога: Димитрий > водск. *Miteri*, *Mitjo*, *Mit'u*, иж. сойк. *Mittoi*, *Mitöi*; Антонина > водск. *Nina*; Иван > водск. *Va'no*, иж. *Va'na*. Вместе с тем подобная тенденция — сокращение имен до двухсложных — пожалуй, находит свое отражение еще в русском, до входа в прибалтийско-финскую антропонимическую систему, что потом в ней закрепляется: например, в карельском языке ср. *Nasti* < Анастасия, *Vassi* < Василиса, *On'u* < Ануфрий, *Ohvo* < Афанасий, *Vaku* < Аввакум и т. д. (Кузьмин 2016).

Все же пока рано говорить о закономерностях и характере усечения имен в водском языке, поскольку водские гипокористические формы имен вполне подходят и под наиболее частотные русские способы усечения. Кроме того, не всегда понятно, имеем ли мы дело с разными вариантами усечения или с различием в адаптации консонантных кластеров в начале слова, которые не характерны для водского языка, да и



для многих других прибалтийско-финских языков: например, для водского языка вполне закономерен переход *Аксинья* > *Ok'e* или *Григорий* > *Kiko* (Рожанский 2014, с. 305).

4.3. Удлинение гласных в первом предударном слоге

Известно, что в прибалтийско-финских языках (финский, эстонский, карельский, вепсский, водский, ливский, ижорский, сету) ударение в основном падает на первый слог, за рядом исключений, которые касаются заимствованных слов в эстонском языке, некоторых особенностей ливского языка и некоторых диалектов карельского языка под влиянием русского языка. Соответственно, в водском и ижорском языке это проявляется следующим образом: *Василий* > иж. *Vässeli*; *Гаврил* > водск. *Gäbre*; *Иван* > иж. *Īvana*; *Илья* > водск. *Īlia*, *Īliä*, иж. *Īlja*, *Īljä*; *Мария* > водск., иж. *Mārja*, иж. сойк. *Māroi*; *Михаил* > водск. *Mihhal*, иж. *Mihkali*, *Mihkili*; *Тихон* > водск. *Tihan*, *Tifona*, иж. *Tihana*, *Tihkana*; *Фома* > иж. *Fōma*, водск. *Hōma*.

Следует отметить, что в ижорском языке случаев удлинения гласных значительно больше, они более систематичны и затрагивают практически все гласные фонемы *ā*, *ē*, *ī*, *ō*, *ū*. В водском языке таких случаев меньше, они менее регулярны и в основном касаются гласных *ā*, *ō*, *ī*, *ū*.

Для водского и ижорского языков нехарактерна дифтонгизация исходного монофтонга в заимствованных календарных именах, как, например, для карельского языка: ср. *Duarie* < *Дарья*, *Huotari* < *Федор*, *Kuagra* < *Карп*, *Muarie* < *Мария*, *Viera* < *Вера* и т. д. (Кузьмин 2016).

4.4. Переходы *a* > *a/o* в первом безударном слоге

В ударном и безударном положениях у водских и ижорских антропонимов хорошо сохраняется исходный русский первый слог на *и* и *і*, хотя ударные гласные *a* и *o* также передаются без изменений. Поскольку греческие календарные имена были заимствованы в прибалтийско-финские языки через русский язык, то, как и в русских вариантах имени, в водских и ижорских именах наблюдается неоправданное, на первый взгляд, добавление, пропуск или чередование начальных *a* или *o*. В силу влияния русского языка среди официальных *a*-начальных календарных названий в водском языке преобладают трансформации с переходом *a* > *o*, тогда как в ижорском (и, кстати, карельском) языках тенденция более противоречивая — наряду с *o*-начальными именами немало таких, где сохранилась начальная гласная *a* (Saar 2000, p. 14; Nissilä 1975, p. 210).

Анализ процесса лабиализации (перехода *a* > *o*) в русских календарных именах, адаптированных водским и ижорским языками, демонстрирует неравномерность данного фонетического явления. Причина данного перехода может быть обусловлена в большей степени влияни-



ем русских диалектных форм — ср. *Офонасий, Ондрей, Олексей, Орефий* и т. д. Поэтому такой переход произошел изначально в русском языке, а затем уже заимствовался в водский и ижорский языки:

a > o: *Агафия > Огафия > водск. Оги, Око; Агафон > Огафон > водск. Ofoña, Ofoña; Александра > Олександра > водск. Ol'eksandra, Ol'o; Алексей > Олексей > водск. Ol'ekse, Ol'o, Ol'okse; Андрей > Ондрей > водск. Ondrē, Ondrona, Ondruška, иж. Ondre; Анисья > Онисья > водск. Onisa, Oniśša, Onissi, Onja; Антоний ~ Антон > Онтоний > водск., иж. Onttana, водск. Ontto, Ontui, иж. Onttona; Артемий ~ Артём > Ортемий > водск. Ortju.*

Эта фонетическая особенность прослеживается, кстати, у других прибалтийско-финских народов, а также кольских саамов: ср. вепс. *Ol'koi < Олексей, Orešk < Орефий, Ort' < Ортемий*; эст. *Oka < Огафья, Oloska < Олексей, Ouda < Овдотья*; кольск.-самм. *Ofenas < Офанасий, Oggisk < Огафья, On'sim < Онисим.*

Тем не менее в некоторых именах не наблюдается лабиализация, что можно объяснить сравнительно поздним периодом заимствования русских календарных имен в водский и ижорский язык:

a > a: *Агафия > водск. Agu, Aguška; Андрей > иж. Andre; Анна > водск. Anni, Aññukki, Añu; Антон > иж. Antti, Antto; Архипп > водск. Arkippa; Арсений > иж. Arse; Артемий ~ Артём > водск. Art't'u, Art'ime.*

Безударный слог с *o* в русском языке также произносится как *a*-подобный, поэтому вероятно, что звуковая смена безударного *o > a* уже имела место в русском языке как промежуточном языке канонических имен: например, *Соломония > водск. Salo*. Однако для водского и ижорского языков такой переход *o > a* нехарактерен, в отличие от карельского языка, что, по мнению Д. В. Кузьмина, объясняется достаточно ранним заимствованием форм имен: ср. *As(s)ipra < Осун, Barissa < Борис, Ната < Фома, Hatti < Фотий, Havana < Фофан, Kapana < Конон*. Данная особенность прослеживается также в последнем ударном и заударном слогах: *Okahvana < Агафон, Platana < Платон, Triifana < Трифон* и т. д. (Кузьмин 2016); ср. водск. *Hōma, иж. Fōma < Фома*; водск. *Sojje, Soria, Soro < София*; водск. *Sofrom < Софрон*; водск. *Viktor, иж. Vihtora < Виктор*; водск. *Platon, Platošk, Plato < Платон*; водск. *Tropo, иж. Tropoi < Трофим*.

Все же окказионально данная черта встречается: водск. *Tihan, иж. Tihkana < Тихон*; иж. *Trihvana < Трифон*, что, очевидно, обусловлено заимствованной в водский и ижорский язык фонетической особенностью русского языка — переходом *o > a* в заударном слоге.

4.5. Переходы *e > V* в первом безударном слоге

Гласная *e* в первом слоге также подвергалась различным переходам, хотя и при ее сохранении во множестве вариантов имен: *Сергей > иж. н-л. Seřo; Степан > водск. Теро, иж. сойк. Тевои; Терентий > водск. Teroška, иж. сойк. Teroi* и т. д.:

e > a (также распространено в разговорном русском языке): *Герасим > водск. Gařo, Garassim, иж. Karassima; Мелания > водск. Malo, Mal'o; Пелагия > водск. Paljo, иж. Palaga*. Ср. с карельским языком: *Faru < Феранонт; Garassi, Jarassima < Герасим; Savo, Zavoï < Севастьян* (Кузьмин 2016);



$e > i$ (отсутствует в водском языке): *Семен* ~ *Симеон* > иж. н-л. *Simo*, иж. сойк. *Simoi*; *Сергей* > иж. *Sirke*, *Sirkei*. Такая особенность прослеживается также в карельском языке: ср. *Gliimatta* < *Клементий*, *Pirhina* < *Перфирий*, *Simana* < *Семен*, *Sirkei* < *Сергей* (Кузьмин 2016);

$e > o$ (> *u*) (лабиализация *e* происходит в именах, где за ним следует губной звук *o*, *v* или *f* перед согласной): *Георгий* > водск. *Joko*, *Joša*, *Jogora*, иж. *Jokoi*, *Johorka*; *Феврония* > водск. *H'ovra*, иж. *Houra*; *Евдокия (Авдомья)* > водск. *Oud'e*, *Oudei*, *Oudekki*, *Oudekko*, иж. сойк. *Odoi*, *Oude*; *Евдоким* > иж. *Outuška*;

$e > o > ö > ü$ (образование умлаута возможно в именах с *e*, где вместо канонического *e* в русском языке стоит *ë* [*iu*] и гласная изменяется под влиянием *j*): *Феодор* ~ *Фёдор* > водск. *Fōdra*, *Fūderä*, иж. н-л. *Fōdor*, иж. сойк. *Vōdrä*, *Vōttöi*, *Vūterä*, *Vūtärä*; *Фекла* ~ *Фёкла* > водск. *Fogl'a*, *Fökla*, иж. сойк. *Vöglä*, *Vögöi*.

4.6. Эпентеза в формах мужских имен

Анализ адаптации православных календарных мужских имен в водском и ижорском языках демонстрирует регулярное явление эпентезы — добавления гласного звука в финальной позиции после конечного согласного. В ижорском языке данное явление представлено более широко: *Vihtora* 'Виктор', *Artamona* 'Артамон', *Ignatta* 'Игнатий', *Kirrilä* 'Кирилл', *Pamfila* 'Памфил', *Agaffona* 'Агафон', *Nikkāna* 'Никон', *Pahhōma* 'Павлом', *Mirrōna* 'Мирон', *Rommōna* 'Роман', *Sossōna* 'Созонт', *Nikkānōra* 'Никанор', *Harittana* 'Харитон', *Plattōna* 'Платон' и др. Водский язык демонстрирует меньшее количество подобных форм.

Данное фонетическое явление показывает определенные закономерности в обоих языках. Эпентетический гласный представлен преимущественно звуками *a/ä* и *o/ö*, что связано с исходной фонотактикой прибалтийско-финских языков, где слова редко заканчиваются на согласный. В ижорском языке процесс часто сопровождается компенсаторным удлинением гласного, что отражается в транскрипции: *Nikkānōra*, *Sossōna*.

Примечательно, что эпентеза происходит после определенных типов согласных: сонорных (*n*, *m*, *l*) и шумных (*t*, *k*, *f*). В ряде случаев процесс сопровождается геминацией предшествующего согласного (*Nikkāna*, *Ignatta*), что может рассматриваться как компенсаторное явление при адаптации заимствований в прибалтийско-финские языки.

4.7. Преобразования в консонантных кластерах

Трансформациям в водском и ижорском языках подлежат те согласные, которые не присущи этим языкам и являются для них чужеродными. В исконной лексике прибалтийских финнов двойные согласные в начале слова отсутствуют. Их также избегают (но не всегда) в начале слов в водском и ижорском языках (Saar 2000, p. 18), а также в диалектах восточных карелов (Nissilä 1975, p. 210) и тверских карелов (Virtaranta 1973, p. 488–489).



Существует несколько способов избежать двойной согласной в начале имени, и наиболее распространенный — удаление одного из компонентов начальных консонантных кластеров *gr*, *sp*: *Григорий* > водск. *Kiko*, *Kikoria*, иж. *Kikori*, *Kikorja*; *Спиридон* > водск. *Pirkko*; *Степан* > водск. *Теро*, иж. сойк. *Тевоi*.

Затруднения также представляли произнесения слов, начинающихся на *ф*. По мнению Я. Калима, звук *f* сохранился в заимствованных существительных русского языка почти у всех прибалтийских финнов. В то же время он допускал появление русских *f*-начальных личных имен в качестве *h*-начальных карельских личных имен (Kalima 1952, p. 70). Это изменение также распространено в водском и ижорском языках, где наряду с заменой *f* > *h* в сойкинском диалекте ижорского во многих случаях имеет место переход *f* > *v*, в то время как в водском и нижнелужском диалекте ижорского часто сохранялось начальное *f* (переход *f* > *hk* не характерен для водского и ижорского, в отличие от сету). Кроме того, заимствованные в водский язык *f*-начальные личные имена, по видимому, отражают более архаичную ступень адаптации (ср. водские диалектные варианты *fökl* 'свекла' и *sv'okl* 'свекла', первый из которых является архаичным заимствованием, а второй — более новым) (Рожанский 2014, с. 306). В середине имени *f* сохраняется во многих адаптированных в водский и ижорский языки календарных именах.

Не менее трудными для произношения были имена, начинающиеся на *фр*, *хр* и *вл* в начале имени. В последнем случае одна согласная либо исчезала в начале имени (*Власий* > иж. *Lässe*, *Lässei*), либо лабиализовывалась (*Власий* > водск. *Ulaska*), однако если согласная *v* слогаобразующая в начале имен, то она эквивалентна русскому *в*: *Виктор* > иж. *Vihtora*. Начальные кластеры *ks*, *pr* нередко становились лабиализованными: *Ксения* > водск. *Oksju*, *Okse*; *Праскева* > водск. *Opraska*. При этом смычные *p*, *t*, *k* обычно сохранялись как в начале, так и в середине имени. В середине антропонима более заметен прибалтийско-финский рефлекс *kt* > *ht*: *Виктор* > иж. *Vihtora*. Славянские звонкие согласные оглушались в начале имен, особенно ижорском. Особый интерес представляет имя *Георгий*, которое в водском и ижорском языках адаптировано с йотированным начальным слогом, при этом оглушение *g* наблюдается в большинстве случаев: водск. *Jogora*, *Johorka*, *Johrei*, *Joko*, *Jürki*, иж. *Johorka*, *Jokoi*.

Русскому *х* соответствует также *h* в начале имени в водском и ижорском, за исключением случая сочетания *h* с начальной согласной, и в этом случае возможно либо *hr* > *h* (*k*), либо *hr* > *kr*: *Христина* > водск. *Kristina*. В середине антропонима звук *h* либо сохраняется, либо удваивается; в ижорском может встречаться также замена *h* > *hk*: *Тихон* > иж. *Tihkana*; *Михаил* > водск. *Mihal*, *Mihhal*, иж. *Mihkali*, *Mihkeli*. В водском и ижорском языках наблюдаются замены *h* > *g* или *h* > *k* (> *kk*): *Захар* > водск. *Zako*, иж. *Sagoi*, *Sakoi*; *Михаил* > водск. *Mikala*, *Miki*, *Mikkeli*; иж. *Mikalkka*, *Mikkala*, *Mikkei*, *Mikkoi*.



Носовые *m* и *n* хорошо сохранились как в начале названий, так и внутри них. Исключение составляет *n*, стоящий перед *i*, который под влиянием русского просторечия был заменен на *m* в народных эквивалентах календарных названий в западных финно-угорских языках.

Из наиболее показательных замен на фоне заимствований личных имен являются следующие консонанты *b*, *d*, *g*, *v*, *f*, *n*, стоящие в начале или середине имени (Saar 2015, p. 175–177):

b* > *p: Борис > иж. *Poris*, *Porissa*;

d* > *t: Даниил > иж. *Tanila*; Дорофей > иж. *Toroška*;

g* > *k: Гаврил > иж. *Kaurila*; Григорий > водск. *Kiko*, *Kikoria*, иж. *Kikori*, *Kikorja*, *Krisa*, *Krissa*;

-vC-* > *-bC-: Гаврил > водск. *Gäbre*;

-vC-* > *-uC-: Евдокия > водск. *Oudekki*, *Oudekko*, иж. *Oude*; Гаврил > водск. *Gauri*, *Gaurila*, иж. *Kaurila*;

-vC-* > *-C-: Евдокия > водск. *Ot'u*, *Oto*, иж. *Otoi*; Гаврил > водск. *Ga'ro*;

f* > *f: Фекла ~ Фёкла > водск. *Fogl'a*, *Fökla*; Филимон > водск. *Fila*, *Filjo*, *Fil'o*, *Filu*; Филипп > водск. *Filippa*; Феодосия > иж. н-л. *Fed'osk*; Агафон > водск. *Ofo'ia*, *Ofonja*;

f* > *h: Феврония > водск. *H'ouva*, иж. *Houra*; Филимон > иж. н-л. *Hiil'o*; Филипп > иж. сойк. *Hiippa*; Фома > водск. *Hōma*, иж. *Homa*;

f* > *v: Фаддей > водск. *Vadje*; Феодор > иж. сойк. *Vōdrä*, *Vōttöi*, *Vūtöi*, *Vüttöi*, *Vüterä*, *Vütärä*; Фекла ~ Фёкла > иж. *Vöglä*, *Vögöi*; Феодосия > иж. сойк. *Vetoška*; Филимон > водск. *Vil'u*, иж. *Vilo*, *Viloi*; Филипп > водск. *Vilpo*;

f* > *hv: Афанасий > иж. *Ohvana*, *Ohvon*, *Ohvona*; Софья > иж. *Sohvi*; Трифон > иж. *Trihvana*;

f* > *v: Ефрем > иж. сойк. *Jevo*;

f* > *p: Трофим > водск. *Tropo*, иж. сойк. *Trovoi*, *Tropoi*;

ni* > *mi: Никита > водск., иж. *Mikitta*, иж. *Mikki*; Никифор > водск. *Miko*, водск., иж. *Mikifora*; Николай > водск. *Mikala*, *Miko*, *Mikola*, *Miku*, иж. *Mikkula*.

Оглушение согласных *b*, *d*, *g* в начале слова, рефлексы русских *f* и *v* и переход *n* > *m* также наблюдаются в карельском языке (Кузьмин 2016).

4.8. Геминация

Еще одним важным изменением является геминация согласной, следующей за гласной слога, ставшего безударным в результате переноса ударения: Антон > иж. *Onttana*, *Onttona*; Григорий > иж. *Krissa*; Матвей > водск. *Matte*, водск., иж. *Matti*; Михаил > водск. *Mikkeli*, иж. *Mikkala*; Мусей > водск. *Mošše*, *Mosse*, водск. *Mošše*; Софья > водск. *Soffi*.

Геминация в водском и ижорском языках происходит и в конце слова при адаптации односложных имен, оканчивающихся на согласный, при присоединении к исходной форме гласного звука: ср. Карп > водск. *Karppa*, *Karppo*, иж. *Karppi*, *Karppo*; Тим > иж. сойк. *Titto(i)*; Влац > иж. *Lässē*, *Lässe*; Марк > водск. *Markko*, *Markku*.



4.9. Палатализация

Замечено, что в обоих языках чаще всего палатализируются переднеязычные согласные *t, n, l, s*. При этом палатализация наиболее последовательно проявляется при адаптации русских имен, где в оригинале присутствует мягкий согласный. Однако данное явление, похоже, происходило не на почве водского и ижорского языков, поскольку в эти языки заимствовалась зачастую не полная, а гипокористическая русская форма, в которой был уже исходный мягкий согласный:

Федор > Федя > водск. *Fed'o, Fed'a, Fet'o*;

Димитрий > Митя, Митька > водск. *Mit'o, Mit'k*, иж. *Mit'joi*;

Мартын > Мартин > водск. *Martti*;

Матрона > Мотя > водск. *Mat'o*;

Екатерина > Катя > водск. *Kat'u*;

Вениамин > Веня, Венька > водск. *Veña, Veñk*;

Мария > Маня, Манька > иж. *Mañá, Mañtka*;

Василий > Вася, Васёк > водск. *Vas'o*, иж. *Vas'sã*;

Петр > Петя > водск. *Pet'ä*.

Исключения из этих правил составляют те окказиональные случаи, когда палатализовалась твердая согласная с последующим добавлением собственных прибалтийско-финских суффиксов *-o* и *-u*, и данное явление интересно тем, что оно, по всей видимости, произошло уже на почве водской и ижорской фонотактики:

— *t > t'*: Тим > водск. *Tit'o*; Матфей > водск. *Mat'fe*, иж. *Mat't'i*; Намалья > водск. *Nat'u*;

Матвей > водск. *Mat'u*;

— *d > d'*: Адам > водск. *Ad'am*; Давид > водск. *D'avitk*; Евдокия > водск. *Ot'u, Oud'e*;

— *l > l'*: Лука > водск. *L'uko*; Владимир > водск. *Vol'o*; Галактион > водск. *Al'k*; Мелания > водск. *Mal'o*; Пелагея > водск. *Pal'o*;

— *s > s'*: Елизавета > водск. *Lis'o*; Устинья > водск. *Us'o*.

В водском языке палатализация равномерно представлена как в мужских, так и в женских именах. В обоих языках палатализация *t'/d'* в женских именах чаще происходит перед *u* (*Kat'u, Nat'u, Mat'u*), а в мужских — перед *o* (*Fed'o, Mit'o, Pet'o*).

Итак, как можно видеть, в механизмах фонетической адаптации календарных имен прослеживается два основных типа изменений.

Первый тип охватывает те фонетические явления, которые были обусловлены влиянием русского языка как языка-донора. К ним относятся лабиализация гласного *a* в позиции первого слога, что отражает русские диалектные формы, палатализация согласных, унаследованная от русских гипокористических форм, а также переход *e>a* в первом безударном слоге, характерный для русской разговорной речи.

Второй тип представляет собой изменения, произошедшие непосредственно на почве водского и ижорского языков в соответствии с их фонологическими системами. Сюда относятся такие явления, как зако-



номерное удлинение гласных в первом предупредительном слоге, геминация согласных, самостоятельное развитие палатализации при добавлении прибалтийско-финских суффиксов, специфические преобразования консонантных кластеров, включая упрощение начальных сочетаний согласных, субституцию согласных и различные типы ассимиляции. Особо следует отметить регулярное явление эпентезы в финальной позиции мужских имен, более характерное для ижорского языка. Таким образом, процесс фонетической адаптации представляет собой сложное взаимодействие унаследованных из языка-донора черт и собственных фонологических преобразований языков-реципиентов.

5. Морфологические и словообразовательные особенности водских и ижорских форм христианских имен

Применительно к водским антропонимам, бытующим по крайней мере в нижнелужском ареале, было замечено, что в заимствовании календарного антропонимикона в водский язык отсутствовал единообразный механизм, который мог бы однозначно объяснить изменения в морфологическом облике водских личных имен. Все же некоторые наблюдения, сделанные автором, позволяют сделать предварительные выводы.

Во-первых, личное имя либо усекалось и суффицировалось еще в русском языке, то есть до заимствования имени водским языком, либо усекалось уже после заимствования.

Во-вторых, заимствованное имя могло оформляться водским диминутивным суффиксом *-o* (*Ul'o* 'Ульяна', *Zako* 'Захар'), *-i* (*Voli* 'Владимир'), *-e* (*Ok'e* 'Аксинья'), *-u* (*Houru* 'Хевронья', *Joku* 'Георгий').

В-третьих, могла заимствоваться форма звательного падежа русского имени — по крайней мере у мужских имен: *Naume* 'Наум', *Maksime* 'Максим', причем заимствуемая русская форма вокатива могла переосмысливаться как содержащая прибалтийско-финский диминутивный суффикс *-e*; для женских имен это правило также могло работать, только в форме вокатива с конечным *-u*, который переосмысливался тоже как водский диминутивный суффикс.

В-четвертых, в результате интенсификации контактов с ижорским языком в нижнем течении р. Луги из ижорского языка могла быть заимствована словообразовательная модель, использующая диминутивный суффикс *-oi*, или же происходило заимствование уже готовой ижорской формы, что поспособствовало появлению в водском языке группы мужских и женских имен, оканчивающихся на *-o* (Рожанский 2014, с. 314–315).

В рамках прикладной лингвистики анализ морфологических механизмов адаптации заимствований имеет существенное значение для разработки принципов нормализации антропонимических систем малых языков. Сравнительно-сопоставительное изучение словообразовательных моделей позволяет выявить продуктивные способы освоения иноязычного материала.



5.1. Рефлексы русского суффикса *-(ь)ка, -(ь)ко*

Эти суффиксы славянского происхождения придают личному имени гипокористическое, уменьшительно-ласкательное или даже пейоративное значение в русском языке. Очень продуктивен этот суффикс и в антропонимах православных прибалтийских финнов. Существуют определенные правила добавления этого суффикса в водском и ижорском языках, такие же, как и в русском: для придания имени полной формы в случае односложных имен: *Фрол* > водск., иж. *Frol/ka*; для сокращения формы: *Методий* > водск. *Mefod'/ka*; *Василий* > иж. сойк. *Vaś/ka*, водск. *Vaś/ko ~ Vaś/ku* (Saar 2015, p. 181).

В русском просторечии существует популярная суффиксальная парадигма *-š+(ь)ка* и *-š+(ь)ко*, распространившаяся через контакты в прибалтийско-финские языки. Этот суффикс часто имеет пейоративный оттенок значения: например, водские жители чаще всего употребляли этот составной суффикс в именах молодых людей, кому до 40 лет (Ariste 1948, p. 126). У воды и ижоры этот составной суффикс в более выраженной форме *-ska, -sko ~ -sku* появился параллельно с русскими антропонимами на *-шка, -шко*: *Тимофей* > водск. *Timoška*; *Терентий* > водск. *Teroška*; *Мария* > водск., иж.н-л. *Marjuska* (Saar 2000, p. 33).

5.2. Прибалтийско-финские суффиксы **-oi, -o, -u*

В первую очередь необходимо отметить, что для антропонимов, прежде всего в восточных прибалтийско-финских языках (Шилов 2010, с. 38), в структуре образования личных имен характерен суффикс **-oi*, который, с большой долей вероятности, является самым древним общеприбалтийско-финским антропонимическим суффиксом, и, судя по документам, он встречается уже в дохристианских именах: например, в «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского упоминаются имя *Меме* (=Meeme) < *meeme* < эст. и лив. **mētōi* и одноименный ойконим *Memeculle* (Joalaid 2009, p. 532). В карельском языке слово *miemoi* означает 'человечек', и слово в эстонском и ливском могло быть в форме **mēmei*. То же самое имя появлялось также в эстонской именной традиции XVI века (*Andrys Мемепоик* 1582) и финской (*Clemet Мемоунен* 1549) (Mägiste 1927, p. 375–376).

Данный суффикс оформляет как исконные, так и заимствованные (например, из русского языка), именные основы (Nissilä 1975, p. 210; Муллонен 1994, с. 87–110). Изначально суффикс *-oi* был диминутивным, но при образовании личных имен утратил эту функцию (Mägiste 1928, p. 56).

В большинстве прибалтийско-финских языков и диалектов суффикс **-oi* развился фонетически: в некоторых карельских и ижорских диалектах, а также финском и водском языках он дал монофтонг *-o*, в южновепских и некоторых финских диалектах *-oi* превратился в длинный монофтонг *-ō*, в эстонском и ливском *-oi* > *-o* > *-u* (Joalaid 2009,



р. 533). В нижнелужском диалекте ижорского языка, а также нижнелужском диалекте водского языка в антропонимах наблюдается звуковая потеря конечного компонента *i* из безударных суффиксов *-oi*, *-õ* (Ariste 1980, р. 82; Mägiste 1928, р. 54). В именах, имеющих в основе гласный переднего ряда, может появляться вариант суффикса переднего ряда *-õi*: иж. *Ärttõi* 'Артемий', *Vüttõi* 'Феодор'. Суффикс *-oi* в прибалтийско-финских языках также имел вариант *-ei* (который сегодня превратился в *-e*); помимо этого, южная ветвь прибалтийско-финских языков (эстонский, ливский, водский) также имеет гласный *-e*.

В образовании водских и ижорских антропонимов участвует также *-u*: например, иж. *Adu* 'Андриан', *Mat'u* 'Матвей'; водск. *Art't'u* 'Артемий, Артем', *Ol'u* 'Алексей, Олексей'; *St'opu* 'Степан, Степа'; *Savu* 'Савва' (Joalaid 2009, р. 532). Этот суффикс является довольно древним, поскольку он встречается в именной базе каждого прибалтийско-финского народа, иногда вперемешку с суффиксом *-oi*, который, возможно, развился по следующему пути: *-oi* > *-o* > *-u*: эст. *Anu*, иж., водск. *Añu* (Ibid., р. 533). П. Аристе также отмечал, что финаль в водских личных именах может быть представлена также *-u* (как в эстонском языке) (Ariste 1980, р. 82). Этот суффикс несколько реже используется для имен в водском и ижорском языках, чем *-oi/-õi*.

В случае происхождения *u*-суффикса, помимо западно-финского, необходимо учитывать возможное влияние русского языка, хотя в русском языке *-u/-ju* обычно не появляется на конце формы имени — за ним следует другой суффикс, выражающий уменьшительно-ласкательное значение, например *Митрофан* > *Mitr/u/š/ka*, *Ан/ju/ta* (Nissilä 1975, р. 29). Данные гипокористики зафиксированы у православных прибалтийских финнов следующим образом: 30 водских имен (*Анна* > *Añu*, *Агрипина* > *Ogru*, *Варвара* > *Va'ru*), 6 имен из ижорского ареала Нижней Луги (*Матфей* > *Mat'u*, *Мария* > *Ma'ru*, *Степанида* > *St'erpu*) и только три *u*-имени из сойкинского ареала (*Анна* > *Anpu*, *Агрипина* > *Ogru*, *Надежда* > *Natu*) (Saar 2000, р. 29–30).

Идею о гипотетическом влиянии русского языка на «водизированные» формы имен на *-o* и *-u* развил позднее Ф. И. Рожанский, привлекая синхронические данные и при этом не отрицая, однако, гипотезу о чисто фонетическом переходе конечного *o* в *u* при заимствовании, соглашаясь с тем, что эти компоненты вполне могут быть диминутивными суффиксами (Рожанский 2014, с. 312).

Он привел 75 форм имен (36 женских и 39 мужских) из водского антропонимикона — наиболее распространенных и частотных, записанных им в 2003–2014 годах от пяти носителей песоцко-лужицкого диалекта водского языка, и в результате сравнения обратил внимание, что доля имен на *-o* и *-u* существенно превалирует над антропонимными формами с финалью *-i* и *-e*, причем женских имен на *-u* больше, чем мужских на *-o*, что, как считает Ф. И. Рожанский, может быть обусловлено пока не известными нам гендерными принципами имяназвания в водском языке (Там же, с. 307–308, 310). Впрочем, и Д. Цветков отразил похожую картину — в его словаре наблюдается преобладание



форм на *и* среди женских имен и преобладание форм на *о* среди мужских имен, хотя у Д. Цветкова зарегистрировано несколько мужских имен на *-и*: *Davu* 'Давид', *Merkku* 'Меркурий', *Markku* 'Марк', *On'u* 'Андрей', *Ort't'u* 'Артем' (Tsvetkov 1995), что, по мысли Ф.И. Рожанского, объяснимо, кроме *Davu*: *Merkku* является очевидным усечением, сохранившим гласный корня, а *Markku*, *On'u* и *Ort't'u*, скорее всего, являются результатом усечения, сохранившим суффиксальный гласный (Рожанский 2014, с. 314).

Задаваясь вопросом о том, чем является финаль *-о* в водских антропонимах мужского рода, Ф.И. Рожанский высказал предположение, что влияние мог оказать древнерусский суффикс *-к-*, к которому нередко присоединялось окончание *о*, образуя имена мужского морфологического рода. Таким образом, на конце имен в водском языке могло происходить упрощение консонантного кластера путем отбрасывания одного из согласных — чаще всего самого суффикса *-к-*: например, *Vas'ko* > *Vas'o*, *Semko* > *Semo*, *Gavko* > *Gavo*, *Muško* > *Miko* (Там же, с. 311).

С другой стороны, не исключено заимствование личного имени в водский язык в форме звательного падежа при условии преобладания *и*-унификации (то есть преимущественно женских имен), хотя сам Ф.И. Рожанский признает, что верификация этой гипотезы представляет трудности в силу недостаточной полноты русской исторической диалектной базы, поскольку в той диалектной зоне, в которую попадет водь, вокатив характеризуется отпадением вокального элемента (*мам!*, *Тань!*), и эти данные относятся уже к XX веку (Там же, с. 311 — 312). В целом, по мнению Ф.И. Рожанского, финаль *-и* в водских личных именах вряд ли можно считать полноценным диминутивным суффиксом, так как данный формант, по необъяснимым причинам, преобладает именно в женских именах и его функциональность отсутствует за пределами имен собственных (Там же, с. 312).

Что касается ижорского языка, то, по данным Ф.И. Рожанского, в сойкиномском диалекте личных имен на *-и* не зарегистрировано, за исключением *Ogru* 'Агрипина' и *Adu* 'Андриан'; правда, по другим данным, засвидетельствованы еще *Annu* 'Анна', *Natu* 'Надежда' (Saar 2000). В этом диалекте, как считает Ф.И. Рожанский, в основном присутствуют довольно старые формы на *-oi*, что доказывает большую архаичность сойкинского диалекта: *Kadoi* 'Екатерина', *Ogoi* 'Агафья', *Pavoi* 'Павел', *Ivoi* 'Иван', *Odoi* 'Евдокия', *Timoj* 'Тимофей', хотя присутствует немало имен на *-о* (Lauerma 1993), в то время как в нижнелужском диалекте ижорского наблюдается монофтонг в финали: *Kat'o* 'Екатерина', *Oko* 'Агафья', *Pavo* 'Павел', *Ivo* 'Иван', *Timo* 'Тимофей', и кроме того, имеются имена с *и*-финалью, причем не только женские, но и мужские: *An'u* 'Анна', *Nat(')u* 'Наталья', *Veru* 'Вера', *Mat'u* 'Матвей', *Fomu* 'Фома' (Рожанский 2014, с. 312).

Как и Ф.И. Рожанский, Э. Саар также поставила вопрос о происхождении суффикса *-о*. По ее мнению, он не может быть решен однозначно в тех случаях, когда этот суффикс встречается в греческой и русской формах имени, так как эти имена могут быть частично заим-



ствованными: *Ермолай* > водск. *Jermo*; *Тимофей* > водск., иж. н-л. *Timo*; *Яков* > водск., иж. н-л. *Jäkko, Jakko*. С другой стороны, встречается такая антропонимная номенклатура, где наблюдается палатализация предшествующего суффикса согласного под регрессивным влиянием прежнего конечного *i*: *Матрона* > водск. *Mad'jo, Mad'ro*; *Филимон* > иж. н-л. *Hiil'o*. Диминутивный суффикс **-oi* можно увидеть более определенно в сойкинском диалекте ижорского языка, где утраты компонента *i* обычно не происходит. В целом, по заключению Э. Саар, **-oi* — очень продуктивный диминутивный суффикс, обильно встречающийся как в женских, так и в мужских именах (Saar 2015, p. 179–180).

5.3. Отражение русской финали *-Vй* в мужских именах

В мужских *ей*-именах (*Андрей, Сергей, Елисей, Матвей*) на почве водского и ижорского языков произошло дальнейшее усечение финального консонанта, причем здесь можно выделить несколько вариантов развития данного явления:

как *-е*: *Андрей* > иж. *Andre*; *Фаддей* > водск. *Fad'd'e*; *Матфей* > водск. *Mat'fe, Matte*; *Сергей* > иж. *Serke, Sirke*;

как *-i*: *Елисей* > иж. *Jelessi*; *Матфей* > водск. *Matti*, иж. *Mat't'i*;

как *-oi*: *Тимофей* > иж. сойк. *Timoï*.

Следует заметить, что финаль *-oi* чаще появляется в *-ий*-именах, причем именно в ижорских формах: *Артемий* > *Ärtöi*; *Прокофий* > *Prökköi, Progoi, Prokoi, Prokkoi*; *Георгий* > *Jokoi*; *Димитрий* > *Mittoi, Mitoi*; *Макарий* > *Makoi*; *Терентий* > *Teroi*.

В *-ий*-именах на почве водского и ижорского языков могут быть следующие варианты в финалях:

как *-o*: *Антоний* > водск. *Ontto*, иж. *Antto*; *Прокофий* > водск. *Proko*; *Георгий* > водск. *Joko*; *Григорий* > водск. *Kiko*; *Димитрий* > *Mitjo*; *Леонтий* > водск. *L'evo*;

как *-i*: *Антоний* > иж. *Antti*; *Лаврентий* > водск. *Lauri*;

как *-e (-ei)*: *Арсений* > иж. *Arse*; *Ануфрий* > водск. *Onufre*; *Власий* > иж. *Lässe, Lässei*;

как *-u*: *Артемий* > водск. *Ortju, Art't'u, Ort't'u*; *Георгий* > водск. *Joku*; *Димитрий* > *Mit'u*.

В *ай*-именах в водском и ижорском языках произошли те же изменения, что в *ей*-именах, то есть утрата конечного *i*: *Николай* > водск. *Mikala, Mikola, Mikula*, иж. *Mikkala, Mikkula*.

5.4. Прибалтийско-финские суффиксы **-(i)kkoi, -kko, -kki*

Диминутивные суффиксы **-(i)kkoi* и *-kko* в разных прибалтийско-финских языках смешаны, поэтому их трудно различить. В водском языке исчез суффиксальный компонент *i* дифтонга *-oi*, а отличительной особенностью ижорского языка, что не характерно для водского, является то, что этот суффикс подчиняется гармонии гласных. К тому



же суффикс **-kkoі* встречается только в некоторых антропонимных формах: *Евдокия* > водск. *Oudekko*; *Илья* > иж. сойк. *Ilkkoі*; *Прокофий* > иж. сойк. *Progoі, Prokoі, Prokkoі, Prökkö, Prökköі*; *Спиридон* > водск. *Pirkko* (Saar 2015, p. 180).

Вопреки точке зрения А. Алквиста (Ahlqvist 1856, p. 83), суффикс *-ikko* (*-kko*) представлен в водском языке довольно репрезентативно и с более широким значением, чем в финском, где это только 'дефиниция места по его природным свойствам'. Полифункциональность водского суффикса *-ikko* // *-zikko*, помимо своего первичного значения 'дефиниция места', 'собирательность' (*aapõzikko* 'осинник' < *aap* 'осина'; *kojvuzikko* 'березняк' < *kojvu* 'береза'; *liivõzikko* 'песчаное место' < *liiv* 'песок'; *kantõzikko* 'место, где остались одни пни' < *kanto* 'пень'; *tšivikko* 'каменистое место' < *tšivi* 'камень'; *lepikko* 'ольшанник' (от *lep'p'* 'ольха'), представлена также диминутивным значением — например, *kotikko* 'мешочек' (от *kotti* 'мешок'), *päivikko* 'солнышко' (от *päiv* 'день, солнце'); грамматическим значением в случае отглагольных существительных — например, *pettelikko* 'врун' (от *pettemä* 'врать'), *lühzikko* 'подойник' (от *lühsetä* 'дойти'). В некоторых случаях семантика этого суффикса неочевидна — например, *najzikko* 'женщина' (от *najn* 'жена, женщина'), *emikko* 'самка' (от *emä* 'мать') (Маркус, Рожанский 2007, с. 65).

Суффикс *-kki* представлен единично в водском антропониме *Oudekki* 'Евдокия' и больше нигде не зафиксирован.

Таким образом, как и в случае с фонетическими механизмами, анализ морфологических особенностей адаптации христианских антропонимов позволяет выделить два ключевых направления трансформации.

Первое направление отражает влияние русской морфологической системы и проявляется в сохранении и переосмыслении русских словообразовательных элементов. Здесь особенно показательно функционирование уменьшительно-ласкательных суффиксов *-ка/-ко*, которые были заимствованы вместе с антропонимами и впоследствии интегрировались в словообразовательные системы водского и ижорского языков. Сюда также относится сохранение форм русского вокатива, которые в ряде случаев переосмыслились как содержащие прибалтийско-финские диминутивные суффиксы.

Второе направление связано с активным использованием собственных морфологических средств языков-реципиентов. Центральное место здесь занимает древний прибалтийско-финский антропонимический суффикс **-oi* и его варианты, а также суффиксы *-o* и *-u*, демонстрирующие различную степень продуктивности в исследуемых языках. Примечательно, что в водском языке наблюдается гендерная дифференциация в использовании этих формантов, при этом финаль *-u* преобладает в женских именах, а *-o* — в мужских. Особый интерес представляет тот факт, что в сойкинском диалекте ижорского языка сохранились более архаичные формы на *-oi*, в то время как в нижнелужском диалекте преобладает монофтонг в финали.



6. Выводы

Проведенное исследование позволило сделать ряд фундаментальных выводов о характере адаптации христианских антропонимов в водском и ижорском языках.

Установлено, что процесс заимствования имел системный характер и реализовывался через комплекс взаимосвязанных фонетических и морфологических трансформаций.

В области фонетической адаптации выявлены устойчивые закономерности преобразования вокалической и консонантной систем. Принципиальное значение имеет доминирование заднерядного вокализма, обусловленное отсутствием в русском языке-доноре специфических гласных *ï, ä, ö*. Особую значимость имеет выявленная система удлинения гласных в первом предупредном слоге (*Mārja, Ilja*), более системно представленная в ижорском языке.

В морфологическом аспекте принципиальным является установление иерархии суффиксальных формантов, где доминирующую позицию занимает суффикс *-oi* с его диалектными вариантами. Выявлена дифференцированная система адаптации финалей русских мужских имен на *-ий, -ей*, демонстрирующая вариативность трансформаций (*Георгий > Joko / Joku / Joki*). Установлено регулярное явление эпентезы в финальной позиции мужских имен, особенно характерное для ижорского языка (*Виктор > Vihtora, Артамон > Artamona*).

Важным результатом является доказательство генетической вторичности водского и ижорского христианского антропонимикона по отношению к русской антропонимической системе. При этом значительная часть разговорных форм демонстрирует происхождение не от канонических вариантов, а от русских диалектных форм, что свидетельствует о сложном характере межъязыкового взаимодействия.

Исследование позволило реконструировать исторические этапы формирования антропонимических систем воды и ижоры, выявить специфику адаптационных механизмов каждого языка. Так, для водского языка характерно преобладание суффикса *-o* (67,3 %) над *-i* (32,7 %), тогда как ижорский демонстрирует более сложную картину с наличием также суффикса *-oi* (14,97 %).

7. Заключение

Применение методов сравнительно-сопоставительной лингвистики позволило выявить как общие типологические закономерности адаптации заимствований, так и специфические черты каждого из исследуемых языков. Полученные результаты могут быть использованы при разработке теоретических моделей языковых контактов и в практике лексикографического описания малых языков.

Результаты исследования вносят существенный вклад в понимание механизмов межъязыкового взаимодействия в области антропонимики и открывают перспективы для дальнейшего изучения прибалтийско-финской ономастики.

Приложения¹

Таблица 1

Календарные водские и ижорские мужские имена

Мужское календарное имя	В	И	Мужское календарное имя	В	И
Аверкий	Overk	OverGa	Макарий	Makar Makark	Makoi Makkaŕa Mokari
Авраам	Abram Abraš̄k Ambrame	Abrama Obroska	Максим	Maksime Maksim	Maksima
Агафон	Agaffona Ofoña Ofonja	Agaffona	Марк	Markko Markku	Markkoi
Адам	Adam	ADo	Мартын	Martti	—
Адриан	Ondrušk Onu	Adu	Матфей	Matti Mat'fe Matte Mot'k	Mat't'i Mat'u Matfē
Александр	Ol'o	Oleksandr Ol'o Saska Sura	Меркурий	Merkku	—
Алексей	Ol'ekse Ol'o Ol'okse	Oleksa	Мефодий	Mefod' Mefod'e Mefod'ka	Miffō
Анатолий	Anatol'a Tol'a Tol'k	—	Мирон	Miron Mirošk	Mirroña
Андрей	Ondrē Ondrona Ondruška Ondrušk Ondre Onu	Andre Ondre Andre Ontere	Митрофан	Mitr(ō)fona Mitrušk	Mitroffana
Анисим	Onissima Ono	Onissima	Михаил	Mikala Miki Mikkeli Mihal Mihhal Miko Mihalnk Miša Mišk	Mikalkka Mikkala Mikkei Mikkoi Mihkali Mihkeli Mihkili MihalGa Mišsā

¹ Данный антропимный материал собран и систематизирован из полевых находок автора, а также собрания В. Алава (Alava 1901), собрания П. Аристе "Va-dja etnologia", словаря ижорского языка Р. Нирви (Nirvi 1971), словаря по кракольскому диалекту водского языка Д. Цветкова (Tsvetkov 1995).



Продолжение табл. 1

Мужское календарное имя	В	И	Мужское календарное имя	В	И
Антип	Antip̄ Antipk	Ontippa	Михей	Mih'he	Mihhē
Антоний	Ontto Ontun Ontošk Ona	Onttana Onttona Antto Antti Onttoska	Моисей	Mošše Mosse Moššei	Mossē
Ануфрий	Onufre	Onufrē	Мокей	Mokke	Mokkē
Аркадий	Arkašk Arkad'e	—	Назар	Nazar Nazark	NazarGa
Арсений	Arsent	Arse Arsse	Наум	Naume	Nauma
Артамон	Artamona	Artamona	Нестор	Nestori	Nesteri
Артемий	Ortju Art't'u Art'ime Ort'ime Ort't'u	Ärtöi Ärttö Ärttöi Orttu	Никандр	Nikandr Nika	—
Архип	Arkippa Arkip̄	ABoi Arhippa	Никанор	Nikanora Nika	Nikkānōra
Афанасий	Ofon Ofonk	Ohvana Ohvon Ohvona	Никита	Mikitta Miku Miki Mikif	Mikitta Mikki MiGitta
Борис	Boriš Bork	Poris Porissa	Никифор	Miko Mikifora Mikifork	Mikifora MiGiffora
Вадим	Vadim Vlad'im Vlad'ime	Vatte	Николай	Mikala Miko Mikola Miku Mikula Mikkul Kol'a Kol'k Mikul	Kali Koli Kol'a Kol'kka Mikkula Mikkala
Валериан	Valeri	—	Никон	Nikōn	Nikkāna
Варлаам	Varlame	Varla	Нил	Nīl	—
Василий	Vas'o Vaško Vašku Vasel' Vasil' Vašk	Vässeli Vaška Vas'sa Vässeli	Павел	Pavo Pafk Pavlušк Pāvīl	Pavoi Pavo Pāvo Pāvoi Pauluška Pāvila
Вениамин	Veniamin Veña Venk	—	Памфил	Pamfil	Pamfila



Продолжение табл. 1

Мужское календарное имя	В	И	Мужское календарное имя	В	И
Виктор	Viktor Vit'a Vit't'a Vit'k	Vihtora Vihteri Vilho	Панкратий	Paņkrōf	—
Владимир	Voli Влад' me Vol'o Волод' Волот'k	Voloi	Пантелей-мон	Pantele Pant't'u	—
Власий	Ulaska Lässe	Lässe Lässe Lässe	Папсий	Pässe	—
Гавриил	Gafo Gauri Gaurila Gauril Gavrušk Gäbre Gavo	Kaurila Kaurula	Парамон	Paramona	—
Галактион	Al'k	—	Патрикий	Patre	—
Генрих	Hindrikko	—	Пахомий	Pahom	Pahhōma
Георгий / Юрий	Jegor Jogora Johorka Johork Johrei Joko Jürki Joša Joku Joko	Johorka JohorGa Jokoi Jogoi Jüri	Петр	Pekko Pet'ä P'eto Pet'o Petr Pōtr Pet'k Petrušk	Pekko Pekko Peto PeDoi Pedri Pet'ä
Герасим	Gafo Garassim Garassima	Karassima	Пимен	Pīmen	Pīmeniä
Григорий	Kiko Kikoria Kigoria Griša Grišk	KiGoi Kikori KiGoria Kikorja Krisa Krissa	Платон	Platon Platošk Plato	Plattoña
Давид	DaviD Davitk Davo Davu	Tavu TavuDa	Поликарп	Polikarp̄	—
Даниил	Danił Daniłk	Taniła	Порфирий	Parffe	—
Денис	Tenisse	Tenessi	Потапий	Potap̄	—



Продолжение табл. 1

Мужское календарное имя	В	И	Мужское календарное имя	В	И
Димитрий	Miteri Mitjo Mit'u Mitre Mit'o Mit'a Mit'k D'imk	Mittoi Mitoi Mīdrē	Прокл	Prokl	—
Дорофей	—	Toroška	Прокофий	Proko Prokoppe	Prökkö Prökköi Procoi Prokoi Prokkoi
Евдоким	Oudušk	Outuška	Родион	Rod'i Roti Rod'ivona	RoDi
Евсевий	Ousse	Jeussē	Роман	Roman Romašk Romo	Rommōna
Евстафий	Ostaffe	Jestoi	Савва	Sāv	Savoi Sāvva
Елеазар	Il'o	—	Савелий	Savel'	—
Елисей	Jelja Jelisse Jesse	Jelessi Jelissē	Саверин	Saveri	—
Емельян	—	Omēlia	Самсон	Samson	Sāmpsānā
Епифан	Jepifana	Jeppifana	Самуил	Samuli Samu	Sammūli
Еремей	Jerom Jerome	—	Севастьян	Savaste	Savasti
Ермолай	Jarmušk	Jarmoni	Семен	S'emo Semon Senk Seña	Semoi Simoi Simo Semmeña SenDka
Ерофей	—	Joroi	Сергей	Serge Sera Serožō	Serkē Serke Sirke Sirkei Seŕo
Ефим	Jefim Jefime	Jeffīma	Сидор	Sīderi Sideri	Sīteri
Ефрем	Jefrem Jefreme	Jevo Jefroma	Сильвестр	Silo	Siloi
Захар	Zako Zahark	Sagoi Sakoi SaharGa	Созонт	Sozo Sozon	Sossoña



Продолжение табл. 1

Мужское календарное имя	В	И	Мужское календарное имя	В	И
Зиновий	Zinovjō	—	Соломон	Solo	—
Иван	Vaño Ivo Van'ō Vaña Vanušċ Vańċ Ivašċ	Īvana Ivvāna Vaña Ivoi Ivo	Софрон	Sofrom	Sofroma
Игнатий	Iko Ignōf	Ignatta	Спиридон	Pirkko Pirkko Spirka Spiridona	Pirkka SpiriDona
Иеремия	—	Jerrōma	Степан	Tepo Stopa St'opk St'opa St'opan	Tevoi SteBoi St'opka St'oppā
Илларион	Lari Lavrušċ	Hlāri Lāri	Тарас	Tarassu Taraš Tarasse	Tarassu
Илья	Īliā Īlia Īl'ō Īl'jā Īl'k Īl'u Īl'ušċ	Īljā Īlja Īlkkoi	Терентий	Teroška Terešċ	Teroi Tereska
Иммануил / Мануил	Manul	Manu	Тимофей	Timo Timoška T'imk Timošċ	Timoi Timo Timoska
Иоаким	Akim Akime Jakim	Jekkīma	Тит	Tito	Titto(i) Tittōva
Иосиф / Осип	Osip̄ Osip̄	Ossippa	Тихон	Tihan Tifona Tihōn	Tihkana Tihana
Ипатий	Ipatti	—	Трифон	Trifōn	Trihvana
Ипполит	Pol'if	Līppoi	Трофим	Tropo Trošo Trofim Troša	Trovoi Tropoi
Исаак	Isaċ	Issakka	Ульян	UI'ōšċ	—
Иуда	—	JūDa	Устин	Ustiñ	—
Каллистрат	Kal'istraċ	—	Фаддей	Vadje Fad'd'e Fatte	—



Продолжение табл. 1

Мужское календарное имя	В	И	Мужское календарное имя	В	И
Капитон	Kapitona	—	Фалалей	Falale	—
Карп	Karp̄ Karpra Karppo Karpušk	Karpra Karppi Karppo	Федор	Fed'o Fed'a Fet'o Fōdra Fūderä Fūder Fedušk Fed'ušk Fet'k Vōttö Vūttö	FeDa Fūotro Vōdrä Vōttöi Vūtöi Vūttöi Vūterä Vūtärä Vōterä Fōdor
Кирилл	Kiri Kirił Kiro Kīrušk	Kirriła Kiriłä Kiroi	Федот	Fedof	VeDotta
Клавдий	Klaude Glaude	—	Федул	Fedul	—
Кондратий	Kondrōf	KonDratti	Феодосий	Fedosse	VeDossē
Константин	Kost' Kost'ušk	Kosta	Феоктист	Feokt'ist	—
Корней	Korne	—	Феофан	Feofana Fōfōn Fōfōn	—
Ксенофонт	Sino	—	Филарет	Fulaf Fulatk	—
Кузьма	Kušk Kuža Kuzo Kūzim	Kuzoi Kūzma	Филимон	Vi' u Fila Filjo Fil'o Fil'a Filu Fil'k	Filimoni Vilo Viloi
Куприан / Киприан	Kupri Kupre	KiBoi	Филипп	Vilpo Filippa Fil'ip̄	Hilippa
Лавр / Лаврентий	Lauri Hlāri Lavrušk	Lauri	Фока	Foka	—
Лазарь	Lāžōri	Lāžari	Фома	Hōma Foma Fomk	Foma Fōma Fomu
Лев / Леонтий	L'evo Levo Lefk L'ofk	Levoi	Фрол	Frolka Frola Frolk	Frola Frolka Frolkka



Окончание табл. 1

Мужское календарное имя	В	И	Мужское календарное имя	В	И
Леонид	LeoniD	—	Харитон	Haritona Harō	Harittana
Логин	Lōgin	Lokkīna	Христофор	Krist(ō)fora	Kristafora
Лука	Luko Lukašk	Lukka	Яков	Jākko Jäkko Jakko Jašk Jaša	Jākko Jakko Jakkoi
Мавр	Mavr	—			

Таблица 2

Календарные водские и ижорские женские имена

Женское календарное имя	В	И	Женское календарное имя	В	И
Агафия	Ogu Oko Oku Ogašk Agu Aguška	Ogoi Okoi Ogoi Oko OGaska	Лукерья	Lukkō	—
Агрипина	Ogru Gruša	Agrappina Agraffē Ogru Kruššā	Любовь	L'upu L'uba L'upu	—
Акулина	Oku Okulina	Okkuli	Людмила	Lüsä	—
Александра	Ol'eksandra Ol'o	Oloi Oleksandra Sura	Мелания	Malo Mal'o Malan	Malenia
Анастасия	Nas'u Nasto Nastas Nast' Nasa	Nastoi Nāstoi Nastasja Nasto	Марина	Marin	—
Анисия	Oni Onisa Onišša Onissi Onja	Anisse	Мария	Mārja Mar'o Mafo Maša Marjuska	Mafo Mārja Māria Māroi Marjuska Maŋa Mantka Mašša



Продолжение табл. 2

Женское календарное имя	В	И	Женское календарное имя	В	И
Анна	Anni Aññukki Añu An' u Annušk	An' u Annu Annuška	Марфа	Marf Mavr	Marfa Marppa Maura
Антонина	Nina	—	Матрона	Mat' o	Mattoi
Варвара	Varvō Varvōr Var' u	Varu Varvana	Надежда	Nad' u Nad' o Nad' a Nad' ožō Nat' u	Natjōza
Васса / Василиса	Vassu	Vassu	Наталья	Nat' u	Nat(')u
Вера	Vefo Vera Veř	Veru Vera Veřa Veroi Veruska	Ольга	Ol' G Ol' k Ol' a Olo' n	Ol' ga
Галина	Gal' o Gal' u	—	Пелагея	Paljo Pal' u Pal' o ПалаG Palašk	Palaga
Глафира	Глаfir Глаša	Klaffira	Прасковья	Opraska Paro Pafo Parask	Paroi Paraska
Дарья	Darje Dašo Daša Dat' a Dašk	Tarja Taroi	Соломония	Solo	Soloi
Домна	Domo Domnō	Tomna	София	Soffi Sofjō Sona Sopo	Sohvi
Евдокия	Duna Oť u Oto Oudekki Oudekko Oude Oud' e Oudei Oudof'	Otoi Oude Ooi Oube OuĐakkē Oudoška Tuna	Степанида	St' opu	TeBoi Teppanja



Окончание табл. 2

Женское календарное имя	В	И	Женское календарное имя	В	И
Екатерина	Kat'u Kado Kat'o Kat'a Kat'erina Kattōri	Katoi Kadoi Kat'o KaDi Kadri Kadrina Katja Katterina	Сусанна	Susan̄	Sussāna
Елена	Jelen Jel'u Jel'o Jel'a	Jellēna Ollēna	Татьяна	Tatu Taŋa Taŋk Ta't'o Tad'd'ōn	TaDoi Tanja
Елизавета	Lis'o Lil'a Lizō Lišo Liza	Līza	Ульяна	Ul'o Ulif Ul'lon	—
Ефросинья	Obo	—	Устиния	Us'o	—
Зинаида	Zinaid Zina Zink	—	Феврония	Houru	Houra
Зоя	Zoju Soja Sojo	—	Фекла	Fogl'a Fökla Fökl F'eko	Vöglä Vöcöi
Ирина	Iro Iro Iriŋ Irišk Irin	Iriska Iroi	Феодосия	—	Vetoška Fed'osk
Клавдия	Glaude Klavd' Glaša	—	Харитина	Harit'ina	—
Кристина	Krest'in	Krestina			
Ксения	Oksju Okse Oksen' Ks'uša Ok'e	—			

Список литературы

Гадзяцкий, С. С., 1947. Ижорская земля в XVII веке. *Исторические записки*, 21, с. 3—42. [Gadzyatsky, S.S., 1947. Izhora land in the 17th century. *Historical Notes*, 21, pp. 3—42 (in Russ.)].



Кузьмин, Д. В., 2016. Христианские имена карел. *Вопросы ономастики*, 13 (2), с. 56–86. [Kuzmin, D. V., 2016. Christian names of the Karelians. *Issues of Onomastics*, 13 (2), pp. 56–86 (in Russ.)] EDN: XEPCFZ, https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2016.13.2.018.

Маркус, Е. В., Рожанский, Ф. И., 2007. Феномен куровицкого идиома. *Материалы XXXVI Международной филологической конференции. 12–17 марта 2007 г.* СПб., с. 61–75. [Markus, E. V. and Rozhansky, F. I., 2007. The phenomenon of Kurovitsy idiom. In: *Proceedings of the XXXVI International Philological Conference. March 12–17, 2007*. St. Petersburg, pp. 61–75 (in Russ.)].

Муллонен, И. И., 1994. *Очерки вепской топонимики*. СПб., 156 с. [Mullonen, I. I., 1994. *Essays on Vepsian toponymy*. St. Petersburg, 156 p. (in Russ.)].

Рожанский, Ф. И., 2014. О форме личных имен в водском языке. *От Бикина до Бамбалюмы, из варяг в греки. Экспедиционные этюды в честь Елены Всеволодовны Перехвальской*. СПб., с. 302–316. [Rozhansky, F. I., 2014. On the form of personal names in Votic language. In: *From Bikin to Bambalyuma, from the Varangians to the Greeks. Expedition studies in honor of Elena Vsevolodovna Perekhovskaya*. St. Petersburg, pp. 302–316 (in Russ.)].

Толкачев, А. И., 1977. К истории словообразования форм со значением субъективной оценки (квалитативов) личных собственных имен греческого происхождения в древнерусском языке XI–XV вв. *Историческая ономастика*. М., с. 72–130. [Tolkachev, A. I., 1977. On the history of word formation of forms with the meaning of subjective evaluation (qualitatives) of personal proper names of Greek origin in Old Russian of the 11th–15th centuries. In: *Historical Onomastics*. Moscow, pp. 72–130 (in Russ.)].

Шилов, А. Л., 2010. Этнонимы и неславянские антропонимы берестяных грамот. *Вопросы ономастики*, 1 (8), с. 33–54. [Shilov, A. L., 2010. Ethnonyms and non-Slavic anthronyms of birch bark letters. *Issues of Onomastics*, 1 (8), pp. 33–54 (in Russ.)] EDN: THUDWN.

Ahlqvist, A., 1856. *Wotisk grammatik jemte språkprof och ordförteckning*. Helsingfors, 156 p.

Alava, V., 1901. XII, Votica. In: *Suomen Kirjallisuuden Seuran Arkisto*.

Ariste, P., 1948. *Vadja keele grammatika*. Tartu, 136 p.

Ariste, P., 1980. Einige Ausführungen zu wotischen Personennamen. *Sovetskoje Finno-Ugrovedenije*, 2, pp. 81–82, <https://doi.org/10.3176/lu.1980.2.01>.

Halling, T. and Joalaid, M., 2007. Das livische Personennamensystem. In: A. Brendler and S. Brendler, eds. *Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch*. Hamburg, pp. 485–494.

Hietakari, E., 1944. Suku- ja ristimänimet inkeriläisten suomalaisuuden todistajina. *Heimokansa*, pp. 107–111.

Joalaid, M., 2007a. Das ingrische Personennamensystem. In: A. Brendler and S. Brendler, eds. *Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch*. Hamburg, pp. 285–291.

Joalaid, M., 2007b. Das wotische Personennamensystem. In: A. Brendler and S. Brendler, eds. *Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch*. Hamburg, pp. 854–861.

Joalaid, M., 2009. Balto-finnic personal name suffixes. In: *Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences, August 17–22, 2008*. Toronto, pp. 532–541.

Kalima, J., 1942. Karjalaiset henkilönnimet Äänisen viidenneksen vanhoissa ve-rokirjoissa. *Kalevalaseura vuosikirja*, 22, pp. 56–65.

Kalima, J., 1952. *Slaavilaisperäinen sanastomme. Tutkimus itämerensuomalaisten kielten slaavilaisista lainasanoista*. Helsinki, 234 p.



- Karlova, O. L., 2007. Das karelische Personennamensystem. In: A. Brendler and S. Brendler, eds. *Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch*. Hamburg, pp. 363–371.
- Kilpinen, W., 1857. Væhæn suomalaisista suku-nimistä. *Suomi*, 1, pp. 15–17.
- Lauerma, P., 1993. *Vatjan vokaalisointu*. Helsinki, 235 p.
- Louhelainen, O. A., 1913. *Luettelo vakinaisten seurakuntalaisten sukunimistä Inkerinmaan suomalaisissa seurakunnissa Venäjän vallan aikana noin vv. 1721 – 1912*. Viipuri, 186 p.
- Mägiste, J., 1927. Läti Hendriku Meme (= mēmè). *Eesti Kirjandus*, pp. 374–376.
- Mägiste, J., 1928. Oī-, eī-, deminutiivid läänemeresoome keelis: läänemeresoome nominaaltuletus I. In: *Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis)*. B XII₂. 242 p.
- Mullonen, I., 2007. Das wepsische Personennamensystem. In: A. Brendler and S. Brendler, eds. *Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch*. Hamburg, pp. 847–856.
- Mustonen, J., 1938. Inkerin sukunimistöä. *Inkerin liiton*, 7, pp. 44–45.
- Nirvi, R. E., 1971. *Inkeröismurteiden sanakirja [Lexica Societatis Fenno-Ugricae 18]*. Helsinki, 730 p.
- Nissilä, V., 1943. Soikkolan inkeröisten henkilönnimistä. *Virittäjä*, 47, pp. 199–207, 246.
- Nissilä, V., 1975. *Suomen Karjalan nimistö*. Joensuu, 382 p.
- Nissilä, V., 1976. *Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö*. Helsinki, 232 p.
- Saar, E., 2000. *Slaavipärsed eesnimed vadja keeles ja isuri keele Soikkola ning Alam-Luuga murdes. Bakalaureusetöö*. Tartu, 186 p.
- Saar, E., 2015. Vene õigeusu eesnimed vadja, isuri ja seto keeles. *Emakeele Seltsi aastaraamat*, 61 (1), pp. 167–186, <https://doi.org/10.3176/esa61.08>.
- Stoebke, D.-E., 1964. *Die alten ostseefinnischen Personennamen im Rahmen eines Urfinnischen Namensystems*. Hamburg; Leipzig, 186 p.
- Tsvetkov, D., 1995. *Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto*. J. Laakso (ed.). Helsinki. 525 p.
- Virtaranta, P., 1973. Havaintoja tverinkarjalaisesta nimistöstä. *Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja*, 72, pp. 488–495.

Об авторе

Александр Владиславович Дмитриев, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; старший научный сотрудник, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Россия.

ORCID ID: 0000-0003-3632-793X

SPIN-код РИНЦ: 7899-0939

E-mail: avd84@list.ru

Для цитирования:

Дмитриев А. В. Механизмы адаптации христианских антропонимов в водском и ижорском языках: сравнительно-сопоставительное исследование // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 160–191. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-11.



MECHANISMS OF ADAPTATION OF CHRISTIAN ANTHROPONYMS
IN VOTIC AND INGRIAN: A COMPARATIVE STUDY*Alexander V. Dmitriev*

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University,
29B Polytechnicheskaya St., Saint Petersburg, 195251, Russia
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences,
9 Tuchkov Lane, 199053, Saint Petersburg, Russia

Submitted on 22.01.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-11

*In modern Finnic onomastics, the study of the pathways and mechanisms through which foreign borrowings are adapted in closely related languages has gained particular significance. Drawing on material from the Votic and Ingrian anthroponymic systems, this article examines the phonetic and morphological transformation of personal names of Christian origin. The study aims to identify the typological features of adaptation mechanisms and to distinguish between universal and language-specific characteristics in the two languages. An integrated methodological framework is employed, combining comparative-historical analysis, typological methods, and systematic reconstruction. The empirical basis of the research comprises data from fieldwork, archival sources, and lexicographic materials dating from the twentieth and twenty-first centuries. The analysis identifies the principal strategies of phonological and morphological adaptation of borrowings and determines the dominant models underlying anthroponymic transformation. The findings demonstrate that a substantial proportion of Votic and Ingrian personal name forms derive not from canonical Christian names, but from their Russian dialectal variants, highlighting the complex nature of interlingual contact. Differences in the operation of adaptation mechanisms between Votic and Ingrian are shown to stem from the specific phonological and morphological structures of each language. Particular attention is devoted to processes of vocalic and consonantal adaptation, including consonant gemination, palatalization, and epenthesis. Morphological aspects of adaptation are also described, notably the use of the ancient Finnic suffix *-oi and its variants. The results contribute to a deeper understanding of language contact phenomena and may inform efforts aimed at preserving the linguistic heritage of the smaller Finnic peoples.*

Keywords: *anthroponymic systems, borrowing typology, comparative linguistics, Finnic languages, language contact theory, linguistic adaptation, morphological transformation, phonological adaptation*

The author

Dr Alexander V. Dmitriev, Associate Professor, Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University; Senior Researcher, Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia.

ORCID ID: 0000-0003-3632-793X

E-mail: avd84@list.ru

To cite this article:

Dmitriev, A. V., 2026, Mechanisms of adaptation of Christian anthroponyms in Votic and Ingrian: a comparative study, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 160–191. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-11.



THE KASHUBIAN LANGUAGE THROUGH TIME:
THE HISTORY OF KASHUBIAN STUDIES IN RUSSIA

*M. S. Khmelevskii*¹, *O. V. Raina*¹, *A. V. Savchenko*²

¹ Saint Petersburg State University,
7—9 Universitetskaya Emb., Saint Petersburg, 199034, Russia

² National Chengchi University,
116, № 64, Section 2, Zhinan Rd., Wenshan District, Taipei City 11605, Taiwan

Submitted on 19.12.2024

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-12

This article examines linguocultural and linguistic research on the Kashubian substratum, drawing on materials collected by Russian scholars, primarily those affiliated with Saint Petersburg academic institutions, from the nineteenth to the twenty-first centuries. These materials, derived from recordings of native speakers' oral speech as well as from written, lexicographic, and ethnographic sources, constitute an invaluable empirical foundation for the study of Kashubian. The article offers an extensive review of the history of Kashubian studies within Slavic scholarship, situating this tradition within the broader development of Slavistics. In addition to linguistic data, the paper addresses cultural and extralinguistic issues related to contemporary Kashubia as a northern Polish (Baltic) Slavic periphery. Based on the authors' own fieldwork in the Kashubian region and a critical analysis of the contributions of Russian linguists, the study seeks to re-evaluate and update key issues concerning Kashubian as a Slavic microlanguage and the Kashubians as a microethnos. Particular attention is paid to the current state of Kashubian studies and to the present ethnolinguistic situation of the region. The findings presented in the article contribute to a more nuanced understanding of Kashubian linguistic and cultural dynamics and are intended as a substantive addition to Slavic studies in the twenty-first century.

Keywords: *Kashubia, Kashubian language, microethnos, Russian Slavistics studies, Slavic culturology, Slavic periphery*

1. Introduction

The Kashubians and the Kashubian language constitute a distinctive linguocultural phenomenon that remains insufficiently studied and described to this day. Despite the relatively small size of this Slavic ethnic group inhabiting northern Poland, Kashubia has long attracted and continues to attract sustained scholarly interest within Slavic studies.

This article offers a historical overview of research on the Kashubian language within Russian Slavic scholarship from the 19th century to the present. It seeks to chronologically systematise the principal stages of this research tradition, highlighting the contributions of Russian scholars and assessing their significance for Slavic studies as a whole. Particular emphasis is placed on the role of Saint Petersburg Slavists, whose work has played a decisive part in shaping Russian and international scholarly understanding of both



the historical and contemporary linguocultural context in Kashubia. The historical review also addresses the current state of the Slavic microethnic group under consideration and offers an analysis of Kashubian national self-identification. This analysis draws on the works of Russian scholars of the nineteenth century, the results of the authors' field expeditions to Kashubia conducted between 2005 and 2017, as well as the contributions and research findings of other foreign Slavists who have worked in the region (Mastalerz-Krystjańczuk 2019; Raina 2009, p. 137).

2. Material and theoretical research methods

The study draws on the works of leading Slavic scholars in Kashubian studies, supplemented by the results of the authors' field observations in the Kashubian region of Poland. The Kashubian is the general terminological name for the local dialects of a small West Slavic ethnos that has long lived and lives in the northern part of the modern territory of Poland, on the shore of the Baltic Sea (Polish Pomerania).

Throughout different historical periods, Kashubia belonged to Prussia, Germany, and Poland. Despite these political changes, the Kashubians have preserved their language and cultural identity (compared, for instance, with the Polabians). However, contemporary sociolinguistic developments indicate a growing prevalence of Polish–Kashubian bilingualism among younger generations (Lavrovsky 1879, p. 2; Treder 1999, p. 5).

Currently, the Kashubian ethnic group numbers from 10 to 50 or even more than 100 thousand people (Treder 1999, p. 5; Skorwid 2009, p. 417). Estimates of the Kashubian population vary considerably. For example, the Russian scholar Alexander Hilferding cited a figure of “200 thousand people, perhaps somewhat more”. On the one hand, such variation in population estimates may be explained by a decline in the number of Kashubians over the past century and a half and by their assimilation into the Polish macroethnos. On the other hand, according to the 2011 National Census, 228 thousand individuals stated their Kashubian national or ethnic affiliation. Of these, approximately 16 thousand identified Kashubian as their primary identity, while several thousand reported a dual identification, as the Census permitted the indication of two nationalities in combinations such as ‘Pole, Kashubian’ and ‘Pole, Goral’ (Raina 2009, p. 137; Semenova 2010).

Many representatives of this bilingual and bi-national population identify themselves both as Poles and Kashubians, particularly in areas located near major northern Polish cities such as Gdańsk, Gdynia, and Świnoujście. The linguistic factor remains important as a sign of ethnic self-identification, which is based on the language proficiency, i. e. ‘language property’. During our field research in Kashubia, we observed specific extralinguistic interactional patterns. In situations of first contact or initial acquaintance, Kashubians often address one another in Kashubian, thereby implicitly testing the interlocutor's degree of in-group affiliation or cultural familiarity. A switch from Kashubian to Polish typically follows the initial exchange. We also encountered comparable reactions among our informants, for example: “*Nie*



jestem Polakiem, jestem Kaszubiem ("I'm not a Pole, I'm a Kashubian") and ending with *"Polak, ale właśnie Kaszub"* ("I am a Pole, but more precisely a Kashubian"), *"Jestem Polakiem kaszubskiego pochodzenia"* ("I am a Pole of Kashubian origin"), *"Jestem Polką, ale mój tato jest rodowitym Kaszubem... tak i ja też jestem jeszcze i Kaszubką"* ("I am Polish, but my father was Kashubian... so, I am also a Kashubian"), etc.

Data obtained from our informants confirm the significance of what may be termed the "blood" factor—that is, ethnic self-identification rooted in ancestry, place of residence, or the residence of older family members and ancestors—in shaping decisions concerning national self-determination and identity choice. Moreover, informants' responses were influenced not only by individual self-identification, but also by the situational context of the interaction, the exact formulation of the question, its perceived appropriateness, and the extent to which the objectives of the survey were clearly communicated.

At the same time, it is important to note that, in most cases, the informants whom we interviewed about their national and ethnic affiliation during our field research in Kashubia articulated their views in descriptive terms framed by binary oppositions such as 'Kashubian—Pole', 'we—they', 'ours—theirs', and 'ours—someone else's'. In doing so, they emphasised their ethnicity as distinct and unique, while at the same time conceptualising it as a subethnicity situated within the dominant Polish macroethnicity and regarded as a natural and integral component of it in their national self-awareness. In this context, the following observation by the Polish ethnographer Aleksander Donek appears particularly noteworthy: *"Żyje jeszcze lud kaszubski, ten sam, który od wieków zamieszkuje Pomorze i tak samo jak dawniej, tak i dzisiaj uważa, że "co kaszubskie – to polskie"* (The Kashubian people are still alive, the same ones who have inhabited Pomerania for centuries and, just as before, believe that "what is Kashubian is Polish". At the same time, our informants – native speakers of the Kashubian language and bearers of the Kashubian traditions – often continued this saying in the following way: *"...ale co jest polskie nie zawsze jest kaszubskie"* (...but what is Polish is not always Kashubian), which is a free interpretation of the well-known and precedent-setting phrase by the Kashubian writer and linguist Florian Ceynowa: *"Każdy Kaszub to Polak, ale nie każdy Polak jest Kaszubem"* (Every Kashubian is Polish, but not every Pole is Kashubian.) However, despite the distinctiveness of the Kashubian people and their awareness of the inseparable, centuries-long spiritual and cultural interconnectedness of the two ethnic groups – Poles and Kashubians – the words of the Kashubian poet, writer, journalist, and author of the Kashubian national patriotic song "The Kashubian March", Hieronim Derdowski, have not lost their relevance: *"Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski."* (There is no Kashubia without the Poland and no Poland without Kashubia". Most researchers note that relations between Kashubians and Poles are generally free from racial or other forms of discrimination; both groups tend to perceive themselves as representatives of a single nation (Borzyszkowski et al. 2020).

A marked shift towards the Polish language in everyday communication is most noticeable among the first and second generations of Kashubians



who have relocated to major regional urban centres for work or study, including Gdańsk, Gdynia, Sopot, and Świnoujście. At the same time, some speakers, mainly representatives of the older generation, continue to be Kashubian–Polish bilinguals and are able to switch freely between the two language codes depending on the communicative environment. This pattern is particularly evident in the contrast between urban and rural population (Mordawski 2005, p. 62; Ermola 2019, p. 247; Baudoin de Courtenay 1897), although at the same time, by switching to the literary Polish language, the original Kashubians still do not lose touch with their ethnic origin (Treder 1999, p. 5; Boryś, Popowska-Taborska 1994–2006).

Less optimistic were the “forecasts” regarding the future of the Kashubian ethnos made by Russian historians. In the 19th century, they predicted the complete disappearance of the Kashubian ethnic group. However, the fact that the Kashubians – who were historically situated within larger Germanic and Polish macro-ethnic formations and were subjected over the centuries to intense processes of Germanisation and Polonisation – have nevertheless managed to preserve their language and ethnic identity, despite their relatively small population size, suggests the opposite. According to the State Statistics Service, by 2005, the Kashubian language was studied by more than eight thousand students in approximately 130 secondary schools; the University of Gdańsk has a long-standing tradition of Kashubian studies and has a department of Kashubian ethnophilology. The Kashubian-language radio station “Kaszebe” is financed from the state budget (Mordawski 2005; Olbracht-Prondzyński 2007, p. 52; Semenova 2016, p. 183).

Slavists have long demonstrated a particular scholarly interest in small Slavic ethnic groups and their languages, as these often retain archaic Slavic language features no longer present in many central Slavic languages. Representative examples include the Gorals, Upper and Lower Sorbs, Carpathian and Serbian Rusyns, and the Gradiscan Croats (Raina 2009, p. 136).

Polish linguist Krzysztof Mrongoviusz was one of the first scholars in Slavic studies to draw attention to the identity of the Kashubians as an ethnic group, their folklore and ethnography. A lot of articles by the Polish linguist gave an inspiring impetus to the beginning of the study of Kashubians by Russian, in particular, Saint Petersburg linguists, and aroused a keen interest in subsequent studies of Slavic Pomerania. In this context, special attention should be paid to the significant contributions of Polish linguists to Kashubian studies, which represent a natural continuation of earlier scholarly traditions. Among these are the works of Maria Mazurek (Mazurek 2014) and those of contemporary Polish Slavists, including Nicole Dólowy-Rybińska, Michał Filip, and others.

This article places special emphasis on the role of Russian Slavists in the development of Kashubian studies since the mid-nineteenth century, highlighting in particular the scholarly legacy of the Saint Petersburg Slavic school and its continuation in contemporary research. Today, numerous educational courses aim to support the Kashubian language in Poland (at Gdańsk University, secondary schools, and kindergartens), while elective courses on the Kashubian language and culture are offered at Russian uni-



versities such as Moscow State University and Saint Petersburg State University. Although the similarities between Kashubian and Russian noted by Mrongoviusz – which initially drew Russian scholars to the Kashubia region – were not confirmed, Piotr Preis identified thirteen points based on materials collected during his expedition (Preis 1840, p. 12).

The renowned Russian philologist, Pan-Slavist, and collector of Slavic dialects, Izmail Sreznevsky, personally met and befriended Piotr Preis and Florian Ceynowa, who shared a common interest in the Kashubian language. Sreznevsky enriched their work with his linguistic commentary and notes, including examples of Kashubian previously collected and published by Ceynowa. Moreover, in his treatise “Thoughts on the Russian Language”, Izmail Sreznevsky repeatedly supplemented examples from various Slavic languages with material from Kashubian, highlighting the archaisms preserved therein.

The publications and commentaries of Izmail Sreznevsky, together with Florian Ceynowa’s ideas on the uniqueness of the Kashubian people, in turn stimulated a profound scholarly interest in the Kashubian language on the part of the eminent Russian philologist, Slavist, folklorist, and Corresponding Member of the Imperial Saint Petersburg Academy of Sciences, Alexander Hilferding. Hilferding had long intended to undertake a systematic scholarly description of the history, way of life, ethnography, and language of the Pomeranian Slavs (Hilferding 1855).

The scholar proposed an etymology for the self-designations of these Slavic groups, arguing that the Slavs retained their ancient folk ethnonym, just as they preserved many other archaic lexical units in their language. By contrast, the ethnonyms *Kabatki* and *Kashuby* were evidently derived from terms denoting items of clothing. *Kabatka* referred to a distinctive type of outer garment worn by the *Kabatki*, which set them apart from other Slavs of the Baltic coast and resembled a man’s caftan. The Kashubians, in turn, are believed to have derived their ethnonym from the same lexical root *ka-bôtk* – ‘caftan, fur coat’. It was a piece of clothing made from sheepskin. It was sleeveless, with the wool on the outside and worn over the head (cf. Czech *ka-bát* – ‘coat, cloak’) (Borzyszkowki et al. 2020; Boryś, Popowska-Taborska 1994–2006).

In 1897, Alexander Hilferding realised that geographically he had not chosen the best place for his field research, because, as he himself wrote, “... I soon became convinced that in Glowice there was little work for a researcher of the Kashubian language, since only two old women spoke Kashubian there... In the village of Kluken, all old people speak Kashubian, but young people, although they understand it, don’t speak the language anymore; they don’t even want to speak their native language. In addition, all older people have a complete command of Low German and High German” (Mikkola 1897).

In the mid-20th and early 21st centuries, the Slavic world has witnessed renewed scholarly attention to the Kashubian language, literature, folklore, and ethnology – a development greatly facilitated by the publication of Bernard Sychta’s seven-volume explanatory dictionary (Semenova 2016, p. 187).



Among contemporary Russian Slavists who have made significant contributions to the study of the Kashubian language, particular mention should be made of Alexander Dulichenko. In the second half of the 20th century, while continuing the scholarly traditions of his predecessors, he proposed an original and fundamentally new approach to the question of the language's status, as well as to its analysis and description, thereby casting the issue in a new light. It was largely owing to Dulichenko's work that the Kashubian language came to be situated within a qualitatively new scholarly framework – that of Slavic microlanguages. From a typological perspective, the Kashubian phenomenon has extended well beyond the scope of Polish studies. Moreover, classifying Kashubian as a Slavic microlanguage has opened new investigative avenues, prompting a reconfiguration of methodological approaches to its analysis and interpretation.

Of notable scientific and practical interest is the sociolinguistic and historical overview by Czech scholars Jiří Hajný and Jiří Doležal (Hajný, Doležal 2009). Equally noteworthy is the book by Polish Slavist Anna Koziczowska "Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości" (Kashubian Region: A Pedagogical Approach to Language and Identity), which, among other topics, delineates two contrasting approaches provisionally termed 'Kashubocentrism'.

3. Results and discussion

The results of our work are a comprehensive and previously uncompiled overview of research on Kashubian studies within Russian Slavic scholarship from the 19th century to the present, alongside a linguistic and extralinguistic analysis of the authors' field research in Kashubia. The findings were presented at scientific conferences at the University of Lodz (Poland), Saint Petersburg State University, Moscow State University, Chuvash Pedagogical State University (Kuznetsova 2019; Merkulova 2014; 2020; Mokienko 2017), as well as at the Department of Slavic Philology of Saint Petersburg State University. Numerous dissertations have been defended on a wide range of topics within Polish studies in general and Kashubian studies in particular.

Continuing this line of inquiry, it should be emphasised that, alongside purely linguistic interest in the Kashubian language, contemporary Slavists have been increasingly drawn to the study of the phraseological dimension of this microethnic community situated on the periphery of the Slavic world. This focus is hardly accidental, as it is precisely in linguistic and ethnic borderlands – and particularly in phraseological units, proverbs, and folklore – that archaic worldviews and modes of conceptualising reality are often preserved, having largely disappeared from the cultural centres of modern Slavic macroethnic groups.

One cannot but mention Bolesław Kaizer's lexicographic study of Kashubian paremiology, presented in the form of a dictionary accompanied by a comparative analysis (Kaizer 2019). A significant contribution to the documentation of Kashubian phraseological richness in a broader Slavic context has also been made by contemporary Russian scholars, most notably by



Viktoria Ermola's Kashubian-Russian Phraseological Dictionary (Ermola 2011). Distinguished by the precision of its definitions, the breadth of its coverage, and the systematic nature of its presentation, this work has come to occupy a well-established place in Slavic studies. Its material offers valuable resources for comparative Slavic research and once again highlights the enduring role of Russian linguistics in the study of the Kashubian language (Semenova 2005; 2016; Kuznetsova 2005a; 2005b; Goncharova 2024).

4. Conclusions

As the foregoing discussion demonstrates, scholarly engagement with the Kashubian language has persisted for almost three centuries. Russian Slavists, especially representatives of the Saint Petersburg academic tradition, have played a pivotal role in the formation and advancement of Kashubian studies in Russia, as well as in fostering a broader scholarly understanding of the Slavic world. The uniqueness and distinctiveness of the Kashubian language within the Slavic linguistic landscape lie in its status as one of the few surviving Slavic microlanguages on the peripheries of *Slavia*. Although the language is now codified and officially recognised, the consolidation of its literary standard remains an ongoing process (Achterberg & Porębska 2005). In particular, sustained efforts continue to refine contemporary Kashubian norms, accompanied by interdisciplinary research in cultural studies, ethnology, and questions of identity and self-identification within this microethnic community at the margins of the Slavic world.

References

- Achterberg, J. and Porębska, M., 2005. On the Question of the Vitality of the Kashubian Language: an Experimental Study in Glodnica. *Slavianovedenie*, 6, pp. 38–48 (in Russ.). [Ахтерберг, Й., Порембска, М., 2005. К вопросу о витальности кашубского языка: экспериментальное исследование в Глоднице. *Славяноведение*, 6, с. 38–48] EDN: OXYKWL.
- Baudouin de Courtenay, J.N., 1897. *Kashubian "language", Kashubian people and "Kashubian question"*. St. Petersburg (in Russ.). [Бодуэн де Куртене, И. А., 1897. *Кашубский «язык», кашубский народ и «кашубский вопрос»*. СПб.].
- Boryś, W. and Popowska-Taborska, H., 1994–2006. *Słownik etymologiczny kaszubszczyzny*. T. 1–6. Warsaw.
- Borzyszkowski, J., Olbracht-Pronzyński, C. and Frankowska, W., et al., 2020. *Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symbolów, pamięci i tradycji kultury*. Grańsk.
- Ermola, V.I., 2011. *Kashubian-Russian Phraseological Dictionary*. St. Petersburg (in Russ.). [Ермола, В. И., 2011. *Кашубско-русский фразеологический словарь*. СПб.].
- Ermola, V.I., 2019. Kashubians – an undeservedly forgotten ethnic group of Europe. *Petersburg historical journal*, 1 (21), pp. 246–250 (in Russ.). [Ермола, В. И., 2019. Кашубы – незаслуженно забытый этнос Европы. *Петербургский исторический журнал*, 1 (21), с. 246–250] EDN: ZGXFZR, <https://doi.org/10.51255/2311-603X-2019-00014>.
- Goncharova, K.A., 2024. Bible Characters in Serbian and Kashubian Phraseology. In: *Slavica Iuvenium XXV*. Ostrava, pp. 33–38 (in Russ.). [Гончарова, К. А., 2024. Библиейские персонажи в сербской и кашубской фразеологии. *Slavica Iuvenium XXV*. Острава, с. 33–38] EDN: QSOVIP.



Hajný, J. and Doležal, J., 2009. Kašubové v Polsku. In: *Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze*. Available at: http://www.hks.re/wiki/kasubove_v_polsku [Accessed 18 November 2023].

Hilferding, A. F., 1855. *History of the Baltic Slavs*. Moscow (in Russ.). [Гильфердинг, А. Ф., 1855. *История балтийских славян*. М.].

Kaizer, B., 2019. *A small dictionary of Russian-Kashubian proverbs*. Greifswald, pp. 1–56 (in Russ.). [Кайзер, Б., 2019. *Маленький словарь пословиц русско-кашубский*. Грайфсвальд, с. 1–56].

Kuznetsova, I. V., 2005a. Mythological Reminiscences in the Phraseology of the Slavs. In: *Parémie národů slovanských II: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11.11.2004*. Ostrava, pp. 22–30 (in Russ.). [Кузнецова, И. В., 2005а. Мифологические реминисценции во фразеологии славян. *Parémie národů slovanských II: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11.11.2004*. Острава, с. 22–30].

Kuznetsova, I. V., 2005b. Bible Characters in Slavic Stable Comparisons. In: *VI Slavic readings in memory of Prof. P. A. Dmitriev and Prof. G. I. Safronov*. St. Petersburg, pp. 103–111 (in Russ.). [Кузнецова, И. В., 2005б. Персонажи Библии в кашубских устойчивых сравнениях. *VI Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова*. СПб., с. 103–111] EDN: LPGVWC.

Kuznetsova, I. V., 2019. Slavic Fixed Similes with Biblical Characters in Dialects. *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 64 (2), pp. 343–356 (in Russ.). [Кузнецова, И. В., 2019. Славянские устойчивые сравнения с персонажами Библии в диалектах. *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 64 (2), pp. 343–356] EDN: NADQHO, <https://doi.org/10.1556/060.2019.64209>.

Lavrovsky, P. A., 1873. An ethnographic sketch of Kashubians. *Philological notes*. Voronezh, pp. 1–10 (in Russ.). [Лавровский, П. А., 1873. Этнографический очерк кашубов. *Филологические записки*. Воронеж, с. 1–10].

Mastalerz-Krystjańczuk, M., 2019. “Ostatni mohikanie Pomorza”: ludność rodzima znad jezior Lebsko i Gardno w publicystyce polskiej lat 1945–1989. Gdańsk; Słupsk.

Mazurek, M., 2014. Tożsamość Kaszubska – dziś (i jutro?). *Studia Humanistyczne AGH*, 13 (3), pp. 131–143, <https://doi.org/10.7494/human.2014.13.3.131>.

Merkulova, I. A., 2014. Parameters of Kashubian Vocabulary: Quantitative Aspect. *Philology. Theory & Practice*, 11–2 (41), pp. 117–120 (in Russ.). [Меркулова, И. А., 2014. Параметры кашубской лексики: квантитативный аспект. *Филологические науки. Вопросы теории и практики*, 11–2 (41), с. 117–120] EDN: STGOMF.

Merkulova, I. A., 2020. Phraseological Activity of Kashubian Vocabulary. In: *Slavic phraseology and paremiology: traditional and innovative solutions to problems. On the 80th anniversary of the birth of Professor V. M. Mokienko*. Gomel, pp. 165–170 (in Russ.). [Меркулова, И. А., 2020. Фразеологическая активность кашубской лексики. *Славянская фразеология и паремология: традиционные и новаторские решения проблем. К 80-летию со дня рождения проф. В. М. Мокиенко*. Гомель, с. 165–170] EDN: VQJXIT.

Mikkola, I. A., 1897. *To the Studies of Kashubian Dialects*. St. Petersburg (in Russ.). [Миккола, И. А., 1897. *К изучению кашубских говоров*. СПб.].

Mokienko, V. M., 2011. *Images of Russian Speech: Historical and Etymological Essays on Phraseology: Popular Scientific Publication*. Moscow (in Russ.). [Мокиенко, В. М., 2017. *Образы русской речи: историко-этимологические очерки фразеологии: научно-популярное издание*. М.].

Mordawski, J., 2005. *Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi i prognoza XXI wieku*. Gdańsk, pp. 62–89.



- Olbracht-Prondzyński, C., 2007. *Kaszubski dzisiaj: Kultura, język, tożsamość*. Gdańsk.
- Preis, P.I., 1840. About Kashubian Language. The report of P. Preis for Minister of Education. In: *Journal of the Ministry of Public Education*. Part XXVIII. St. Petersburg, pp. 1–24 (in Russ.). [Прейс, П.И., 1840. О кашубском языке: Донесение П. Прейса Министру Народного Просвещения из Берлина от 20 июня 1840 года. *Журнал Министерства Народного Просвещения*. Ч. XXVIII. СПб., с. 1–26].
- Raina, O.V., 2009. Goral Paremiology as Part of the Central European Language Area. *Vestnik of Saint Petersburg University. Series 9. Philology. Asian Studies. Journalism*, 1–2, pp. 135–139 (in Russ.). [Раина, О.В., 2009. Гуральская паремиология как часть центрально-европейского языкового ареала. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика*, 1–2, с. 135–139] EDN: KVDGLN.
- Semenova, A.V., 2005. *The ideographic classification of Kashubian phraseology and the linguistic picture of the Kashubian world*. PhD thesis. Moscow (in Russ.). [Семенова, А.В., 2005. *Идеографическая классификация кашубской фразеологии и языковая картина мира кашубов*: автореф. дис. ... канд. М.].
- Semenova, A.V., 2010. Cultural, Linguistic and Ethnic Identity of Kashubians in the Dialogue of Generations. *The dialogue of generations in the Slavic and Jewish traditions*. Moscow, pp. 134–150 (in Russ.). [Семенова, А.В., 2010. Культурная, лингвистическая и этническая идентичность кашубов в диалоге поколений. *Диалог поколений в славянской и еврейской традиции*. М., с. 134–150] EDN: TXYRRJ.
- Semenova, A.V., 2016. The Leap in the Development of Kashubian Culture as a Catalyst for Political Tension. In: *The explosion category and the text of Slavic culture. Series: Categories and mechanisms of Slavic culture*. Moscow, pp. 180–191 (in Russ.). [Семенова, А.В., 2016. Скачок развития кашубской культуры как катализатор политического напряжения. *Категория взрыва и текст славянской культуры. Серия: Категории и механизмы славянской культуры*. М., с. 180–191] EDN: YSNJRN.
- Skorvid, S.S., 2009. The Kashubian Language. In: *The Great Russian Encyclopedia*. Vol. 13. Moscow, pp. 417–418 (in Russ.). [Скорвид, С.С., 2009. Кашубский язык. *Большая Российская энциклопедия*. Т. 13. М., с. 417–418].
- Treder, J., 1999. Język, piśmiennictwo i kultura Kaszubów. In: *Historia, geografia i kultura duchowa Kaszubów*. Gdańsk, pp. 4–7.

The authors

Dr Mikhail S. Khmelevskii, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-1980-5453

E-mail: chmelevskij@mail.ru

Dr Olga V. Raina, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-6281-8148

E-mail: raolga80@mail.ru

Dr Alexander V. Savchenko, Associate Professor, National Chengchi University, Taipei, Taiwan.

ORCID ID: 0000-0002-4337-9925

E-mail: savchenko75@mail.ru



To cite this article:

Khmelevskii, M. S., Raina, O. V., Savchenko, A. V., 2026, The Kashubian language through time: the history of Kashubian studies in Russia, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 192–202. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-12.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

КАШУБСКИЙ ЯЗЫК СКВОЗЬ ВРЕМЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАШУБИСТИКИ В РОССИИ

М. С. Хмелевский¹, О. В. Раина¹, А. В. Савченко²

¹ Санкт-Петербургский государственный университет,
199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 9/11

² Государственный университет Чжэнжи,
64, секция 2, ул. Чжинань, Тайбэй, Тайвань

Поступила в редакцию 19.12.2024 г.

Принята к публикации 15.10.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-12

Рассмотрены касающиеся кашубского этносустрата лингвокультурологические и лингвистические материалы, собранные российскими, прежде всего петербургскими, учеными, в том числе записи устной речи носителей этого языка из письменных, лексикографических и этнографических источников. Представленный материал является эмпирическим источником для славистики в целом и для изучения кашубского языка в рамках сравнительного славянского языкознания в частности. Приведены лингвистические, культурологические и экстралингвистические факты, характеризующие прошлое и современное состояние Кашубии и кашубского этноса, проживающего на северной (балтийской) периферии многомиллионной Славии. Статья опирается на результаты полевых исследований, проведенных авторами в регионах проживания кашубов, а также тщательный анализ работ отечественных лингвистов начиная с XIX века по настоящее время. Представлены и актуализированы вопросы, связанные с кашубским микроязыком и микроэтносом. Сделанные авторами выводы о современной кашубской языковой и этнолингвистической проблематике, несомненно, могут послужить определенным научным вкладом в дальнейшее развитие славяноведения XXI века.

Ключевые слова: Кашубия, кашубский язык, микроэтнос, российская славистика, славянская культурология, славянская периферия

Об авторах

Михаил Сергеевич Хмелевский, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-1980-5453

SPIN-код РИНЦ: 7273-1065

E-mail: chmelevskij@mail.ru



Ольга Викторовна Раина, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-6281-8148

SPIN-код РИНЦ: 7893-3258

E-mail: raolga80@mail.ru

Александр Викторович Савченко, кандидат филологических наук, доцент, Государственный университет Чжэнчжи, Тайбэй, Тайвань.

ORCID ID: 0000-0002-4337-9925

SPIN-код РИНЦ: 9254-0618

E-mail: savchenko75@mail.ru

Для цитирования:

Khmelevskii M. S., Raina O. V., Savchenko A. V. The Kashubian language through time: the history of Kashubian studies in Russia // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 192 – 202. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-12.



ЛИНЕЙНОСТЬ И КОМПОЗИЦИОННОСТЬ В СЕМАНТИКЕ БИНОМИНАТИВНЫХ УСТОЙЧИВЫХ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ц. Ма, А. Н. Саакян

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина,
117485, Россия, Москва, ул. Академика Волгина, 6
Поступила в редакцию 09.07.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-13

Исследованы биноминальные устойчивые синтаксические конструкции (БУСК) как особый класс фразеологизированных выражений в русском языке. Основное внимание уделено взаимодействию двух ключевых параметров – линейности и композиционности – в их семантической организации. Линейность рассматривается не только как формальный синтаксический порядок слов, но и как когнитивный механизм, влияющий на восприятие и интерпретацию значения. Композиционность определяется степенью, в которой общее значение конструкции может быть предсказано на основе значений ее компонентов. Анализ показывает, что БУСК располагаются на шкале от полностью композиционных, чьи значения легко выводимы из частей, до идиоматизированных, где связь компонентов с общим значением слабая или отсутствует. При этом фиксированный линейный порядок часто сохраняется даже при снижении композиционности, что служит важным маркером идиоматичности и устойчивости конструкции. В случаях, когда в результате фразеологизации конструкции ее композиционность нарушается, линейная форма остается стабильной, становясь элементом идиоматической узнаваемости. При этом выявляется закономерность: по мере снижения композиционности возрастает степень устойчивости линейной структуры, что подтверждают и когнитивные, и прагматические наблюдения. Предложена типология БУСК по степени композиционности и роли линейности как фактора когнитивной и семантической организации. Работа открывает перспективы для дальнейших исследований прагматических, когнитивных и типологических аспектов данного типа конструкций, а также их места в системе русского языка.

Ключевые слова: *биноминативные устойчивые (фразеологизированные) сочинительные конструкции, когнитивная лингвистика, композиционность, линейность, устойчивые сочетания*

1. Введение

В современных лингвистических исследованиях устойчивые сочетания слов всё чаще становятся объектом пристального внимания благодаря своей особой роли в формировании лексико-семантической системы языка. Одним из таких сочетаний является биноминативная устойчивая (фразеологизированная) сочинительная конструкция (БУСК). В русском языке такие синтагмы чаще всего реализуются в виде сочинительных биноминативных конструкций с союзом и / да (Макаров-



ских 2022б), которые в аналитических целях могут быть описаны по формуле $A (+1) B$, где A и B — знаменательные компоненты (имена существительные или субстантивированные слова), а 1 — связующий элемент (союз). Такие выражения могут как быть свободно сочетающимися, так и демонстрировать высокую степень устойчивости, частотности и идиоматичности (*жизнь и смерть, Ромео и Джульетта, плоть и кровь*), что делает их предметом особого интереса в рамках лингвистического анализа.

Может показаться, что с семиотической точки зрения оба субстантивированных элемента в подобных конструкциях суть равноправные знаки. Однако это далеко не так. В структуре БУСК принципы линейности и композиционности не только конкурируют друг с другом, но и взаимодополняют друг друга: биноминативная синтагма, кроме ипостаси цельного знака, реализует семантику каждой своей части. Как писал Э. Бенвенист, «семиотическое (знак) должно быть *узнано*, семантическое (речь) должно быть *понято*» (Бенвенист 1974, с. 88). Рассматривая синтагматические отношения, Соссюр отмечает, что «характерным свойством речи является свобода комбинирования элементов; надо, следовательно, поставить вопрос: все ли синтагмы в одинаковой мере свободны?» (Соссюр 1977, с. 156–157). При этом Соссюр оговаривает возможность рассмотрения клишированных конструкций и фразеологизмов как проявления языка (Золян, Тульчинский 2024, с. 75). Линейность здесь — ключ к пониманию БУСК как цельнознаковой единицы либо как способа синтаксической репрезентации идеи множества, оформленного двукомпонентной сочинительной конструкцией со свободной семантикой.

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных фразеологизмам и сочинительным структурам (Андрианова 2013, с. 22; Сигал 2004, с. 52), а также принципу композиционности в неформальной семантике (Падучева 1999), БУСК остаются недостаточно изученными именно с точки зрения их семантической организации, особенно в аспекте взаимодействия линейной структуры и композиционности значения. Линейность в данном контексте понимается как порядок следования компонентов конструкции, который может нести смысловую нагрузку и участвовать в организации когнитивного сценария. Композиционность, в свою очередь, предполагает возможность (или невозможность) восстановления общего значения выражения на основе значений его компонентов. В строгом понимании композиционность является бинарным свойством — либо значение выражения полностью выводимо из значений его компонентов, либо нет. Вместе с тем на практике наблюдаются переходные случаи, когда значение лишь частично зависит от составляющих. Подобные явления корректнее описывать в терминах градуальной идиоматичности или степени фиксированности.

Данный аспект представляет особый интерес, поскольку многие БУСК колеблются между композиционностью (*профилактика и лечение, право и обязанность*) и высокой степенью идиоматичности (*кнут и пря-*



ник, кожа да кости), что вызывает вопросы о механизмах построения их значения. Анализ таких конструкций требует привлечения теоретических моделей, учитывающих как синтаксическую линейность, так и когнитивную интерпретацию семантической композиции.

Целью настоящего исследования является выявление специфики взаимодействия линейности и композиционности в семантической структуре БУСК. В рамках поставленной цели предполагается решить две взаимосвязанные задачи: разработать типологию БУСК на основе степени их композиционности, а также определить роль линейного порядка компонентов в формировании значения конструкции. Проведенный анализ направлен на углубление представлений о семантической природе БУСК и уточнение их места в системе фразеологически маркированных единиц русского языка.

2. Теоретическая база: линейность и композиционность

2.1. Линейность как свойство синтаксических конструкций

Принцип линейности как неотъемлемого свойства речевой цепи впервые был четко сформулирован Ф. де Соссюром в «Курсе общей лингвистики» (1977, с. 103). Понятие линейности в лингвистике традиционно связано с тем, что единицы языка (фонемы, морфемы, слова, словосочетания) располагаются во времени и пространстве в определенной последовательности, то есть следуют друг за другом в линейной цепи. В синтаксическом плане линейность проявляется в порядке слов, а в семантическом — в том, как этот порядок может влиять на восприятие смысла.

В рамках синтаксического анализа линейность часто воспринимается как формальный порядок следования элементов. Однако в когнитивной лингвистике подчеркивается, что линейный порядок обладает когнитивно-семантической значимостью: он активизирует определенные интерпретационные сценарии, выстраивает смысловую динамику, направляет внимание адресата. Например, различие между *жизнь и смерть* и *смерть и жизнь* не только формально, но и семантически ощутимо — первое выражение апеллирует к естественному онтогенетическому сценарию, второе же воспринимается как свободное сочетание и требует особой интерпретации (например, в религиозном или философском контексте).

Таким образом, линейность не просто оформляет синтаксическую оболочку конструкции, но может участвовать в семантической композиции, то есть влиять на порядок активации и интерпретации составляющих значений. В устойчивых сочинительных конструкциях, таких как БУСК, линейность часто закреплена, не допускает вариации, что может свидетельствовать о ее значимости для формирования устойчивого значения выражения. Взаимосвязь линейности и композиционности здесь оказывается особенно важной: линейная структура может либо поддерживать композиционность, либо маскировать ее нарушение во фразеологизированных конструкциях.



В конструкциях с относительно высокой степенью композиционности линейность способствует поэтапной актуализации значений составляющих и их последовательному складыванию в целостный смысл. Так, в выражении *жена и ребенок* порядок компонентов отражает как социальную, так и культурно обусловленную иерархию: сначала называется *жена* — как взрослая, социально более автономная фигура, затем *ребенок* — как заведомо зависимый и требующий опеки субъект. Такая линейная организация способствует более легкой интерпретации значения и поддерживает композиционность конструкции, позволяя адресату интуитивно выстроить отношения между участниками.

Напротив, в БУСК линейность выполняет иные функции: она, как правило, фиксирована и не допускает варьирования, что нередко свидетельствует об утрате композиционности и формировании идиоматического значения. Например, в выражении *день и ночь* последовательность компонентов не подлежит инверсии (*ночь и день* может восприниматься буквально, но это не соответствует человеческому познанию целого — суток), тогда как в устойчивом выражении она служит для обозначения непрерывности действия. Аналогично в БУСК *совет да любовь* — устойчивая формула благопожелания молодоженам.

Кроме того, изменение линейного порядка в подобных конструкциях может привести к утрате устойчивости или семантическому сдвигу. Например, в выражении *чай да сахар* традиционный порядок указывает на доминирующий и фоновый элементы в культурном контексте (чай как основной напиток, сахар как добавка). При перестановке компонентов (*сахар да чай*) выражение утрачивает идиоматический характер и начинает восприниматься как свободное сочетание, не обладающее теми же семантическими свойствами, что идиома.

То же касается выражения *щи да каша*: слово *щи* актуализируется не как суп как таковой, а как культурный символ простой традиционной пищи, который в сочетании с *кашей* символизирует скромный домашний быт. Изменение порядка компонентов (*каша да щи*) может оказывать влияние на ритмико-мелодический рисунок выражения и ослаблять его восприятие как устойчивого. Однако нельзя утверждать, что подобная трансформация всегда приводит к разрушению идиомы: в ряде случаев устойчивые выражения сохраняют свою целостность даже при более значительных модификациях. Это связано с семантической членимостью идиомы, определяющей потенциал варьирования ее структуры (Добровольский 2011, с. 207; 2023, с. 85–86).

Таким образом, в рамках БУСК линейность представляет собой не только формально-синтаксический параметр, но и значимый когнитивно-семантический механизм: она может усиливать композиционность конструкции либо, напротив, маскировать ее фразеологическую целостность, тем самым играя ключевую роль в формировании устойчивого значения.



2.2. Композиционность семантики

Вопрос о композиционности значения традиционно стоит в центре композиционной семантики (Норман 2019, с. 725). Идея композиционности традиционно связывается с работами Готлоба Фреге. В статье «Смысл и значение» (1892) Фреге не формулирует данный принцип в его современной терминологической форме, однако именно здесь закладываются основы понимания значения сложных выражений как производного от значений их компонентов (Frege 1892). Распространенная в современной семантике формулировка принципа композиционности является результатом последующей интерпретации и теоретического обобщения фрегевских идей. Современная формулировка принципа композиционности восходит к идеям Фреге и находит развитие в семантических теориях — например, у Р. Карнапа в книге 1947 года «Значение и необходимость» (Карнап 2007). Именно в работах Карнапа принцип композициональности получает первую четкую экспликацию как методологическое основание логико-семантического анализа.

Решающую роль в становлении современной формальной семантики сыграл Р. Монтегю. В статье «Универсальная грамматика» (Montague 1970, p. 373) он постулирует строгий гомоморфизм между синтаксисом и семантикой: значение сложного выражения является функцией значений его частей и способа их синтаксического комбинирования. Для Монтегю композициональность не является эмпирическим обобщением, а выступает как *конститутивный принцип* всей семантической теории, обеспечивающий ее формальную строгость и универсальность.

Барбара Парти (Partee 2004, p. 153), обобщая достижения формальной семантики, показывает, что в естественном языке композициональность проявляется не как абсолютный закон, а как *методологический постулат*. Она подчеркивает, что многочисленные явления (идиомы, фраземы, метафорические выражения) лишь на первый взгляд нарушают данный принцип. На практике они стимулируют развитие более сложных механизмов его реализации — введение скрытых структур, уточненных правил интерпретации и особых лексических представлений. В интерпретации Парти композициональность предстает как требование систематичности и воспроизводимости семантического анализа.

Наконец, в работах И.А. Мельчука (1999; Mel'čuk 2023) принцип композициональности рассматривается в широком контексте лексикологии и фразеологии. Мельчук отмечает, что в области фразем (устойчивых словосочетаний) композициональность носит *градуальный характер* и взаимодействует с идиоматичностью. Его новейшая монография (Mel'čuk 2023) демонстрирует, что фраземы образуют особую зону языка, где композициональные и некомпозициональные свойства переплетаются, требуя многоуровневого описания.



Таким образом, эволюция принципа композициональности от Фреге к Карнапу, от Монтегю к Парти и Мельчуку отражает переход от философской идеи к формализованной теории и далее к ее методологической и прикладной интерпретации. Сегодня этот принцип одновременно понимается как фундаментальный постулат формальной семантики и как гибкий инструмент анализа сложных языковых явлений, включая идиоматические и устойчивые конструкции.

Этот принцип лежит в основе способности носителя языка интерпретировать потенциально бесконечное число высказываний на основе ограниченного набора лексических единиц и грамматических правил. Таким образом, композиционность представляет собой фундаментальное свойство естественного языка, обеспечивающее семантическую предсказуемость и системность.

Высокая степень композиционности означает, что общее значение можно предсказать по компонентам (например, *партия и правительство*), тогда как низкая композиционность указывает на наличие идиоматического или переносного значения (*небо и земля* — не просто «небо» и «земля», а устойчивое выражение, обозначающее резкое несходство, полную противоположность). Как подчеркивает И. А. Мельчук в попытке уйти от неформализуемого понятия *значение*, «сочетание идиоматично только тогда, когда его переводный эквивалент не совпадает с суммой переводных эквивалентов его частей» (1960, с. 75) — другими словами, когда его значение невыводимо из суммы значений его составных элементов.

БУСК как тип устойчивого сочетания нередко занимает промежуточное положение на шкале композиционности: такая синтагма может сохранять частичную семантическую прозрачность, но в то же время демонстрировать синсемантизм, то есть компоненты получают значение лишь в рамках самой конструкции. Например, элементы выражения *рожки да ножки* в определенном контексте актуализируются не в буквальном значении (например, *рога и копыта*), а как часть культурно маркированного выражения, означающего «почти ничего», «малые остатки» от чего-либо (Юрина 2015, с. 210). Кроме того, согласно исследованию Н. П. Медведевой и ее соавторов, фразеологические единицы характеризуются неделимостью, что обеспечивает их целостность и невозможность замены компонентов без разрушения значения. Значение устойчивого выражения формируется как самостоятельный знак (Медведева и др. 2023, с. 119). Таким образом, при анализе БУСК необходимо учитывать как структурные параметры (наличие / отсутствие союза, порядок компонентов), так и семантические характеристики — в частности, степень линейности и композиционности, которые напрямую связаны с идиоматичностью и устойчивостью конструкции.

3. Структурные особенности БУСК

Базовая синтаксическая формула таких конструкций выглядит как $X \text{ и/да } Y$, где X, Y — два структурных знаменательных элемента с номинативным значением, а *и/да* (связь) — служебный элемент, то есть со-



единительное звено. БУСК как тип конструкции характеризуется не только данной формулой, но и устойчивостью, воспроизводимостью и тенденцией к идиоматизации, что отличает его от свободных сочинительных сочетаний. В русском языке такая конструкция, как правило, обладает следующими характеристиками: а) сочинительная координация компонентов, причем союз *да* чаще встречается в фольклорных или архаических контекстах (*совет да любовь, щи да каша*); б) порядок следования компонентов: в большинстве случаев он фиксирован, что связано с различной степенью идиоматизации, когнитивной обусловленностью и ритмико-мелодическим рисунком и закрепляется в речевой практике частотностью употребления. Например, *рожки да ножки* воспринимается как устойчивое клише, в то время как *ножки да рожки* звучит аномально и не несет аналогичной прагматической нагрузки; в) семантическая координация: между компонентами БУСК часто наблюдаются устойчивые семантические отношения. Подробный анализ типов семантической связи в гендиадических единицах представлен в работе А.В. Макаровских (2022а), что в целом согласуется с классификацией, предложенной Я. Малкиелем (Malkiel 1959).

Во-первых, выделяются пары, в которых сочетающиеся элементы близки по значению и усиливают выразительность, например: *почет и уважение, страх и ужас, злоба и ненависть*.

Во-вторых, встречаются комплементарные сочетания, где компоненты дополняют друг друга и вместе формируют единое целое: *день и ночь, жена и ребенок, отец и мать*. Подобные сочетания сближаются с тем, что в научной литературе определяется как «парная формула». Так, Ж. Дюмезиль (в работе 1940 года) трактует парные формулы как устойчивые двучленные единства, отражающие фундаментальные бинарные оппозиции (ср. *Митра и Варуна*) (Дюмезиль 1986, с. 39–42).

Третью группу составляют антонимические пары, отражающие биноминативную оппозицию: *жизнь и смерть, любовь и ненависть, добро и зло*. Кроме того, наблюдаются иерархические связи, при которых один элемент подчинен другому: *рубли и копейки, месяц и год, море и океан*. Отдельно выделяются последовательные конструкции, выражающие причинно-следственные или временные отношения, как в выражениях *становление и развитие, разработка и внедрение, взлет и падение*. Наконец, особую группу образуют формульные выражения с культурной или ритуальной функцией, например: *совет да любовь, щи да каша, чай да сахар*. Эти семантические модели отражают как лексическую сочетаемость, так и культурную маркированность БУСК в русском языке.

4. Линейность в семантике БУСК

Хотя сочинительная связь предполагает формальное равенство компонентов конструкции, линейный порядок элементов в БУСК далеко не всегда является свободным. Напротив, в устойчивых биноминативных конструкциях порядок компонентов играет ключевую роль в формировании и актуализации смысла. В некоторых случаях линейная



последовательность компонентов отражает семантические отношения между ними — от хронологии и причинности до градации интенсивности (Ляо Цючжун 1992, с. 211 — 224):

а) хронологическая последовательность. БУСК могут представлять естественную временную шкалу, в которой первый компонент предшествует второму в реальном или концептуальном времени: *жизнь и смерть* — последовательность рождения и умирания; *утро и вечер, весна и осень, вход и выход* — примеры хронологической или процессуальной упорядоченности. Замена порядка (*смерть и жизнь*) в подобных случаях воспринимается либо как поэтическое средство, либо как семантически маркированное выражение, требующее особой интерпретации (например, «жизнь после смерти»);

б) причинно-следственная связь. Некоторые БУСК репрезентируют логическую или психологическую причинность: *вера и надежда* — вера как предпосылка или источник надежды; *проба и ошибка, вопрос и ответ* — причинно-следственные пары. Здесь порядок компонентов отражает направление логического вывода, и его изменение может нарушить или изменить интерпретацию;

в) интенсивность и градация. БУСК нередко формируют градационные шкалы или отражают нарастание / ослабление эмоций, действий: *убитый и раненый, война и революция, страх и ужас*. В таких парах нарушение установленного порядка может восприниматься как диссонанс, особенно в устойчивых контекстах (например, в пословицах, песнях, поэзии).

Одним из эффективных приемов семантической диагностики БУСК является метод «перевернутого порядка», основанный на изменении линейной последовательности компонентов. Переупорядочивание элементов может выявить скрытую семантическую направленность и актуализировать дополнительные смысловые оттенки. Так, замена *жизнь и смерть* на *смерть и жизнь* может породить философский или религиозный подтекст (например, идею жизни после смерти), а также придать конструкции маркированный характер. Изменение порядка в конструкции *страх и ужас* на *ужас и страх* нарушает нарастающую семантическую шкалу и создает эффект ретардации, усиливая экспрессивность высказывания. Эти примеры подтверждают, что линейная организация компонентов в БУСК не является произвольной: чаще всего существует дефолтный порядок, отклонение от которого требует специальной интерпретации. Линейность выполняет важную семантическую функцию, задавая иерархию или причинно-временную последовательность понятий и влияя на интерпретацию всей конструкции. Таким образом, анализ порядка компонентов представляет собой значимый инструмент при исследовании семантической композиции БУСК.

5. Композиционность в семантике БУСК

Одним из ключевых вопросов в семантическом анализе бинарных устойчивых сочинительных конструкций (БУСК) является степень их композиционности — в какой мере значение всей конструкции



может быть выведено из значений ее компонентов. В идеальном случае композиционное выражение подчиняется принципу семантической суммы: смысл целого равен сумме значений его частей. Однако в отношении БУСК этот принцип реализуется далеко не всегда, поскольку многие из них обладают частичной или полной идиоматичностью, что делает их интерпретацию более сложной и многоплановой.

БУСК можно условно классифицировать по степени композиционности на три группы. В первую входят конструкции с высокой степенью семантической прозрачности, в которых компоненты сочетаются на логико-семантическом уровне и создают значение простой координации, например: *театр и музыка, отец и мать, знание и опыт, теория и практика*. Эти конструкции не требуют особых интерпретационных усилий и обладают высокой предсказуемостью.

Во вторую группу попадают частично идиоматизированные конструкции, значение которых уже не сводится к сумме значений компонентов, но при этом сохраняется ассоциативная связь с их лексическим содержанием. Так, выражение *война и мир* не просто обозначает «военные действия» и «состояние покоя», а апеллирует к культурно и исторически значимому противопоставлению, отражающему фундаментальные аспекты человеческого бытия — конфликт и гармонию, разрушение и созидание. Конструкция приобретает дополнительную семиотическую нагрузку благодаря литературной коннотации (ассоциация с романом Л. Н. Толстого), что усиливает ее идиоматизированный характер и придает ей интертекстуальную глубину. Аналогично *жизнь и судьба* задают экзистенциальную перспективу, в которой человеческое существование воспринимается как подчиненное некой предопределенности.

К третьей группе относятся некомпозиционные конструкции, в которых значение целого невозможно предсказать из значений компонентов. Оно формируется как цельный семантический или культурный конструкт, зачастую метафорический или фразеологизированный. Например, выражение *плоть и кровь* — библейская метафора, обозначающая человеческую сущность, родство, физическое и духовное единство. Конструкции типа *честь и место* или *огнем и мечом* представляют собой устойчивые идиомы, в которых слова утрачивают буквальный смысл и функционируют как семантически неделимые единицы.

Значение БУСК формируется не в результате линейной семантической агрегации, а через активацию определенной ментальной схемы или культурного сценария, связанного с типовым жизненным опытом. Например, *плоть и кровь* активируют конструкт телесности, *жизнь и смерть* — онтологические границы существования, а *вера и надежда* — духовную или религиозную установку. Эти значения не считываются последовательно, от слова к слову, а воспринимаются как целостная, фреймовая структура, укорененная в коллективной когниции и языковом сознании. Таким образом, композиционность в семантике БУСК представляет собой градуальное и вариативное явление: от полностью прозрачных до глубоко идиоматизированных единиц. Модель когни-



тивных сценариев позволяет учитывать не только внутреннюю структуру конструкций, но и внешние, культурно и концептуально обусловленные факторы, влияющие на формирование и восприятие их значения (Рахилина 2000).

6. Взаимодействие линейности и композиционности

Взаимодействие линейности и композиционности играет ключевую роль в семантической организации БУСК. Эти два параметра, будучи теоретически различными, в реальном функционировании конструкций оказываются тесно взаимосвязанными, образуя сложную когнитивно-семантическую структуру.

Линейность, как было показано выше, обеспечивает последовательную и упорядоченную форму представления значений. В БУСК она проявляется в строго фиксированном порядке компонентов (*X и/да Y*), который не только отражает синтаксическое членение, но и служит ориентиром для семантической интерпретации. Порядок слов в таких конструкциях зачастую не является свободным: инверсия может нарушить устойчивое значение или вызвать семантический сдвиг. Таким образом, линейность не только отражает порядок следования компонентов, но и кодирует сценарную направленность, поддерживая когнитивную структуру.

Композиционность, в свою очередь, задает способ семантической интеграции компонентов. В случаях полной композиционности значение всей конструкции может быть выведено из значений ее частей. Однако значительная часть БУСК демонстрирует частичную или даже нулевую композиционность. В выражении *небо и земля* наблюдается сдвиг значения: конструкция может обозначать крайнюю степень различия между объектами или явлениями, что выходит за рамки простого сложения значений *небо и земля*. В таком употреблении сохраняется ассоциативная связь с лексическим содержанием компонентов, однако основное значение выражения приобретает метафорический характер, указывая на противоположность, несоизмеримость или контраст. В еще большей степени фразеологизация проявляется в конструкциях типа *Содом и Гоморра, рожки да ножки*, где значения компонентов теряют автономность и формируют единый метафорический или культурно маркированный концепт.

На этом фоне особенно интересно, что при снижении композиционности линейная организация конструкции не только сохраняется, но и становится более выраженной. Она становится структурно «жесткой» и часто немодифицируемой. Это позволяет говорить о том, что линейность в БУСК выступает в качестве формального инварианта, устойчивого каркаса, в то время как композиционность является переменной, подверженной влиянию контекста, прагматики и культурной интерпретации.

Обобщая наблюдения, можно заключить, что линейность в БУСК выполняет когнитивную и семантическую функцию: она направляет



интерпретацию, структурирует отношения между элементами и фиксирует сценарную организацию конструкции. Композиционность же задает степень прозрачности значения и формирует диапазон интерпретации от буквального к идиоматическому. Их взаимодействие демонстрирует, как устойчивые конструкции, с одной стороны, сохраняют синтаксическую регулярность, а с другой — обретают семантическую целостность и концептуальную сложность, выходящую за пределы суммы значений отдельных компонентов.

7. Заключение

В статье были рассмотрены биноминативные устойчивые сочинительные конструкции как особый тип фразеологизированных номинативных выражений с точки зрения их линейной организации и семантической композиционности. Анализ показал, что линейность играет ключевую роль в структурной устойчивости и сценарной интерпретации БУСК: порядок компонентов зачастую отражает хронологические, причинно-следственные или иные логико-семантические связи. При этом даже в случаях, когда композиционность нарушается вследствие фразеологизации, линейная форма остается стабильной, становясь элементом идиоматической узнаваемости конструкции. Таким образом, линейность может рассматриваться как опора когнитивной обработки и интерпретации, в то время как композиционность определяет степень прозрачности значения.

Также было установлено, что БУСК представляют собой континуум от свободных координаций к полностью фразеологизированным единицам, что позволяет классифицировать их по степени композиционности. При этом выявляется закономерность: по мере снижения композиционности возрастает степень устойчивости линейной структуры, что подтверждают и когнитивные, и прагматические наблюдения.

Перспективы дальнейших исследований включают более глубокое изучение прагматических функций БУСК в живой речи, их роль в организации дискурса, а также их функционирование в различных речевых жанрах. Кроме того, сопоставление БУСК с аналогичными конструкциями в других языках может дать новые данные для типологических и когнитивных обобщений.

Таким образом, исследование линейности и композиционности в БУСК не только углубляет понимание их семантической природы, но и открывает широкие возможности для дальнейших лингвистических интерпретаций этих конструкций в синтаксическом, когнитивном и прагматическом измерениях.

Список литературы

Андрианова, Д.В., 2013. *Устойчивые парные сочетания в чешском и русском языках: лингвистический анализ*: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 22 с. [Andrianova, D.V., 2013. *Stable paired combinations in Czech and Russian: Linguistic analysis*. PhD thesis. St. Petersburg, 22 p. (in Russ.)].



Бенвенист, Э., 1974. *Общая лингвистика*. М., 446 с. [Benveniste, É., 1974. *General Linguistics*. Moscow, 446 p. (in Russ.)].

Добровольский, Д. О., 2011. Конверсия и актантажная деривация во фразеологии. *Слово и язык: Сборник статей к восьмидесятилетию акад. Ю. Д. Апресяна*. И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин (отв. ред.). М., с. 207–227. [Dobrovolskij, D. O., 2011. Conversion and actant derivation in phraseology. In: I. M. Boguslavsky, L. L. Iomdin and L. P. Krysin, eds. *Word and Language: Papers for the Eightieth Anniversary of Acad. Yu. D. Апресян*. Moscow, pp. 207–227 (in Russ.)] EDN: PXPUN.

Добровольский, Д. О., 2023. Между лексиконом и грамматикой: о синтаксисе идиом. *V Международная научная филологическая конференция, посвящённая памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936–2019). Избранные доклады*. В. П. Казаков (ред.). СПб., с. 85–99. [Dobrovolskij, D. O., 2023. Between lexicon and grammar: On the syntax of idioms. In: V. P. Kazakov, ed. *5th Int. Philological Conference in Memory of L. A. Verbitskaya (1936–2019): Selected Papers*. St. Petersburg, pp. 85–99 (in Russ.)] EDN: DRLDTU, <https://doi.org/10.21638/11701/9785288063183>.

Дюмезиль, Ж., 1986. *Верховные боги индоевропейцев*. Перевод Т. В. Цивьян. М., 243 с. [Dumézil, G., 1986. *Les Dieux Souverains Indo-Européens*. Translated by T. V. Tsi-vyuan. Moscow, 243 p. (in Russ.)].

Золян, С. Т., Тульчинский, Г. Л., 2024. *Динамика смысла: глубокая семиотика и стереометрическая семантика*. М., 448 с. [Zolyan, S. T. and Tulchinsky, G. L., 2024. *Dynamics of Meaning: Deep Semiotics and Stereometric Semantics*. Moscow, 448 p. (in Russ.)].

Карнап, Р., 2007. *Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике*. М., 380 с. [Carnap, R., 2007. *Importance and necessity. Research on semantics and modal logic*. Moscow, 380 p. (in Russ.)].

Ляо Цючжун, 1992. *Собрание сочинений*. Пекин, 209 с. [Liao Qiuzhong, 1992. *Collected Works*. Beijing, 209 p. (in Russ.)].

Макаровских, А. В., 2022а. Анализ типов семантической связи элементов гендиадических единиц в английском языке. *Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки*, 8 (863), с. 73–79. [Makarovskikh, A. V., 2022a. Analysis of Semantic Relations Types of Hendiadys Elements in English. *Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities*, 8 (863), pp. 73–79 (in Russ.)] EDN: GIKNRA, https://doi.org/10.52070/2542-2197_2022_8_863_73.

Макаровских, А. В., 2022б. Последовательность элементов в парных образованиях гендиадического типа. *Вестник Томского государственного педагогического университета*, 1 (219), с. 7–14. [Makarovskikh, A. V., 2022b. Order of elements in paired formations of the hendiadic type. *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*, 1 (219), pp. 7–14 (in Russ.)] EDN: SFWWOD, <https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-1-7-14>.

Медведева, Н. П., Парамонова, Е. А., Холодионова, С. И., 2023. Фразеологизм как языковая единица. *Гуманитарные и социальные науки*, 101 (6), с. 117–121. [Medvedeva, N. P., Paramonova, E. A. and Kholodionova, S. I., 2023. Phraseologism as a linguistic unit. *The Humanities and Social Sciences*, 101 (6), pp. 117–121 (in Russ.)] EDN: DMГFHA, <https://doi.org/10.18522/2070-1403-2023-101-6-117-121>.

Мельчук, И. А., 1960. О терминах «устойчивость» и «идиоматичность». *Вопросы языкознания*, 4, с. 73–80. [Mel'čuk, I. A., 1960. On the terms “stability” and “idiomaticity.” *Topics in the study of language*, 4, pp. 73–80 (in Russ.)].

Мельчук, И. А., 1999. *Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст»*. Семантика, синтаксис. М., 250 с. [Melchuk, I. A., 1999. *The experience of the theory of linguistic models “Meaning ↔ Text”*. Semantics, syntax. Moscow, 250 p. (in Russ.)].



Норман, Б.Ю., 2019. Синтактика, когнития и композиционная семантика. *Russian Journal of Linguistics*, 23 (3), с. 714–730. [Norman, B. Yu., 2019. Syntax, cognition and compositional semantics. *Russian Journal of Linguistics*, 23 (3), pp. 714–730 (in Russ.)] EDN: TMOGBQ, <https://doi.org/10.22363/2312-9182-2019-23-3-714-730>.

Падучева, Е.В., 1999. Принцип композиционности в неформальной семантике. *Вопросы языкознания*, 5, с. 3–23. [Paducheva, E. V., 1999. The principle of compositionality in informal semantics. *Topics in the study of language*, 5, pp. 3–23 (in Russ.)].

Рахилина, Е.В., 2000. *Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость*. М., с. 22–26. [Rakhilina, E. V., 2000. *Cognitive analysis of object nouns: Semantics and combinability*. Moscow, pp. 22–26 (in Russ.)].

Сигал, К.Я., 2004. *Сочинительные конструкции в тексте: опыт теоретико-экспериментального исследования (на материале простого предложения): дис. ... д-ра филол. наук*. Москва, 52 с. [Sigal, K. Ya., 2004. *Coordinative constructions in text: A theoretical and experimental study (based on simple sentences)*. PhD Dissertation. Moscow, 52 p. (in Russ.)].

Соссюр, Ф. де., 1977. Курс общей лингвистики. *Труды по языкознанию*. М., с. 9–274. [Saussure, F. de., 1977. Course in General Linguistics. In: *Works on Linguistics*. Moscow (in Russ.)].

Юрина, Е.А., 2015. «Пищевая метафора»: объем и границы понятия. *Вестник Кемеровского государственного университета*, 3–1 (63), с. 207–212. [Yurina, E. A., 2015. “Food metaphor”: scope and limits of the concept. *The Bulletin of Kemerovo State University*, 3–1 (63), pp. 207–212 (in Russ.)] EDN: UMLDNP.

Frege, G., 1892. “Über Sinn und Bedeutung”. In: *Zeitschrift für Philosophic und Philosophische Kritik*, 100, pp. 25–50.

Malkiel, Y., 1959. Studies in Irreversible Binomials. *Lingua*, 8, pp. 113–160.

Meľčuk, I. A., 2023. *General Phraseology: Theory and Practice*. Amsterdam; Philadelphia, 640 p.

Montague, R., 1970. Universal Grammar. *Theoria*, 36(3), pp. 373–398.

Partee, B. H., 2004. Compositionality. In: B. H. Partee, ed. *Compositionality in Formal Semantics: Selected Papers*. Oxford, pp. 153–181.

Об авторах

Ма Цуйтин, аспирант, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва, Россия.

ORCID ID: 0009-0003-9213-4806

E-mail: 2473616353@qq.com

Левон Николаевич Саакян, кандидат филологических наук, доцент, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-5046-7894

SPIN-код РИНЦ: 4115-3565

E-mail: sahalev@mail.ru

Для цитирования:

Ма Ц., Саакян Л.Н. Линейность и композиционность в семантике биноминативных устойчивых сочинительных конструкций // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1. С. 203–216. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-13.



LINEARITY AND COMPOSITIONALITY IN THE SEMANTICS
OF BINOMIAL STABLE CONSTRUCTIONS*Ma Cuiting, Levon N. Saakyan*Pushkin State Russian Language Institute,
6 Akademika Volgina St., Moscow, 117485, Russia

Submitted on 09.07.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-13

The article examines binomial stable syntactic constructions (BSSCs) as a distinct class of phraseologized expressions in Russian. The analysis focuses on the interaction between two key parameters of their semantic organisation: linearity and compositionality. Linearity is understood not merely as a formal property of syntactic word order, but also as a cognitive mechanism that shapes the perception and interpretation of meaning. Compositionality is defined as the extent to which the overall meaning of a construction can be predicted from the meanings of its constituent elements. The study demonstrates that BSSCs form a continuum ranging from fully compositional constructions, whose meanings are readily inferable from their components, to idiomatic units, in which the connection between the components and the global meaning is weak or entirely opaque. At the same time, even as compositionality decreases, a fixed linear order is often preserved. This stability of linear structure functions as a salient marker of idiomaticity and constructional fixity. In cases where phraseologization leads to a disruption of compositionality, the linear form remains invariant, thereby becoming a key cue for idiomatic recognition. A regular correlation is identified: the lower the degree of compositionality, the higher the degree of linear stability. This pattern is supported by both cognitive and pragmatic observations. On this basis, the article proposes a typology of binomial stable syntactic constructions according to their degree of compositionality and the role of linearity in their cognitive and semantic organisation. The study outlines prospects for further research into the pragmatic, cognitive, and typological properties of these constructions, as well as their place within the system of the Russian language.

Keywords: binomial stable (phraseologized) compositional constructions, cognitive linguistics, compositionality, linearity, stable combinations

The authors

Ma Cuiting, Postgraduate Student, Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0009-0003-9213-4806

E-mail: 2473616353@qq.com

Dr Levon N. Saakyan, Associate Professor, Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-5046-7894

E-mail: sahalev@mail.ru

To cite this article:

Ma Cuiting, Saakyan, L. N., 2026, Linearity and compositionality in the semantics of binomial stable constructions, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 203–216. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-13.



**ПОНЯТИЕ «СТРАТЕГИЯ ПЕРЕВОДА»
В СВЕТЕ ПОТРЕБНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ
ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ**

Р. М. Шамилов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Россия, 603155, Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12
Поступила в редакцию 11.01.2025 г.
Принята к публикации 15.10.2025 г.
doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-14

Рассмотрено понятие «стратегия перевода», с позиции потребностноориентированного подхода к переводу выделены возможные типы стратегии перевода. Приведен краткий обзор мнений ряда отечественных и зарубежных исследователей о стратегии перевода, продемонстрировано отсутствие единодушия среди них. Критическому анализу подвергнуто учение о стратегиях перевода, разработанное в рамках концептуально близкого к потребностноориентированному коммуникативно-функционального подхода. В частности, выявлен недостаток этого учения, который заключается в отсутствии четкой корреляции между теоретическим, практическим и дидактическим аспектами стратегии терциарного перевода. С учетом этого недостатка предложено авторское – потребностноориентированное – определение стратегии перевода, отражающее специфику оказания переводческой услуги в реальных условиях осуществления профессиональной переводческой деятельности, где в зависимости от технического задания, обусловленного характером потребности и решаемой инициатором / потребителем с помощью перевода задачи, переводчик создает продукт с ожидаемым языковым оформлением. Тот очевидный факт, что в отдельно взятой ситуации может потребоваться создание текста, который будет иметь расхождения с оригиналом по своим текстовым характеристикам, служит основанием для выделения двух категорий перевода – конвенционального и пекулярного. Первый отождествляется с собственно переводом – полноценным функциональным эквивалентом оригинала, максимально повторяющим его в языковом оформлении, а второй включает всевозможные вариации перевода, не претендующие на замену оригинала в функциональном плане и отличающиеся от него в формально-структурном и / или содержательно-смысловом отношении. Разработана типология, включающая одноименные с категориями и соотносимые с ними стратегии перевода. В то же время с учетом конкретных случаев из практики перевода обоснован вывод о возможности осуществления пекулярных переводов с использованием стратегии конвенционального перевода, что определяется степенью разнородности операций и действий, выполняемых переводчиком в процессе работы над переводом.

Ключевые слова: коммуникативно-функциональный подход, потребностноориентированный подход, стратегия конвенционального подхода, стратегия пекулярного перевода, стратегия перевода, стратегия терциарного перевода



1. Введение

На современном этапе развития науки о переводе «стратегия перевода» успела стать одним из ключевых понятий, пополнивших понятийный аппарат отечественного переводоведения. Наличие многочисленных работ, в которых так или иначе затрагивается это понятие, демонстрирует отсутствие единой точки зрения на то, что же все-таки следует понимать под стратегией перевода. Впрочем, это и неудивительно, если признавать, что всякая точка зрения формируется в системе координат определенной научной концепции, опирающейся на конкретные теоретические положения. Несмотря на полифонию воззрений на стратегию перевода, есть одна общая черта, объединяющая исследователей, — признание того факта, что переводческая деятельность, будучи целенаправленной, то есть нацеленной на получение конкретного результата (продукта), обязательно подразумевает выработку переводчиком определенной стратегии (или определенных стратегий, если следовать логике переводоведов, склонных преуменьшать глобальность роли стратегии в общем процессе осуществления перевода до уровня переводческих решений локального порядка (тактик и операций)) и реализацию этой(-их) стратегии(-й), а также должна обеспечить создание продукта, признаваемого качественным в данной конкретной ситуации осуществления перевода.

Нетрудно догадаться, что необходимость в теоретизировании стратегии перевода обусловлена практикой перевода в реальных условиях осуществления профессиональной переводческой деятельности исходя как из личного опыта самих исследователей, так и опыта коллег-практикующих переводчиков. Такому естественному положению дел не противимся и мы, стремящиеся к разработке такой концепции перевода, которая обеспечила бы прочную корреляцию между принципами теории, практики и, что более важно, дидактики перевода, и тем самым устранила бы несоответствие, которое, на наш взгляд, наблюдается сегодня между этими аспектами в отечественном переводоведении.

Сразу же оговоримся, что, разделяя точку зрения о необходимости ведения разговора о стратегии перевода в том числе и в теоретическом и дидактическом ключе, мы не намерены вступать в полемику с теми, кто, быть может, разделяет точку зрения о том, что на практике на самом деле переводчик вряд ли всерьез задумывается над тем, какую стратегию перевода ему сейчас следует избрать, да и вообще вряд ли оперирует такой категорией. Наоборот, учитывая обоснованность такой позиции, разделяемой скорее практикующими переводчиками, нежели теоретиками и преподавателями перевода, поскольку она зиждется, если не исключительно, то по крайней мере преимущественно, на практике перевода, — а возможность соотнесения теоретических суждений с практической действительностью, по нашему мнению, служит своего рода лакмусовой бумажкой, по которой можно судить о степени обоснованности всего того, что говорится в теории, — мы не можем не признавать ее состоятельность и право на существование.



В настоящей статье мы не ставим перед собой цель подробно рассмотреть все множество мнений на стратегию перевода, а скорее, ограничившись кратким обзором некоторых взглядов, постараемся представить собственное видение этого вопроса на основе некоторых положений разрабатываемой нами потребностноориентированной концепции перевода. Вместе с тем, излагая нашу точку зрения, мы будем руководствоваться таким методом научного познания как критический анализ, которому будет подвергнута концептуально не чуждая нам коммуникативно-функциональная концепция перевода, в рамках которой впервые в отечественной транслатологии рассуждения вокруг стратегии перевода получили, пожалуй, наиболее законченное выражение и оформились в отдельное учение о трех стратегиях перевода.

2. Полифония мнений о сущности стратегии перевода

В трудах по теории перевода предлагаются разные определения понятию «стратегия перевода». Как уже было отмечено выше, одни исследователи рассматривают его в широком ключе (Алексеева 2008; Псурцев 2013; Шлепнев 2018), а другие склонны придавать стратегии перевода локальный характер как процедуре, направленной прежде всего на решение определенной переводческой задачи (Hejwowski 2004; Lörscher 1991). Существует также точка зрения, трактующая стратегию перевода настолько широко, насколько возможно, и выделяющая отдельные группы в зависимости от решаемых задач (поисковые стратегии, стратегии, позволяющие переводчику восстановить мыслительную активность, текстовые стратегии) (Chesterman, Wagner 2002, p. 57–59). В этой же работе впервые в зарубежном переводоведении выдвигается идея о целесообразности разграничения понятий *стратегия / тактика перевода* как категорий двух разных уровней: стратегия понимается как категория более глобальная, применяемая по отношению ко всему тексту, реализуемая за счет набора локальных переводческих тактик. Эта здравая мысль нашла свое воплощение в учении о трех стратегиях перевода, разработанном в рамках коммуникативно-функциональной концепции перевода (Сдобников 2015). Именно коммуникативно-функциональное определение стратегии перевода, сформулированное В. В. Сдобниковым, представляется нам наиболее полно отражающим суть и специфику этого этапа переводческой деятельности в контексте осуществления профессионального перевода. Стратегия перевода определяется как *«общая программа осуществления переводческой деятельности, формирующаяся на основе общего подхода к выполнению перевода в условиях определенной коммуникативной ситуации с использованием перевода, определяемая специфическими особенностями данной ситуации и целью перевода и, в свою очередь, определяющая характер профессионального поведения переводчика в рамках данной коммуникативной ситуации»* (Сдобников 2011, с. 115). Но и это определение, на наш взгляд, требует уточнения. В. В. Сдобников выделяет три стратегии перевода — коммуникативно-равноценного перевода, переадресации и терциарного перевода. Объектом критики, в том числе нашей, выступает последняя из них.



3. Стратегия терциарного перевода: теоретическая, практическая и дидактическая призмы

Своим названием стратегия терциарного перевода обязана сочетанию «терциарный перевод», впервые введенному в научный обиход М. Я. Цвиллингом (1997). Под «терциарным переводом» он подразумевает ситуацию, в которой получатель перевода — как бы «третий лишний», заинтересованность которого в передаваемой информации «может не иметь ничего общего с целью исходного высказывания» (Цвиллинг 2009, с. 118–119). Эта идея послужила для В. В. Сдобникова (2010) основанием для того, чтобы предложить переводческую дихотомию: собственно перевод (коммуникативно-равноценный перевод) vs терциарный перевод. Дихотомия строится вокруг сопоставления целей создания оригинала и перевода и выполняемых этими текстами функций. В первом случае цель осуществления перевода совпадает с целью создания оригинала, и выполняемая переводом функция совпадает с функцией, выполняемой исходным текстом, во втором же — совпадение целей и функций (по крайней мере целей) не наблюдается. Эта дихотомия в дальнейших работах В. В. Сдобникова, посвященных разработке коммуникативно-функциональной концепции перевода (2011; 2015), находит свое отражение в учении о стратегиях перевода, где с каждым из двух противопоставляемых друг другу типов перевода соотносится одноименная стратегия. Сразу же заметим, что, на наш взгляд, с теоретической точки зрения учение о стратегиях перевода в целом является бесспорным и принципиальных возражений у нас не вызывает.

Критика этого учения, однако, встречается в работах О. В. Петровой (2013; Петрова, Ланчиков 2017). Так, в работе (Петрова 2013) наблюдается однозначное неприятие учения о трех стратегиях перевода и, в частности, стратегии терциарного перевода. Такое отношение формируется вследствие солидарности исследователя с В. Н. Комиссаровым в его предложении строго разграничивать перевод и иные виды языкового посредничества (адаптивного транскодирования), куда входят сокращенный перевод, адаптивный перевод и перевод-реферат (Комиссаров 1990, с. 48–50). Адаптивное транскодирование в понимании О. В. Петровой — это языковое посредничество, объединяющее в себе одновременно разные виды деятельности: переводчик сначала обрабатывает оригинал, решая, что можно опустить, а что нужно сказать попроще, и только потом уже переводит получившийся в его сознании текст (Петрова 2013, с. 202). Очевидно, что исследователь не допускает в своих суждениях чисто теоретическую возможность создания переводчиком реферативного или сокращенного перевода сразу, без предварительной обработки исходного текста, минуя этап создания реферативного или сокращенного текста на исходном языке. Признавая в качестве перевода только текст, предназначенный для полноценной замены оригинала, и опираясь на тот факт, что и реферативный, и сокращенный перевод возникают на основе «прототипа» на исходном языке, то есть, по сути, нового текста, созданного переводчиком на промежуточном



этапе, О. В. Петрова приходит к тому, чтобы вообще отказаться говорить о существовании трех разных стратегий перевода, поскольку «терциарный перевод и переадресация — это перевод иных текстов, отличных от исходного», и «по отношению к ним он также будет коммуникативно равноценным» (Там же, с. 203).

Высказанная О. В. Петровой критика была бы бесспорно справедливой, если бы не двойственность в рассуждениях В. В. Сдобникова, которую можно установить в его работах (2015; Сдобников, Калинин, Петрова 2019) (подробнее об этом см.: (Шамилов 2023б)), по времени написанных позже, чем статья О. В. Петровой. Дело в том, что В. В. Сдобников, с одной стороны, считает необходимым из категории адаптивного транскодирования вывести и признать переводами сокращенный перевод и адаптированный перевод, рассматриваемые им в качестве результатов практической реализации стратегии коммуникативно-равноценного перевода и стратегии переадресации соответственно (Сдобников, Калинин, Петрова 2019, с. 143–145). Не соотносимо с какой-либо стратегией реферативному переводу вопреки собственному — коммуникативно-функциональному — определению перевода, призывающему переводом признавать текст, созданный с опорой на текст на исходном языке (Сдобников 2015, с. 46–47), в праве именоваться переводом В. В. Сдобников отказывается. С другой стороны, перевод-реферат все-таки предстает у него как потенциально возможный продукт реализации стратегии терциарного перевода, например в случае выполнения по заказу издательства краткого пересказа сюжета художественного произведения (Там же, с. 167), где, безусловно, о совпадении целей создания оригинала и перевода и оказания ими одинакового художественно-эстетического воздействия не может быть и речи.

Этот пример служит надежным аргументом в защиту заложенного в определение стратегии терциарного перевода тезиса о детерминированности перевода его целью, но не отменяет, как будет установлено ниже, вывода о том, что фактор несовпадения целей вовсе не обуславливает создание в обязательном порядке продукта с иным языковым оформлением. Хотя справедливости ради следует отметить, что в попытке компенсировать недосказанное в одной из своих недавних работ В. В. Сдобников по этому поводу сделал важную оговорку: «Очевидно, что от реализуемой стратегии зависит и степень схожести перевода и оригинала. При этом характер содержательных и формальных расхождений между двумя текстами детерминирован целью перевода, в свою очередь определяемой потребностями и ожиданиями получателей (потребителей) перевода, а в конечном итоге — используемой стратегией» (2022, с. 31).

Однако предпринятая В. В. Сдобниковым попытка перечеркивается использованным им же в качестве наглядного примера реализации стратегии терциарного перевода материалом — четырьмя переводами Геттисбергской речи Авраама Линкольна, с которой 16-й президент США выступил 19 ноября 1863 года при освящении Геттисбергского кладбища (Сдобников 2015, с. 391–408). Ссылаясь на соответствующее исследование С. А. Алексева (Алексеев 2009, с. 23), в своей более ран-



ней работе, посвященной стратегии терциарного перевода (Сдобников web), В.В. Сдобников разделяет точку зрения коллеги о том, что каждый из четырех переводчиков (В.В. Набоков, А.А. Дранов, П.Р. Палажченко, В.К. Ланчиков) выполнил перевод с иной целью, не совпадающей с целью создания оригинала, причем цель у каждого была своя. Здесь важно отметить, что доказать или же опровергнуть состоятельность последней части утверждения в отсутствие неопровержимых фактов не представляется возможным. К такому заключению подводит нас и сам С.А. Алексеев, предваряющий формулировки целей для каждого отдельного варианта перевода фразой, что все они носят гипотетический характер (Алексеев 2009, с. 23). Но тот факт, что цель(-и) создания каждого из известных переводов (а также всех тех, которые могут появиться в перспективе в будущем) отличается от цели создания оригинала, неопровержим. Равно как и то обстоятельство, что Геттисбергская речь в переводе не выполняет исходную функцию и не способна оказывать на русскоязычных читателей коммуникативное воздействие, схожее с тем, которое оказала речь Линкольна на читателей (слушателей) — его современников, собравшихся послушать его осенним днем 1863 года (не говоря уже о том, что она вряд ли способна оказывать аналогичный коммуникативный эффект и на современных американцев).

Думается, что осознаваемая переводчиком невозможность воспроизведения на русском языке коммуникативно-функционального аналога публицистического текста наподобие Геттисбергской речи обусловлена лингвистическими характеристиками публицистического текста как такового. В отсутствие особой установки извне со стороны инициатора и / или потребителя перевода они никак не влияют на поведение переводчика и выбор им переводческих решений и операций. Перевод осуществляется переводчиком на тех же началах и в соответствии с теми же принципами, что перевод любого другого — непублицистического — текста, исходя из собственного профессионального опыта и своей трактовки текста. А это значит, что переводчик будет стремиться воспроизвести на языке перевода максимально близкий к исходному тексту аналог в формально-структурном, содержательно-смысловом, а также — насколько это возможно — функциональном отношениях, даже если, повторимся, он прекрасно осознает, что при создании оригинала его автор преследовал иную цель и, быть может, наделял его совершенно иной функцией. Подобные рассуждения невольно побуждают нас задаться вопросом: в чем же заключается практическая ценность стратегии терциарного перевода, если с технологической точки зрения она мало чем (а то и вовсе ничем не) отличается от стратегии коммуникативно-равноценного перевода, а результат в обоих случаях получается одним и тем же, то есть с одинаковым языковым оформлением?

Сказанное справедливо отнюдь не только в отношении публицистических текстов. В качестве одного из многочисленных примеров, доказывающих несостоятельность стратегии терциарного перевода с практической точки зрения, можно привести пример перевода в целях



таможенного оформления страхового полиса и страхового договора груза, поступающего в адрес покупателя в рамках договора купли-продажи на условиях поставки СИФ (CIF). Перевод осуществляется в интересах таможенного декларанта (а в широком смысле и сотрудника таможенных органов) и необходим для того, чтобы обеспечить корректное оформление таможенной декларации, в которую будут занесены определенные сведения из текста договора, и последующее успешное прохождение процедуры таможенной очистки, а не для того, чтобы на условиях, указанных в этом договоре, заключить соответствующую сделку (именно это подразумевается целью создания оригинала). Стоит полагать, что в отсутствие особых указаний со стороны инициатора и / или потребителя перевода текст страхового договора переводчик будет переводить как обычно, то есть стремясь воссоздать на языке перевода полноправный во всех отношениях аналог исходного текста.

В качестве еще одного довода, свидетельствующего об отсутствии прямой зависимости переводческих решений и действий и языкового оформления конечного продукта от несовпадения целей продуцирования перевода и создания оригинала, можно привести слова одного из переводчиков Геттисбергской речи — В.К. Ланчикова. Заметим, что именно на основе его перевода В.В. Сдобников выводит набор переводческих тактик (2015, с. 391—413), которые, по его мнению, способствовали реализации стратегии терциарного перевода. Сам же В.К. Ланчиков позицию коллеги комментирует следующим образом: «Если бы случилось такое чудо, что свои комментарии дали все переводчики Геттисбергской речи, скорее всего выяснилось бы, что разница в передаче стилистических особенностей в их переводах обусловлена не терциарностью, а тем, *что* каждый из переводчиков увидел (или не увидел) в тексте, посчитал (или не посчитал) существенным для воспроизведения речи как целостного произведения, созданного с определенной целью — независимо от цели выполнения перевода. Такие же различия в стилистической интерпретации можно обнаружить в разных переводах любого текста, но это не значит, что какие-то из них непременно терциарные, а другие — нет. Честно говоря, автор <...> перевода не очень представляет, какие условия могли бы потребовать от него перевести речь Линкольна иначе» (Петрова, Ланчиков 2017, с. 47).

Отсутствие четкой взаимосвязи между теорией и практикой не может не отразиться на дидактическом аспекте стратегии терциарного перевода, что подтверждается случаями моделирования на практических занятиях по переводу «классической» коммуникативной ситуации выполнения терциарного перевода, где объектом перевода выступает именно публицистический текст. Тут-то мы и становимся свидетелями картины, которая наблюдается и в реальных условиях осуществления профессиональной переводческой деятельности. Точно так же, как и профессиональные переводчики, студенты отдают себе отчет в том, что в данной конкретной ситуации создают перевод с совершенно иной целью, но в то же время они совершенно искренне не понимают, как



осознание этого обстоятельства, обуславливающего выбор ими стратегии терциарного перевода, должно (и должно ли) отразиться на результате их работы и поведении. Как следствие, у студентов закрадывается подозрение, что со стратегией терциарного перевода что-то не так (подробнее см.: (Шамилов 2021)).

4. Потребностноориентированный взгляд на стратегию перевода

4.1. Потребностноориентированный подход: основные положения

Полностью разделяя представленное чуть ранее критическое замечание В.К. Ланчикова, позволим себе смелость прокомментировать последнее предложение. Думается, что В.К. Ланчикову потребовалось бы «перевести речь Линкольна иначе», если от него этого ожидал бы конкретный инициатор и / или потребитель. Ожидание от переводчика создания на языке перевода текста с иными текстовыми характеристиками (языковым оформлением) напрямую следует из потребности инициатора и / или потребителя перевода в таком переводе. Именно такой перевод должен помочь его инициатору и / или потребителю решить определенную задачу в рамках его предметной деятельности. Мы намеренно используем термин «задача» вместо понятия «цель перевода», дабы подчеркнуть отсутствие у нас намерения пересмотреть воззрения на цель перевода — в целом, безусловно, бесспорные, — устоявшиеся в ряде функциональных теорий перевода, в том числе в рассмотренной в предыдущих разделах коммуникативно-функциональной концепции. В этих концепциях, сформировавшихся не без влияния идей скопос-теории под целью перевода понимается цель, с которой инициатор и / или потребитель перевода намеревается использовать перевод, или же цель, которую с помощью перевода (продукта) он намеревается достичь (в этом значении цель перевода близка к предпочитаемому нами термину «задача»). Суть понятия «цель перевода» актуализируется через ее противопоставление и / или сопоставление с целью создания оригинала. Такое — глазами инициатора / потребителя — оперирование целью является теоретически обоснованным, но оказывается малопродуктивным, как нам удалось установить в предыдущих разделах, с точки зрения практической, где первостепенную важность имеет то, каким цель перевода видится переводчику и какую роль она играет в осуществлении им своей профессиональной деятельности и, в частности, в выработке соответствующей стратегии.

По сравнению с идеей о цели перевода более продуктивной в деле определения понятия «стратегия перевода» и разработки ее возможных типов нам представляется другая идея, высказанная в скопос-теории, — предложение рассматривать исходный текст (оригинал) в качестве сырья (Vermeer 1987, S. 541), из которого можно получить перевод. Такая идея созвучна лежащей в основе выдвигаемой нами потребностноориентированной концепции перевода (подробнее см.: (Шамилов 2023а))



сервисно-инструментальной сущности перевода как отдельной области в сфере услуг. Как и в случае с любой другой услугой, перевод как услуга подразумевает создание на основе сырья, коим выступает текст оригинала (в письменной или устной форме), продукта, удовлетворяющего потребность и ожидание конкретного инициатора и / или потребителя перевода. Потребность в переводе детерминирована необходимостью решения инициатором / потребителем определенной задачи в рамках его предметной деятельности, и в зависимости от характера решаемой задачи в отдельно взятом случае может потребоваться продукт с модифицированными текстовыми характеристиками в содержательно-смысловом и / или формально-структурном плане. Внешение определенных модификаций с сохранением исходного смысла в языковое оформление текста оригинала сродни изобретению инструмента, каковым, безусловно, выступает и перевод, не просто полезного (тот факт, что инструмент, как и «перевод на все случаи жизни», сам по себе полезен, сомнений не вызывает), а удобного в решении прежде всего соответствующей конкретной задачи. Удобоприемлемость, обозначаемая в некоторых англоязычных работах зарубежных коллег термином *usability* (см. напр.: (Burne 2006, p. 97–100, Suojanen et al. 2015, p. 3)), или *эргономичность*, как предпочитаем называть этот параметр качества перевода мы (Шамилов, Сдобников 2019, с. 174; Шамилов 2023а, с. 127–128), достигается благодаря учету требований (пожеланий) к языковому оформлению, которые, собственно, и формируют ожидание инициатора / потребителя в отношении конечного продукта. Отсутствие особых или каких-либо требований вообще к языковому оформлению не означает, что конечный продукт будет лишен эргономичности. Просто в этом случае перевод будет считаться эргономичным по умолчанию, если продукт позволяет решить задачу, для которой он предназначен.

Фактор «особости» потребности, ожидания и, следовательно, языкового оформления служит для нас критерием выделения двух категорий перевода: *перевода конвенционального* и *перевода пекулярного* (Там же, с. 130–132). *Конвенциональный перевод* (от англ. *conventional – traditional; ordinary rather than different or original (Conventional web)*) – это перевод, отождествляемый с собственно переводом в лингвистических концепциях перевода, перевод стандартный, «перевод на все случаи жизни», который, выступая полноценным функциональным аналогом оригинала и повторяя его по текстовым характеристикам, по умолчанию должен удовлетворять абсолютно всех получателей без исключения. *Пекулярный перевод* (от англ. *peculiar*) – это перевод особый, нестандартный, очевиднейшим образом отличающийся от оригинала по своим текстовым характеристикам и тем не менее в таком качестве признаваемый удовлетворяющим особую потребность и особое ожидание его инициатором и / или потребителем. Такой перевод, выполняемый не для всех, чаще всего в частном порядке, может показаться странным для всех тех, кто не имеет никакого отношения к его появлению. Но и



подобное восприятие содержится в семантике английского прилагательного *peculiar*, которое помимо подразумевавшегося нами при заимствовании значения “*special or unique*”, имеет еще значение “*not ordinary or usual; odd or strange*” (Peculiar web). Думается, возможность взглянуть на продукт с диаметрально противоположных позиций, которую предоставляет прилагательное *peculiar* за счет своей многозначности, лишь подтверждает удачность нашего решения остановить выбор именно на нем.

В широком смысле к пекулярному переводу можно отнести абсолютно любой продукт с языковым оформлением, отличным от языкового оформления оригинала, обусловленным именно потребностью и ожиданием инициатора / потребителя, включая и те, которые будут содержать незначительные нарушения норм и узуса языка (в случаях переводов, выполненных начерно, на скорую руку (характеризуемых О. В. Петровой как *quick and dirty* (2019)), в том числе с использованием систем машинного перевода без последующего редактирования). В узком же смысле пекулярными мы склонны считать переводы, по тем или иным лингвистическим параметрам не претендующие на полноценную замену оригинала, без нарушения узуса и норм языка, — различные вариации неполных переводов (сокращенный перевод, фрагментарный перевод, выборочный (аспектный) перевод, аннотационный перевод), а также подстрочник и адаптивный перевод.

4.2. Потребностноориентированное определение стратегии перевода и типология

Практика показывает, что о характере потребности и ожидания с возможными требованиями (пожеланиями) в отношении языкового оформления результата переводческой деятельности, переводчик узнает из технического задания или установки на перевод (*translation brief* в терминологии К. Норд (Nord 2018, p. 9), получаемых от инициатора и / или потребителя перевода. Здесь нельзя не согласиться с Д. Н. Шлепневым, который о моменте определения стратегии перевода справедливо пишет: «Стратегия определяется переводчиком в самом начале – в ходе согласования заказа. В сущности, услышав слова заказчика “нам тут надо перевести договор, статью, доверенность, техописание” или “посинхронить на конференции, перевести деловые переговоры” и уяснив существенные детали и, если есть, специальные требования (например, договор для нотариального заверения; нужно реферирование статьи; перевод нужен полный, но упрощенный – передача только фактического содержания, необходимо использовать не общепринятую, а индивидуальную терминологию заказчика и т. п.), переводчик делает для себя закономерные выводы о наборе установок по переводу» (Шлепнев 2018, с. 167).

Важно заметить, что в случае пекулярного перевода требования (пожелания) к языковому оформлению могут исходить непосредствен-



но из уст самого инициатора / потребителя, и в то же время могут быть сформулированы в отдельных документах, которыми могут руководствоваться инициатор / потребитель при оглашении технического задания. В качестве примера можно привести письмо Минфина от 09.12.2015 г. №03-07-14/71801 о принятии к вычету НДС, указанного в электронном билете, оформленном на иностранном языке. В нем предписывается в рекомендательном ключе буквально следующее: «...в случае выписки авиабилетов и иных перевозочных документов на иностранном языке реквизиты, необходимые для вычета по налогу на добавленную стоимость, должны быть переведены на русский язык. При этом перевод иной информации, не относящейся к применению вычета налога на добавленную стоимость (например, правил перевозки багажа, условий применения тарифа), не требуется» (курсив наш. — Р.Ш.)¹. Очевидно, что, придерживаясь такой рекомендации, переводчик создаст пекулярный — в данном случае выборочный (аспектный) — перевод.

Логика наших рассуждений подводит нас к тому, чтобы предложить собственное — потребностноориентированное — определение стратегии перевода и ее возможную типологию в соответствии с принципом «разная стратегия — разный по своему языковому оформлению продукт перевода», соотносимую с двумя представленными ранее категориями перевода. Итак, *стратегия перевода* — это общая программа осуществления переводческой деятельности с учетом потребности инициатора / потребителя перевода и в полном соответствии с его ожиданием, направленная на создание эргономичного с точки зрения языкового оформления продукта, способного обеспечить возможность успешного решения той задачи в рамках предметной деятельности, для которой этот продукт создается. *Стратегия конвенционального перевода* — это программа осуществления переводческой деятельности, избираемая переводчиком как при наличии четкой установки на выполнение собственно перевода, так и в отсутствие таковой по умолчанию, результат реализации которой призван выступить в качестве полноценной функциональной замены оригинала и будет максимально повторять его в языковом оформлении. *Стратегия пекулярного перевода* — это программа осуществления переводческой деятельности, избираемая переводчиком при наличии обусловленных спецификой потребности особых требований со стороны инициатора и / или потребителя к языковому оформлению продукта, результат реализации которой ожидается будет отличаться в содержательно-смысловом и / или формально-структурном отношении от оригинала и не будет претендовать на его полноценную функциональную замену.

Заявленное нами соотнесение стратегий перевода с соответствующими категориями перевода не носит строгого характера. Так, если соотнесение стратегии конвенционального перевода с категорией кон-

¹ Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2015 г. №03-07-14/71801. URL: <https://www.audit-it.ru/law/account/852094.html> (дата обращения: 13.04.2024).



венционального перевода безоговорочно, с корреляцией между стратегией пекулярного перевода и одноименной категорией перевода не все так однозначно, что подтверждается конкретными случаями из практики перевода. Как можно установить из большого многообразия входящих в эту категорию переводов с разным языковым оформлением, специфика осуществления пекулярного перевода заключается в том, что от переводчика требуется не только выполнить действия, связанные непосредственно с передачей содержания оригинала в тексте на переводящем языке, но и в соответствии с техническим заданием, обусловленным особой потребностью и особым ожиданием инициатора / потребителя, предпринять меры по обработке текста (напр., отбор необходимой и опущение коммуникативно нерелевантной информации, изменение композиционной структуры текста, адаптация текста на различных уровнях языка и др.), направленные на обеспечение языкового оформления, которое требуется в данном конкретном случае. Если действия переводчика носят такой — комплексный — характер, что, собственно, и подразумевается в представленном выше определении стратегии пекулярного перевода, то можно говорить о ее соотношении с пекулярным переводом. Однако в то же время имеют место случаи, когда при осуществлении пекулярного по своей сути перевода переводчик освобождается от необходимости выполнения любых других действий, кроме как собственно переводческих.

Убедительным примером вышесказанного являются две возможные ситуации выполнения фрагментарного перевода. В первой инициатор / потребитель передает переводчику исходный текст в том виде, в каком он существует изначально, и возлагает на него все обязанности по осуществлению фрагментарного перевода, включая такие операции как отбор фрагментов, содержащих необходимые для инициатора / потребителя сведения. Во второй — инициатор / потребитель передает переводчику самостоятельно отобранные фрагменты (например, отдельные страницы из руководства по эксплуатации к ввозимому из-за границы фрезерному станку с ЧПУ, содержащие технические и эксплуатационные характеристики, перевод которых должен помочь решить задачу, связанную с определением кода ТН ВЭД, необходимого для таможенного оформления товара), и в этом случае переводчику остается всего лишь выполнить перевод «в технике полного перевода» (Валеева 2010, с. 91). Эти ситуации рождают осознание как инициатором / потребителем, так и самим переводчиком пекулярности результирующего продукта, но с точки зрения технологической, то есть с позиции исключительно исполнителя, и это, по нашему убеждению, единственное, что имеет значение, когда мы говорим о стратегии перевода; перевод в представленных ситуациях выполняется в соответствии с разными стратегиями — стратегией пекулярного перевода и стратегией конвенционального перевода соответственно. Для более полного понимания наших умозаключений соотношение стратегий с категориями перевода можно визуализировать в виде нижеследующей схемы.

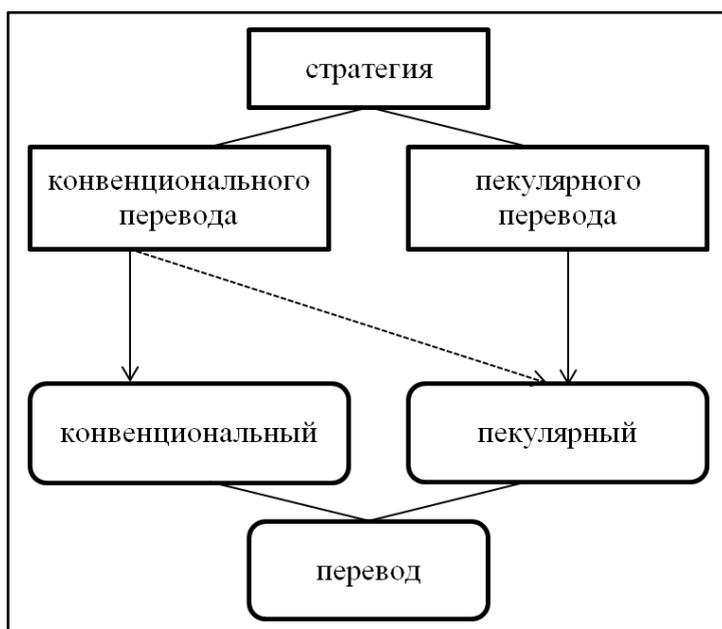


Рис. Корреляция между стратегиями и категориями перевода

На этой схеме под пунктирной линией, идущей от стратегии конвенционального перевода к пекулярному переводу, подразумеваются случаи, когда, как в рассмотренном выше примере с фрагментарным переводом, пекулярные по своему характеру переводы выполняются в технике обычного — конвенционального — собственно перевода. Это обстоятельство, как уже было сказано, зависит главным образом от того, что из себя представляет материал, с которым переводчику предстоит работать — исходный текст в его авторской версии или же текст, прошедший через определенную степень обработки (без ущерба смыслу, разумеется!) самим инициатором / потребителем. Что касается вероятности осуществления и других видов пекулярного перевода с использованием стратегии конвенционального перевода, лично нам подобные случаи не известны. Однако учитывая возможный богатый переводческий опыт практикующих коллег-переводчиков, которым, быть может, представилась возможность оказаться в ситуациях, потребовавших выполнения упомянутых переводов, категорически исключать вероятность повторения сценария, схожего с тем, что имеет место с фрагментарным переводом, в отношении остальных пекулярных переводов, было бы с нашей стороны весьма опрометчиво.

5. Заключение

Проведенное исследование позволило установить ограниченность построения в рамках коммуникативно-функционального подхода учения о стратегиях перевода, связанную с оперированием в качестве от-



правной точки целью перевода и ее совпадением / несовпадением с целью создания оригинала. На примере перевода публицистического текста, а также ситуации с переводом договора страхования импортируемого товара мы убедились в том, что в отсутствие со стороны инициатора и / или потребителя перевода требований (пожеланий) к языковому оформлению текста перевода фактор совпадения / несовпадения целей утрачивает свою практическую ценность, поскольку независимо от исхода сравнения со стороны переводчика целей создания оригинала и перевода создаваемый им продукт окажется одним и тем — полноценным функциональным аналогом подлинника с максимально схожим языковым оформлением.

Потребностноориентированная концепция предлагает взглянуть на стратегию перевода глазами переводчика, как, пожалуй, единственного субъекта, для которого понятие «стратегия перевода» действительно имеет значение. Определяемая на этапе получения технического задания стратегия перевода как общая программа осуществления переводческой деятельности имеет целью своей практической реализации обеспечение создания продукта, удовлетворяющего потребность инициатора и / или потребителя и отвечающего его ожиданию получить эргономичный для решения конкретной задачи инструмент. В зависимости от коммуникативной ситуации эргономичность может достигаться либо за счет воспроизведения на языке перевода функциональной замены оригинала (стратегия конвенционального перевода), когда таковая по умолчанию признается способной беспрепятственно решить поставленную задачу, либо за счет внесения в языковое оформление исходного текста модификаций формально-структурного и / или содержательно-смыслового характера (стратегия пекулярного перевода). В то же время возможны случаи, когда пекулярный перевод выполняется в технике конвенционального перевода.

Полученные результаты найдут применение в дальнейших исследованиях, посвященных продолжению разработки концепции потребностноориентированного перевода и изучению особенностей практической реализации каждой из двух переводческих стратегий на материале конкретных примеров выполнения конвенционального перевода и отдельных видов пекулярного перевода как из личного профессионального опыта, так и из опыта других переводчиков.

Список литературы

Алексеев, С. А., 2009. *Передача структуры образов художественного текста в переводе (на материале англо-русских переводов)*: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 27 с. [Alekseev, S. A., 2009. *Rendering the structure of images of a literary text in translation (a case study of English-Russian translations)*. PhD thesis. Moscow, 27 p. (in Russ.)].

Алексеева, И. С., 2008. *Текст и перевод. Вопросы теории*. М., 184 с. [Alekseeva, I. S., 2008. *Text and translation. Theoretical issues*. Moscow, 184 p. (in Russ.)] EDN: UKFXUB.



Валеева, Н. Г., 2010. *Теория перевода: культурно-когнитивный и коммуникативно-функциональный аспекты*. М., 245 с. [Valeeva, N. G., 2010. *Theory of translation: cultural-cognitive and communicative-functional aspects*. Moscow, 245 p. (in Russ.)] EDN: QWDSLТ.

Комиссаров, В. Н., 1990. *Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.* М., 253 с. [Komissarov, V. N., 1990. *Translation theory (linguistic aspects). A textbook for the institutes and faculties of foreign languages*. Moscow, 253 p. (in Russ.)].

Петрова, О. В., 2013. Переводческие стратегии и критерии оценки адекватности перевода. *Известия ВГПУ*, 2 (261), с. 199–203. [Petrova, O. V., 2013. Translation strategies and criteria of translation adequacy assessment. *Izvestia Voronezh State Pedagogical University*, 2 (261), pp. 199–203 (in Russ.)] EDN: RPYKOT.

Петрова, О. В., 2019. Теория перевода, теория текста и рынок. *Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова*, 46, с. 69–78. [Petrova, O. V., 2019. Translation theory, text linguistics, and market requirements. *Nizhny Novgorod Linguistics University Bulletin*, 49, pp. 69–78. (in Russ.)] EDN: PDHTWY.

Петрова, О. В., Ланчиков, В. К., 2017. Сколько гитик умеет перевод. Об одной концепции переводческих стратегий. *Мосты. Журнал переводчиков*, 1 (53), с. 40–50. [Petrova, O. V. and Lanchikov, V. K., 2017. How many magic tricks does translation have? A concept of translation strategies is viewed. *Bridges. The Journal of Translators*, 1 (53), pp. 40–50 (in Russ.)] EDN: YGBRMT.

Псурцев, Д. В., 2013. *Стратегия перевода. Пособие по письменному переводу с английского языка на русский для завершающего этапа обучения*. 2-е изд. М., 188 с. [Psurtsev, D. V., 2013. *Translation Strategy. A coursebook of translation from English into Russian for the final stage of teaching translation*. 2nd ed. Moscow, 188 p. (in Russ.)].

Сдобников, В. В. Фактор цели и адресата в переводе. URL: <https://study-english.info/article025.php> (дата обращения: 13.04.2024). [Sdobnikov, V. V. *Factor of the goal and recipient in translation*. Available at: <https://study-english.info/article025.php> [Accessed 13 April 2024 (in Russ.)].

Сдобников, В. В., 2010. Типология перевода: коммуникативно-функциональный подход. *Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова*, 10, с. 132–143. [Sdobnikov, V. V., 2010. Communicative-Functional Approach to Translation Typology. *Nizhny Novgorod Linguistics University Bulletin*, 10, pp. 132–143 (in Russ.)] EDN: MQHTJV.

Сдобников, В. В., 2011. Коммуникативная ситуация как фактор определения стратегии перевода. *Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова*, 14, с. 114–124. [Sdobnikov, V. V., 2011. Communicative Situation as a Factor in Choosing a Translation Strategy. *Nizhny Novgorod Linguistics University Bulletin*, 14, pp. 114–124 (in Russ.)] EDN: NTWVMR.

Сдобников, В. В., 2015. *Перевод и коммуникативная ситуация*. М., 464 с. [Sdobnikov, V. V., 2015. *Translation and communicative situation*. Moscow, 464 p. (in Russ.)] EDN: QDXTBL.

Сдобников, В. В., 2022. Стратегии перевода: заблуждения и реальность. *Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*, 2, с. 27–34. [Sdobnikov, V. V., 2022. Translation strategy: misperceptions and reality. *Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and intercultural communication*, 2, pp. 27–34 (in Russ.)] EDN: BLMESJ, <https://doi.org/10.17308/lic.2022.2/9287>.

Сдобников, В. В., Калинин, К. Е., Петрова, О. В., 2019. *Теория перевода (Коммуникативно-функциональный подход): учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков*. М., 512 с. [Sdobnikov, V. V., Kalinin, K. Ye. and Petrova, O. V., 2019. *Translation theory (Communicative-functional approach): a textbook for the students of linguistic universities and faculties of foreign languages*. Moscow, 512 p. (in Russ.)] EDN: LIOEPZ.



Цвиллинг, М.Я., 1997. Роль переводчика в акте коммуникации и понятие «терциарного перевода». *Перевод и коммуникация*. М., с. 16–21. [Zwilling, M. Ya., 1997. Translator's role in a communicative act and the concept of "tertiary translation". In: *Translation and Communication*. Moscow, pp. 16–21 (in Russ.).]

Цвиллинг, М.Я., 2009. *О переводе и переводчиках: сборник научных статей*. М., 288 с. [Zwilling, M. Ya., 2009. *On translation and translators: a collection of scientific papers*. Moscow, 288 p. (in Russ.).]

Шамилов, Р.М., 2021. Что не так со стратегией терциарного перевода? *Когнитивные исследования языка*, 3 (46), с. 787–791. [Shamilov, R.M., 2021. What is wrong with the strategy of tertiary translation? *Cognitive Studies of Language*, 3 (46), pp. 787–791 (in Russ.)] EDN: PBQQSZ.

Шамилов, Р.М., 2023а. Что такое потребностноориентированный перевод? *Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова*, 1 (61), с. 116–135. [Shamilov, R.M., 2023a. What is a needs-centered translation? *Nizhny Novgorod Linguistics University Bulletin*, 1 (61), pp. 116–135 (in Russ.)] EDN: DIREIQ, <https://doi.org/10.47388/2072-3490/Iunn2023-61-1-116-135>.

Шамилов, Р.М., 2023б. К вопросу разграничения перевода и иных видов языкового посредничества: потребностноориентированный взгляд. *Проблемы теории, практики и дидактики перевода*, 24, с. 50–58. [Shamilov, R.M., 2023b. On Differentiation between Translation and Other Types of Linguistic Mediation: A Needs-Centered Approach. *Problems of theory, practice and didactics of translation*, 24, pp. 50–58. (in Russ.)] EDN: ANUMDZ.

Шамилов, Р.М., Сдобников, В.В., 2019. Коммуникативная ситуация и лингвистическое оформление текста в специальном переводе: содержательно-смысловой аспект. *Научный диалог*, 1, с. 165–177. [Shamilov, R.M. and Sdobnikov, V.V., 2019. Communicative Situation and Linguistic Composition of a Target text in Specialised Translation: Contextual and Conceptual Aspect. *Nauchnyi dialog*, 1, pp. 165–177 (in Russ.)] EDN: YVRCEX (<https://elibrary.ru/yvrceX>), <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2019-1-165-177>.

Шлепнев, Д.Н., 2018. Стратегия перевода и параметры стратегических решений. *Перспективы науки и образования*, 5 (35), с. 161–170. [Shlepnev, D.N., 2018. Translation strategy and parameters of strategic decisions. *Perspectives of Science & Education*, 5 (35), pp. 161–170 (in Russ.)] EDN: VKOHZW, <https://doi.org/10.32744/pse.2018.5.18>.

Byrne, J., 2006. *Technical translation: usability strategies for translation technical documentation*. Dordrecht, 280 p.

Chesterman, A. and Wagner, E., 2002. *Can theory help translators? (A dialogue between the ivory tower and the wordface)*. Manchester, UK; Northampton, MA, 148 p.

Conventional. *The Free Dictionary*. Available at: <https://www.thefreedictionary.com/conventional> [Accessed 13 April 2024].

Hejwowski, K., 2004. *Kognitywno-komunikacyjna teoria przekladu*. Warsaw, 197 p.

Lörscher, W., 1991. *Translation performance, translation process and translation strategies: a psycholinguistics investigation*. Tübingen, 307 p.

Nord, Ch., 2018. *Translating as a purposeful activity: functionalist approaches explained*. 2nd ed. New York, 166 p.

Peculiar. *The Free Dictionary*. Available at: <https://www.thefreedictionary.com/peculiar> [Accessed 13 April 2024].

Suojanen, T., Koskinen, K. and Tuominen, T., 2015. *User-centered translation (Translation practices explained)*. Abingdon (New York), 166 p.

Vermeer, H.J., 1987. Literarische Übersetzung als Versuch interkultureller Kommunikation'. In: A. Wierlacher, ed. *Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik*. Munchen, pp. 541–549.



Об авторе

Равиддин Мирзоевич Шамилов, кандидат филологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-6693-4397

SPIN-код РИНЦ: 4603-4298

E-mail: raviddin@mail.ru

Для цитирования:

Шамилов Р. М. Понятие «стратегия перевода» в свете потребностноориентированной теории перевода: определение и типология // Слово.ру: балтийский акцент. 2026. Т. 17, №1 С. 217 – 234. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-14.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

THE CONCEPT OF TRANSLATION STRATEGY VIEWED IN THE LIGHT OF NEEDS-TAILORED THEORY OF TRANSLATION: A PROPOSAL OF DEFINITION AND TYPOLOGY

Raviddin M. Shamilov

HSE University,

25/12 Bolshaya Pecheskaya St., Nizhny Novgorod, 603155, Russia

Submitted on 11.01.2025

Accepted on 15.10.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-14

The paper examines the concept of translation strategy and aims to develop a typology of its possible forms from the perspective of a needs-tailored approach to translation. It begins with a brief review of positions on translation strategy articulated by Russian and international translation scholars, demonstrating the lack of consensus in the field. The study then subjects the theory of translation strategies developed within the communicative-functional approach, conceptually close to the needs-oriented framework, to critical analysis. A key shortcoming identified is the weak correlation between the theoretical, practical, and didactic dimensions of the so-called strategy of tertiary translation. To address this limitation, the paper proposes a definition of translation strategy grounded in the needs-oriented theory of translation. Treating translation as a service and conceptualising it as a tool, this definition reflects the realities of professional translation practice. Depending on the translation brief, determined by the nature of the need and the task to be by the initiator and/or end user, the translator is expected to produce a target text with a linguistic composition appropriate to the intended purpose. Since a given communicative situation may require the creation of a target-language text whose textual characteristics differ from those of the source text, the paper distinguishes between two categories of translation: conventional and peculiar. Conventional translation corresponds to translation proper, understood as a complete functional equivalent of the source text. Peculiar translation, by contrast, encompasses various translation variants that cannot be regarded as full functional analogues and therefore diverge from the source text in their formal-structural and/or contextual-conceptual characteristics. On this basis, the pa-



per proposes a typology consisting of two translation strategies bearing the same designation and corresponding to the two categories of translation identified. At the same time, drawing on specific examples from translation practice, the study demonstrates that the strategy of conventional translation may also be applied within peculiar translation, depending on whether and to what extent the actions and operations performed by the translator are heterogeneous.

Keywords: *communicative-functional approach, needs-tailored approach, strategy of conventional translation, strategy of peculiar translation, strategy of tertiary translation, translation strategy*

The author

Dr Raviddin M. Shamilov, Associate Professor, HSE University, Nizhny Novgorod, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-6693-4397

E-mail: raviddin@mail.ru

To cite this article:

Shamilov, R.M., 2026, The concept of translation strategy viewed in the light of needs-tailored theory of translation: a proposal of definition and typology, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 17, no. 1, pp. 217–234. doi: 10.5922/2225-5346-2026-1-14.



**ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «СЛОВО.РУ: БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ»**



СЛОВО.РУ:
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:
BALTIC ACCENT

2026

Том 17
Vol.
№ 1

Редактор *И. О. Дементьев*. Корректор *П. С. Щербаков*
Компьютерная верстка *Г. И. Винокуровой*

Copy-edited by *I. Dementev, P. Shcherbakov*
Layout by *G. Vinokurova*

Подписано в печать 24.02.2026 г.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 20,7
Тираж 300 экз. (1-й завод — 40 экз.). Заказ 17
Свободная цена

Signed 24.02.2026
Page format 70×108 ¹/₁₆. Reference printed sheets 20,7
Edition 300 copies (first print: 40 copies). Order 17
Free price

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14

Immanuel Kant Baltic Federal University Press
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia